



Виктория Платова

Анук, топ атоу?...

Единствено,
како он дојде, — бате
рајом с тој, како мој ет.

Возможно,
како дојде смртта. Но развјето
имашт знаменит,
како мој ет?

ASTROGON



Виктория Платова

Анук, mon amour?...

Единственно,
что он знает, — быть
рядом с той, кого любит.

Возможно,
что ждет смерти.

Но разве кто
имеет значение,
кого мы любим?

ASTROGON

Виктория Платова

Анук, mon amour...

*Все события, происходящие в романе,
вымышлены, любое сходство с реально
существующими людьми случайно.*

Книга первая

РАЗЛУЧЕННЫЕ

*Птица поет в моей голове
И мне повторяет, что я люблю,
И мне повторяет, что я любим,
Птица с мотивом нудным.
Я убью ее завтра утром.*

Жак Превер

ПРОЛОГ

...Диллинджер мертв.

Ничего особенного в этом нет, мертв и мертв, голубоглазый.

Замызганная кровью мостовая у кинотеатра «Байограф» — прямо под афишей «Манхэттенской трагедии» — романтичнее финала для гангстера и придумать невозможно. С таким финалом, того и гляди, сам попадешь на афишу: редко кому удастся вытянуть джокер напоследок, целую лужу крови, сходную очертаниями со штатом Айдахо. Айдахо, да... Потом на смену Айдахо пришел Вайоминг — и все из-за желающих смочить носовые платки в сувенирной крови Диллинджера. Желающих было — не пропихнуться, целый вагон чикагских дурачков с заусенцами на нетерпеливых пальцах: еще бы, знаменитый грабитель банков, враг общества number one. Последние пятеро, едва поспевшие к луже, — последние пятеро общими усилиями трансформировали Айдахо-Вайоминг в Индиану. Индиана, да... Индиана, родной Диллинджеров штатец, привет тебе!.. Привет тебе от жен и подружек чикагских дурачков — кровь Диллинджера оказалась такой же густой, как кровь Христа, — разве они могли отказать себе в причащении?.. Конечно, это была

далеко не единственная лужа крови в истории человечества, и гангстер был не единственным, но до чего же лихо он заламывал шляпу!

Голубоглазый...

Именно такие – голубоглазые, с рассыпающимися, как песочное тесто, мягкими волосами и целеустремленными подбородками, которыми только свай заколачивать, – именно такие всегда нравились Анук. Им она тоже нравилась. Да что там нравилась – они с ума по ней сходили, по моей Анук. По девочке, от которой можно было ожидать чего угодно. Чего угодно за исключением нижнего белья. Ну не носила она нижнее белье, что уж тут поделаешь... И кольца были ей противопоказаны, за исключением одного; и книги были ей противопоказаны, за исключением одной. И духи ей были противопоказаны, за исключением одних. Которые я так и не придумал...

Жизнь ей тоже была противопоказана, что уж тут поделаешь... Не «вообще жизнь», разумеется, а та, которой живет большинство. Я тоже живу жизнью большинства – Анук так и не смогла изменить меня. Я – единственный, кого она не смогла изменить.

Я, да еще – Диллиндокер.

Джон Герберт Диллинджер, пристреленный, как собака, у кинотеатра «Байограф» за несколько десятилетий до рождения Анук. Если бы звезды встали иначе и Диллинджер и Анук встретились бы...

Если бы они встретились, о Бонни и Клайде никто

бы и не вспомнил.

Не то чтобы Анук знала толк в банковской системе безопасности и могла без всяких рефлексий выпустить пулю в лоб зазевавшемуся стражу закона – нет. Вряд ли она вообще когда-нибудь держала в руках пистолет, а если и держала, то ей и в голову бы не пришло снять его с предохранителя. Просто Анук всегда была Анук – рассеянной девочкой, под ноги которой хотелось бросить весь мир. Не факт, что она заметила бы это. Скорее всего – не заметила бы. Но отдать ей лучшее, на что ты способен, даже если это «лучшее» – преступление... У Диллинджера получилось бы наверняка. У него получилось бы – посвятить Анук какое-нибудь хорошо обставленное, увешанное гирляндами и пахнущее рождественской елкой убийство. Не факт, что она заметила бы это. Скорее всего – не заметила бы. Но разве в этом суть, если дело касается Анук? Суть состоит совсем в другом, и она так и норовит крючьями вцепиться тебе в горло: либо ты выбираешь Анук, либо ты выбираешь все остальное. Все остальное – это пробежки по утрам, пиво к вечеру, бильярд, боулинг, биатлон, Бали и Биарицц в качестве презента от фирмы за выслугу лет; светские вечеринки, на которых тебя по давно заведенной традиции непременно обольют соусом карри. И с которых ты – по давно заведенной традиции – непременно уползешь с силиконовым бабцом под мышкой. Весь

остаток ночи бабеч будет преувеличенно громко стонать под тобой, стараясь попасть в рваный ритм «Розовой пантеры» Манчини и в твой собственный рваный ритм. Как правило, это получается: прагматичный северный бабеч (по давно заведенной традиции он по-настоящему заинтересован в твоей скромной персоне) может симитировать все, что угодно, — от темперамента *chica latina*¹ до множественного оргазма. Но лучше всего у бабца получается утренний кофе в постель и невинный вопрос, заданный еще более невинным голосом: «Что тебе приготовить на ужин, сла-адик?» На то, чтобы выкурить бабца из квартиры, уходит такая туча времени, что побриться ты уже не успеваешь.

Но успеваешь подумать об Анук.

Я всегда думаю об Анук, даже когда не думаю о ней.

Что было бы, если бы мы не встретились? И на моем месте оказался бы Диллинджер, завсегдатай банков, тюрем и первых рядов в кинотеатрах. Наверняка, они бы там и познакомились, в киношке, — наверняка. Под сенью ассирийских глаз Рудольфе Валентино, под сенью египетских бровей Авы Гарднер, под сенью тexasского рта Кларка Лейбла. И Диллинджер сразу бы втрескался в Анук, в ее прерывистое дыхание. И преподнес бы ей на блюдечке лучшее из своих сорока пяти вооруженных ограблений.

Она того стоит, Анук, моя девочка.

Что было бы, если бы мы не встретились?..

Наверняка вся моя жизнь сложилась бы по-другому — наверняка. И я не стал бы участником странных и загадочных событий — без Анук они просто не могли бы произойти; так же, как весна никогда не сменила бы зиму, так же, как день никогда не сменил бы ночь, — в отсутствие Анук.

Что было бы, если бы мы не встретились?..

Но мы встретились. В животе нашей с ней матери, которая и матерью-то побыть не успела: так, шестнадцатилетняя девчонка, умершая при родах. Теперь-то я думаю, что именно Анук сожрала ее изнутри: Анук всегда была невыносима мысль, что она кому-то обязана. Даже своим появлением на свет.

Вряд ли хоть кто-то знал о нашем отце; вряд ли хоть кто-то вообще был заинтересован в нашем рождении. Поначалу мы с Анук были постыдной тайной, потом — постыдной правдой, а потом нас все-таки выудили из материнского чрева: для этого пришлось делать кесарево. Так мы и появились — за широко распахнутыми, взломанными нехитрым медицинским инструментом, воротами из плоти. Теперь-то я думаю, что именно Анук мы обязаны тем, что нас не утопили, как щенков в ведерке, — ведь затылки наши оказались сросшимися. Анук увидели первой — младенца с фиалковыми глазами. «Фиалковыми» — не самое точное определение. Такой

цвет почти не встречается в природе, разве что — в самом сердце грозового неба, в самом сердце беспокойного моря, в самом сердце старинных фресок. Анук и сама была похожа на фреску, и так же, как от фрески, от нее веяло вечностью и тайной. А в местности, где мы родились, не очень-то любят связываться с тайнами, и уж тем более — с вечностью. Себе дороже.

Теперь-то я думаю, что если бы не Анук, не ее фиалковые глаза, мы никогда бы не узнали, что такое Дом. Но отказаться от ее глаз было невозможно, ради них пришлось терпеть и меня, ничем не примечательного сиамского братца с вытянутым мягким черепом и пегим подшерстком.

Довесок к тайне и вечности.

Наши затылки разъединили на пятый день пребывания в Доме. Самым обыкновенным ножом — так гласит семейное предание. Впрочем, нож был не совсем обыкновенным. Он принадлежал деду, а до этого — деду деда, а до этого... До этого он всплывал в Дамаске и Константинополе, им потрошили неверных, чистили рыбу и резали хлеб, — и сталь его никогда не тупилась, и рисунок на рукояти не тускнел от времени: сверчки и раковины, сверчки и раковины. Им ничего не стоило освободить глаза Анук от моего подшерстка. Кровь не могли остановить в течение получаса — так гласит семейное предание. После того, как сверчки и раковины прошлись по нашим

затылкам, я заплакал. А Анук улыбнулась сморщенным младенческим ртом. Впервые.

В память о первой улыбке Анук у меня остался небольшой шрам. Точно такой же шрам пригнулся змеей под волосами Анук. Эти шрамы, зеркально повторяющие друг друга, связывают нас до сих пор. Они – единственное, что нас связывает. Анук никогда не любила обременять себя связями, почему я, сиамский братец, должен быть исключением? Она так и сказала мне однажды, моя Анук: «То, что мы перекапывались девять месяцев в чьем-то животе, еще не повод для близких отношений, Гай». Так и сказала. И сунула в рот большой палец. По детской привычке, которой столько же лет, сколько нашим именам.

Гай и Анук.

Анук и Гай.

Мы получили их от деда, в тот самый день, когда сверчки и раковины отделили нас друг от друга. Навсегда. Теперь-то я думаю, что он не особенно ломал голову над тем, как нас назвать, хотя... Анук – единственное сочетание букв, которое идет фиалковым глазам. От деда же мы унаследовали фамилию – Кутарба. Анук – для того, чтобы сразу же забыть о ней, а я – для того, чтобы постоянно о ней помнить. Гай Кутарба или Ги Кутарба, как называла меня моя первая женщина, которой я обязан карьерой и раскрученным до тошноты брэндом. Парфюмерная

линия «Guy Cutarba», Анук умерла бы со смеху. Моя первая женщина тоже вызывала у нее ироническую улыбку, и уже одно это можно было считать достижением: обычно Анук никак не реагировала на женщин. Она отказывала им в праве на существование. Тем более – сорокалетним, тем более – преуспевающим, а Мари-Кристин была именно такой: сорокалетней и преуспевающей, ни единого кольца на пальцах и девственные мочки ушей, не замутненные жемчугом. Модный дом «Sauvat & Moustaki», где Мари-Кристин принадлежала первая из двух фамилий. «Шлюха & Педик», именно так звучал вольный перевод с французского в исполнении Анук. Впрочем, переводов было несколько, они постоянно варьировались и пребывали в рабской зависимости от ее настроения: «Грымза & Араб», «Надеть & Умереть», «Лучше голой», «Радость бедуина» и даже «Я охреневаю, сэконд-хенд».

«Сэконд-хенд» относилось к Мари-Кристин.

Она никогда не выбирала выражений, моя девочка, что уж тут поделаешь. Но это было единственное, чего она не выбирала. В остальном выбор был за ней. Она могла получить что угодно, стоило ей только ткнуть фиалковым взглядом в это самое «что угодно»: вид на жительство в Северной Корее, гравюры Дюрера, лунный грунт, визитку Святого Петра, идущую в комплекте с ключами от царствия небесного. И говорящего скворца. И ручную

игуану. А о такой мелочи, как мужчины, и говорить не приходится. Но фишка состояла в том, что и получать Анук не любила, — она предпочитала красть. Просто так, из любви к чистому искусству. И было совсем неважно, что перед ней — вещь или человек, — Анук возбуждал сам факт кражи. И чем бессмысленней была кража, тем упоительнее она казалась.

Я хорошо помню ее первый по-настоящему удачный опыт: нам по шесть лет, и мы только что похоронили стрекозу; дед спит в дальней комнате Дома, по виноградным листьям ползет солнечный луч, и бороться с искушением накрыть его ладонью невозможно.

— Не трогай, — глаза Анук зажмурены (в память о стрекозе), но я точно знаю, что она наблюдает за мной.

— Это почему? — мне нравится дразнить Анук, от этого по спине пробегает холодок.

— Потому, — Анук наконец-то открывает глаза и выплевывает монету, которую до сих пор держала за щекой. — Он мой.

— Еще чего, — холодок натывается на шрам на затылке и останавливается: похоже, он решил здесь заночевать.

— Солнце тоже мое, — она по-прежнему не смотрит на меня, сосредоточившись на монете.

Монета и вправду замечательная: ослепительно-

желтая, с дыркой посередине и корабликом сбоку, Анук стянула ее у деда. Я смертельно завидую Анук, я бы тоже засунул за щеку чудный отчеканенный кораблик, но кораблики всегда бросают якорь в гавани по имени Анук.

– Солнце тоже мое, – упрямо повторяет Анук.

– Дура, солнце – для всех. Дура.

– А вот и нет, – теперь Анук пытается разглядеть меня сквозь дырку в монете. – Вот и нет. Я забираю его себе. И завтра ты его не увидишь.

– Ха-ха. Дура дурацкая.

В следующую секунду я вцепляюсь Анук в волосы, и мы начинаем кататься по земле, давя недозревшие ягоды винограда и невыспавшихся сверчков (точь-в-точь таких же, какие сидят на рукояти дедова ножа).

Монета безнадежно утеряна.

Так ей и надо – Анук, моей девочке.

Побороть Анук ничего не стоит, тем более что она больше не сопротивляется. На правах победителя я прижимаю ее к земле, устраиваюсь на ее легких костях и... Упираюсь подбородком ей в губы. От губ Анук кисловато тянет железом, мертвой стрекозой и днем, который мы провели на винограднике. А прямо подомной качаются глаза Анук. И только теперь становится ясно, почему Анук не сопротивлялась. Только теперь становится ясно, что ее глаза – повсюду, что ее глаза – ловушка, самый настоящий

капкан, и я попался, попался. Помощи ждать неоткуда, остается лишь тихонько подвывать, баюкая ушибленную Анук душу.

— Ха-ха, — победно произносит Анук, высвобождая перепачканные землей губы из-под моего перепачканного землей подбородка. — Завтра ты его не увидишь, солнце. Спорим на мою монету, что не увидишь?

Я молчу, тем более что монета безнадежно утеряна.

Судя по всему, Анук не очень-то грустит по ней, остаток вечера она проводит с жестяной коробкой из-под чая, которую совсем недавно нашла на чердаке; у Анук удивительная способность доставать из ниоткуда самые удивительные вещи на свете. По бокам коробки порхают не виданные нами птицы (Анук утверждает, что это лирохвосты, но разве можно верить Анук?); а облупленную крышку украшает самая настоящая карта с розой ветров в левом верхнем углу. На карте есть все, что нравится Анук: горы, пустыня и тонкие нити рек. Для океана места уже не хватило, и это по-настоящему огорчает Анук. Но не настолько, чтобы забыть о споре на винограднике.

— Помни, что я тебе сказала, — перед сном шепчет мне она. И сует в рот большой палец.

Мы засыпаем одновременно (мы всегда засыпаем одновременно, соединив шрамы на затылках) — и

просыпаемся в завтра. В котором действительно нет солнца.

Только дождь.

Дождь не прекращается весь остаток лета. Из-за него не вызревают виноград и персики, гниют табачные листья и морщится кожа на руках. Из-за него Дом наполнен отяжелевшими насекомыми, а в саду плодятся змеи. Мы ходим в вечно влажных свитерах, но мне и в голову не приходит возненавидеть Анук: она наконец-то открыла мне тайну коробки с лирохвостами. Там, на самом дне, перекатываются чайники, их совсем немного, но для тайны и нужно немного, так говорит Анук. Она ставит передо мной миску с горячей водой, жестом фокусника вынимает из жестянки небольшой обломок чайного листа и, что-то шепнув ему, бросает в воду.

— Смотри, что будет, — торжественно объявляет Анук.

Все последующее заставляет мое шестилетнее сердце биться быстрее: чайный лист разбухает в воде и превращается в... старика на лошади. Я явственно вижу узкую бороду старика и такие же узкие глаза, и полы халата, которые скрывают поводья; в лошадиный хвост вплетены ленты и колокольчики, я готов поклясться, что слышу, как они позвякивают. Тихо и нежно.

Весь остаток лета посвящен чудесным картинкам из чая. Звери, названий которых мы не знаем; цветы,

которые можно увидеть только во сне; фигурки людей, которых даже во сне не увидишь. В особо удачные дни, когда дождь льет сильнее, а затянутое тучами небо почти касается верхушки старой айвы, в нашей с Анук миске возникают целые сюжеты. Смысл их неясен и иногда просто пугающ. Настолько пугающ, что мне хочется самым предательским образом бежать от них подальше, бежать, что есть сил, уткнуться в колени деда и затихнуть, замереть, заснуть. Но такие сюжеты особенно нравятся Анук. Она может сидеть над ними часами. Губы ее при этом шевелятся, а глаза всегда полуприкрыты, Анук как будто пытается что-то запомнить. Что-то такое, что недоступно ее пониманию сейчас, но обязательно станет понятным потом.

Потом, когда кончится дождь.

Но дождь все идет; он идет так долго, что я начинаю распознавать страшные чайные откровения за несколько секунд до того, как они всплывают в толще воды.

Запах. Все дело в запахе.

Безобидные диковинные звери, роскошные цветы, пагоды и многомачтовые галеоны не пахнут ничем. Другое дело связанные бечевой и залитые воском запястья рук, обломок стрелы в горле или груды вспоротых животов — то ли рыбьих то ли человеческих. Вот они-то и шибают в нос. Запахи всегда разные, и некоторые из них я даже могу

определить: ваниль, мускат, акация, смородина, перебродившее вино, цветки граната... Эти запахи я знал всегда, этими запахами пронизан Дом, сад и виноградник, но в сочетании с чайными картинками они приобретают совершенно новый смысл. Я делюсь своим открытием с Анук, но в ответ получаю лишь снисходительную улыбку.

Анук догадалась обо всем с самого начала.

Но о том, что заключено в самом последнем чайном листе, еще не догадываемся ни я, ни она. Анук вытягивает его из жестянки в самый последний день августа, и именно теперь, по прошествии стольких лет; именно теперь, когда я оказался втянут в эту странную, леденящую душу историю, – именно теперь я осознаю, что выбор Анук был не случайным. Что рукой ее водило Провидение, а прошлое и будущее свиты в кольцо, которое покоится на безымянном пальце настоящего. И что все было предопределено уже тогда, когда Анук возвратила из чердачного небытия жестянку с чаем. А может, и раньше, когда появилась на свет наша мать... или отец, мы так ничего и не узнали о нем. А может, и раньше, когда у ванили, акации и цветков граната еще не было имен...

Имя же, которое прорастает из последнего чайного листа, тоже ничего не говорит нам: мы и читать-то толком не умеем, а буквы, покачивающиеся в воде, и вовсе нам не знакомы. Впрочем, ни в одном

имени не бывает такого количества букв, даже «Анук и Гай», сложенные вместе, выглядят куцевато.

«ARSMORIENDI»

Они и сейчас стоят передо мной, эти буквы, так похожие цветом на глаза Анук. Я не запоминал их специально, нет; я не смог бы их запомнить, если бы и хотел, — они просто вошли в меня и растворились во мне, скрылись во мраке. В тех тайниках души, в которые решаешься заглянуть лишь изредка и, подергав запертую дверь, облегченно вздыхаешь. Но запах, идущий от этой двери, до сих пор преследует меня. Я искал его всю жизнь — слишком уж необычным он был, слишком неотвязным. Я искал его всю жизнь — но так и не приблизился к нему. Единственный раз я заговорил о нем с Анук, и ответом мне было молчание. Но молчание не сбило меня с толку. Меня, сиамского братца, — теперь я точно знал, что и она — ищет. Она начала искать этот запах раньше меня, вернее, она никогда и не прекращала его искать. В ее обычной манере — ничего не делая для этого.

Анук никогда ничего не делала.

Она ничего и не сделала и тогда, когда «ARSMORIENDI» впервые явилось нам; она лишь раздула ноздри, только и всего. Но я чувствовал, что Анук очарована: по-другому, чем я, но очарована. И я уже знал, что последует за этим, — Анук захочет владеть «Arsmoriendi» и запахом, идущим от него,

безраздельно.

Так и произошло.

— Уходи, — сказала мне Анук. — Уходи. Это мое.

В другое время я бы не ушел ни за что, в другое время я бы вцепился ей в волосы и подмял под себя — в другое время, но только не сейчас. Для борьбы за обладание пророчеством мне не хватило бесстрашия.

А Анук — она всегда отличалась бесстрашием, моя девочка.

Как бы то ни было, я ушел. Я позорно бежал с чердака, волоча за собой шлейф запаха, который ищу до сих пор. Я так и не смог определить его компоненты. Был ли он цветочным? Нет. Был ли он фруктовым? Вряд ли. То есть и те, и другие ноты в нем, безусловно, присутствовали — не более. Но доминантой выступало нечто иное. Теперь, по прошествии стольких лет, я бы назвал это голосом неведомой мне плоти. Она неведома мне и до сих пор. И все попытки найти ее оказались тщетными.

Но тогда, в самый последний день августа, я не задумывался над этим. Чувство опасности и скрытой угрозы поглотило меня и напрочь лишило сил. Сидя на ступеньках деревянной лестницы и уткнувшись лбом в перила, я вдруг понял: наш общий с Анук мир исчез, распался, растворился в миске с горячей водой без остатка, оказался разрушенным до основания. И отныне нам никогда не придется засыпать одновременно, соединив шрамы на затылках. И

отныне нам никогда не придется видеть одинаковые сны. И отныне мы никогда не будем вместе. Рядом – но не вместе.

Так впоследствии и произошло. В тот вечер я заснул, не дождавшись Анук. Впервые. Она все еще оставалась на чердаке, а подняться за ней мне снова не хватило бесстрашия. Коробка с лирохвостами исчезла – во всяком случае, я ее больше не видел, а Анук никогда не напоминала мне о ней.

К тому же Анук наконец-то вернула солнце. Утром следующего дня оно, как ни в чем не бывало, повисло над виноградником. Оно сделало все, чтобы я поскорее выбросил из головы и лирохвостов, и розу ветров, и чайные знамения.

И я выбросил.

Это произошло не сразу – ведь весь мой детский мир был сосредоточен в Анук, я даже приятелей не сумел завести: не очень-то нас жаловали в округе, сиамских щенков. Поначалу я все еще ходил за Анук, стараясь хоть чем-то заинтересовать ее; напрасный труд, ведь мое воображение и рядом не стояло с воображением Анук; бесплодной пустыней – вот чем было мое воображение. Бесплодной пустыней, которая упирается лбом в забор цветущего сада.

О, она умела охранять свой сад – Анук, моя девочка.

Поначалу я все еще ходил за Анук, а она... Она всеми силами старалась избавиться от меня. Она

полюбила одиночество, она нуждалась в нем гораздо больше, чем во мне. Ни разу после бегства с чердака под молчаливое улюлюканье «Arsmoriendi», ни разу после — мне не удалось увидеть, как просыпается Анук. Это до лирохвостов мы открывали глаза одновременно, теперь же все изменилось: ее подушка все еще хранила тепло, но сама Анук выскальзывала из нашей комнаты за несколько секунд до того, как начинали подрагивать мои ресницы. Или за несколько минут, что не имело принципиального значения. Как не имела значения чашка с молоком на кухне — недопитая Анук. Как не имела значения не прикрытая ею дверь. Уже тогда она научилась ускользать.

Ускользать было ее естественным состоянием.

Идти по ее следам — стало моим естественным состоянием. Я всегда шел по ее следам, зная, что не настигну Анук, — но какие откровения являлись мне на этом пути!..

Первым стала бойня.

Теперь-то я думаю, что никогда не узнал бы ее тайн, если бы Анук сама не хотела этого. В конце концов, мы были близнецами, как бы Анук ни отрещивалась от нашего родства; и какая-то часть в ней все равно принадлежала мне. Эта часть заставляла меня вздрагивать от боли, когда Анук расшибала себе колени, эта часть заставляла меня температурить, когда Анук простужалась. Эта часть сажала красное пятно на мою ладонь, стоило Анук обжечь свою. Эта

часть нашептывала мне непредсказуемые, как траектория птицы в небе, маршруты Анук. Она же привела меня на бойню.

Бойня была запретным местом: даже ландшафт, ее окружавший, разительно отличался от всех прочих ландшафтов нашего с Анук детства: никакого буйства зелени, никакого засилья птичьих гнезд, и хвоста от ящерицы обнаружить невозможно. Чахлый кустарник и огромные каменные валуны — именно они обрамляли приземистый ангар и несколько пристроек. И ангар, и пристройки были сложены из таких же валунов и отсвечивали красным: за долгие годы существования бойни кровь животных пропитала почву и намертво приклеила камни друг к другу. Она же окрасила воду в маленьком ручье, протекавшем неподалеку.

До осени, последовавшей за «Arsmoriendi», мы ни разу не бывали там, хотя дед нашего деда проработал на бойне всю жизнь — так гласило семейное предание. И отец деда, и сам дед — до того, как женился на бабке, да и потом тоже. Мы ни разу не бывали там — нам вполне хваталодохлых стрекоз, разбившихся стрижей и воспоминаний о шестнадцатилетней девчонке, которая так и не успела побыть нашей матерью. Но той осенью все оказалось иначе. Анук больше не устраивали воспоминания, ей нужны были ощущения.

А мне нужна была Анук, моя девочка.

... Сломанная ветка (ее задела Анук), вывороченный с дороги камешек (его коснулся грубый ботинок Анук), сбитые верхушки болиголова (Анук всегда была к нему беспощадна) – идти за Анук, угадывать ее за всеми этими ветками, камешками и мятым болиголовом – удовольствие не из последних. Это похоже на охоту с заранее известным финалом: ты обязательно угодишь в силки ее фиалковых глаз. Я следую за Анук неотступно, стараясь не попасться раньше времени.

И – попадаюсь.

Анук сидит на самом ближнем к бойне валуне, прижав колени к подбородку. Я вижу узкую ложбинку на ее затылке и острые лопатки – такие острые, что кажется – они вот-вот порвут свитер.

– Ну что ты ходишь за мной? – спрашивает Анук, не поворачивая головы.

– Вовсе не за тобой, – огрызаюсь я. Впрочем, довольно миролюбиво. – Вовсе не за тобой, а просто так. Дура дурацкая.

– Уходи, – заводит она свою старую песню. – Уходи. Это мое.

– Ха-ха, – вместо того чтобы уйти, я устраиваюсь рядом с ней и так же прижимаю колени к подбородку. – Место не купленное. Где хочу, там и сижу.

– Ну сиди...

За последующие несколько часов мы не

произносим ни слова. В любое другое время я бы давно ушел: сидеть на камне неудобно и холодно, ноги затекли, и к тому же рот переполнен горькой слюной — от запаха, витающего над бойней. В любое другое время — но только не сейчас. Что делает здесь Анук, почему она пришла сюда — любопытство оказывается сильнее, чем запах. И оно вознаграждается.

Отсюда, с валуна, нам видна лишь задняя часть ангара и желоб, идущий от боковой стены: то, что происходит на бойне, скрыто от посторонних глаз. Но не от ноздрей. В какой-то момент ноздри Анук начинают знакомо вибрировать и с шумом втягивают воздух.

— Ну как? — вопрос застает меня врасплох.

— Что — «как»? — я моментально начинаю злиться на Анук, которая никогда и ничего не объясняет.

— Ничего не чувствуешь?

Я чувствую только холод и легкое покалывание в онемевших пальцах: не очень-то мне нравится это место, что уж тут говорить. Поэтому мне остается лишь пожать плечами и сплюнуть вязкую слюну.

— Значит, ничего? — голос Анук полон скрытого торжества. — Зажмурься и дыши. Только как следует дыши...

Я подчиняюсь Анук (я всегда подчиняюсь Анук), и теперь ничто не отвлекает меня от крошечной темени перед глазами. И в этой темени... В этой

темени начинает проступать...

– Ну! – Анук нетерпелива. Так же нетерпелива, как и ее рука: она покоится сейчас на моем шраме. – Неужели не чувствуешь?!..

Ну конечно же! Запах, до этого такой тяжелый, что его без всякой натяжки можно назвать вонью, самым неожиданным образом меняется. Он как будто распадается, как мелодия распадается на ноты. И в самой сердцевине этой мелодии, высоко-высоко, звенит одна единственная, главная, нота. Она спускается по руке Анук и через предательский непрочный шрам заползает мне в черепную коробку. И звенит, звенит, звенит...

– Ну?– снова повторяет Анук. – Ты узнал?

Это не запах «Arsmoriendi» – тот был сложнее и тоньше, но в высоком регистре они смыкаются... Все так же не открывая глаз, я нащупываю в кармане свои нехитрые сокровища: моток проволоки, ключ от потерянной двери – из его полого ствола можно выдувать самые разные звуки; высохшую тыковку с такими же высохшими семенами внутри; кусок фольги, два стеклянных шарика; крошечный металлический волчок, бывший когда-то предсердием часов. И несколько миндальных орехов без скорлупы.

Я почти уверен. Почти уверен.

Осталось только раздавить орехи в ладони – и запах будет пойман.

– Ты узнал?..

Нет, это совсем не миндаль; я понимаю это в тот самый момент, когда в желобе, идущем от ангара, появляется узенькая струйка. Поначалу она кажется мне черной, но только поначалу. Не встретив никаких препятствий и освоившись в гладком желобе, струйка набирает силу и становится струей. Того же цвета, каким пропитаны камни. Все остальное дорисовывает мое воображение. Неуклюжее, неповоротливое, но вполне способное справиться с видом перерезанного горла.

– Не узнал... Эх, ты... – Анук разочарована.

А я ненавижу, когда она разочаровывается во мне, Анук, моя девочка.

Подстегиваемый этим, я несколько дней ищу так поразивший меня запах. И в конце концов нахожу: на заброшенном подоконнике веранды, среди массы цветочных горшков, не очень-то дед следит за ними. Запах (гораздо более слабый, чем на бойне, но тот самый, тот самый!) идет от растения с крупными игольчатыми листьями и такими же крупными, бледно-розовыми цветами. Тонкие лепестки больше похожи на папиросную бумагу, они легко скатываются в трубочку и пропускают свет. В тот же день я выпытываю у деда название – китайская роза.

Или гибискус.

«Гибискус» нравится мне гораздо больше, чем пошловатая «китайская роза», во всяком случае, это больше соответствует гибельному духу бойни. Но

идти с гибискусом к Анук не имеет смысла: наверняка она уже потеряла к нему всякий интерес. Для Анук все мои открытия – вчерашний день. Даже такое эпохальное: чья-то смерть на бойне – смерть, которую мы так и не увидели, – отдает китайской розой. Я и сам не в восторге от подобного открытия, что порождает очередную волну бессильной злости на Анук: без нее все эти мыслишки никогда бы не завелись в моей голове.

Анук плевать на мою злость. Впрочем, на меня ей тоже наплевать. И на деда, который называет нас «волчатами». «Волчата» – не самое худшее из оскорблений, летящих нам в спину, но Анук мало беспокоит, что творится у нее за спиной.

Ее вообще мало что беспокоит, Анук, мою девочку.

Она не ходит в школу, не ходит просто так, без всяких на то причин. И мне приходится отдуваться за двоих: каждый день, кроме воскресений.

Каждый день, кроме воскресений, я жду.

Я жду, когда закончится урок, когда закончатся уроки, когда закончится четверть, когда закончится год. В перерывах между ожиданием я умудряюсь совсем неплохо учиться. Это вызывает ярость одноклассников и умиление учителей: надо же, каков ты, сиамский щенок, соображаешь!.. Не меньшее умиление вызвал бы у них лосось на нересте, если бы вдруг заговорил.

Со мной тоже заговаривают; но исключительно для того, чтобы пригвоздить к парте набившим оскомину вопросом: «Это правда, что твоя сестра – сумасшедшая?» Ответить на него положительно означало бы предать Анук.

Я не могу предать Анук. Я – трусливый, никчемный братец – не могу предать Анук. И получаю за это по полной. В дальнем углу школьного двора, у глухой стены, заросшей репейником и всегда влажной пастушьей сумкой. Странно, но череп мой оказывается не таким уж мягким, он вполне достойно отражает удары нескольких пар ботинок. Я почти не защищаюсь, я впадаю в оцепенение, в котором, однако, есть место для репейника, пастушьей сумки, мелкой гальки, осколков стекла; насекомых с раздвоенным хвостом, похожим на садовый секатор, – медведки, вот как они называются. Масса запахов ворочается вокруг меня, масса запахов проникает сквозь кожу – но ровно до того момента, пока их не перешибает один-единственный запах.

Запах моей собственной крови, сочащейся из носа.

Именно здесь меня и поджидает главное унижение, главное разочарование: моя кровь пахнет только кровью. Кровью и больше ничем: ни миндалем, ни ванилью, ни смородиной, ни гибискусом. Анук умерла бы со смеху. Или вlepила бы мне что-нибудь похожее на: «Я так и знала, ничего интересного в тебе нет»...

– Я так и знала, – говорит Анук.

Я не вижу ее глаз, скорее всего, они рассеянно прыгают по строчкам книги, лежащей у нее на коленях. Когда Анук не шляется по окрестностям, не отирается на бойне, не отсиживается на чердаке, ее почти всегда можно застать здесь, на веранде, с этой чертовой поблекшей от старости книгой в руках. Книга всегда открыта ровно посередине, и я уже успел зазубрить ее название: «Ключ к герметической философии». Из всех слов мне понятно лишь одноединственное – «ключ». И это слово как нельзя более подходит самой Анук.

Она и есть ключ. Ключ ко всему, Анук, моя девочка.

– Я таки знала, что тебе когда-нибудь расквасят физиономию...

– Тогда спроси у меня, из-за чего...

– И спрашивать не буду. Потому что ты – это ты.

– Нет. Потому что ты – это ты. Дура дурацкая,

Анук пожимает плечами. Ее нисколько не волнуют мой распухший нос, синяк под глазом и багровая шишка на лбу. И только теперь я понимаю, что Анук не нужна верность, а предательство она и вовсе счастливо не заметит.

– Может, я и дура, но морду начистили тебе, – веселится Анук. – Зачем ты только ходишь туда?

– Низачем...

Она делает это ровно за секунду до того, как я

решаюсь об этом подумать: срывает цветок гибискуса и мнет его в пальцах. А потом бросает сморщенные лепестки в книгу и с шумом захлопывает ее.

— Ты и читать-то не умеешь!— наконец-то выпаливаю я давно заготовленную фразу. — И вообще — ты сумасшедшая. Все так говорят.

— А ты? Ты тоже так говоришь?— Анук совершенно спокойна.

— Нет... — почему-то страшно пугаюсь я. — Нет! Ты что...

Фиалковые глаза смотрят на меня. Нет, не так: фиалковые глаза смотрят сквозь меня. И это самый рассеянный взгляд из всех рассеянных взглядов Анук.

— А ты скажи то же самое. Правда, скажи...

— Нет... Ты что?!

Анук легко огибает меня, легко касается шрама на затылке и уходит — унося с собой запах гибискуса. И все остальные запахи заодно. Нет, не так: запахи устремляются за ней, подобно отаре глупых овец, устремляющихся за вожаком. Потом, не догнав Анук, они все же возвращаются — нехотя, хромая на обе ноги, ворча и ругаясь. И мне на долю секунды кажется, что они грызутся между собой за право обладать Анук, за право присвоить ее себе. И мне на долю секунды кажется, что за право присвоить ее себе я и сам отдал бы все на свете.

Но обладать Анук невозможно, как невозможно больше терпеть издевательства одноклассников и

запах собственной крови, удручающе однообразный. Все меняется в тот день, когда я, сжав зубы, следуя совету Анук.

— У нее и правда не все дома, и кончит она в психушке. Капитуляция происходит все там же, у навязшей на зубах стены — в дальнем углу школьного двора. Она вовсе не выглядит унижительной, к тому же условия, на которых отныне существует побежденная сторона, можно назвать идеальными: я перестаю быть изгоем. Я становлюсь таким, как все. Таким, как все.

Что уж тут поделать — либо ты выбираешь Анук, либо ты выбираешь все остальное.

Выбрав остальное, я сразу же получаю свору приятелей; футбол на пустыре — у западной оконечности поселка; казаков-разбойников в роще из пиний — у южной оконечности поселка. Я получаю право подкладывать кнопки на стулья, натирать доску воском, курить в туалете, измерять линейкой член, мочиться на географические карты (это получается у меня лучше всего, по дальности струи и точности попадания мне нет равных).

Я больше не думаю о запахах, я больше не вспоминаю об «Arsmoriendi», вернее — я стараюсь не думать и не вспоминать. И у меня почти получается. Почти — но только до тех пор, пока я не натыкаюсь на Анук. Именно так: на Анук я могу только наткнуться. Мы не видимся днями, иногда — неделями, хотя по-

прежнему спим в одной комнате. Я не знаю (теперь уже не знаю), что снится Анук. Мои же сны больше похожи на кошмары, они всегда начинаются и заканчиваются одинаково: с чайной жестянки, украшенной лирохвостами. Иногда я сижу в ней – в позе зародыша, скрючившись, сгорбившись, свернувшись в тугую петлю. Иногда я разбиваю лоб о тонкие стенки: в кошмарах они вовсе не кажутся тонкими и сложены из тех же красноватых камней, что и бойня. Иногда я пытаюсь попасть в жестянку, но крышка не поддается, а роза ветров в левом верхнем углу причудливо меняет очертания: ее лучи становятся похожи на лезвие дедова ножа. И я знаю, знаю, куда нацелено лезвие!.. По лабиринтам кошмаров я брожу в полном одиночестве – в полном одиночестве, среди вещей, значение которых мне непонятно. Но все они как-то связаны с Анук. Или со снами самой Анук... Ну да, это вещи из снов Анук, они просачиваются в мои кошмары сквозь узкую щель шрама на затылке. Жаль, что я понимаю это слишком поздно. Я понимаю это лишь тогда, когда Анук исчезает.

Она умеет исчезать, как никто, – Анук, моя девочка.

Я смутно помню день, из которого исчезает Анук. Он теряется в засаленной колоде таких же дней: трефовая десятка – мы с моим дружкой Недаром с упоением дрович в пиниевой роще на невесть как

попавший в наши края журнал «Плейбой» (Нодар погибнет чуть позже, на войне, в которой потонул и наш поселок, — но это совсем другая карта). Семерка пик — я на спор целую толстуху Мириам, дочку директрисы (и по совместительству — химички), я целую ее и даже не получаю за это по морде. Бубновый валет — нашего историка (и по совместительству преподавателя физкультуры), светлоглазого красавца Тельмана, находят повесившимся в собственном сарае; веревка перекинута через толстую балку, на которой сидят нахохлившиеся куры...

И, наконец, дама червей.

Дама червей — день, из которого исчезает Анук. Хотя для этого события больше подошел бы джокер. Тот самый, его вытянул напоследок Диллинджер — за несколько десятилетий до рождения Анук...

Я понимаю, что ее больше нет, когда возвращаюсь домой: в сумерках, насквозь пропитанных инжиром, туманом и козьим молоком. Дом выглядит как обычно, сад выглядит как обычно, — необычной кажется лишь навалившаяся на меня странная пустота. Она приходит ниоткуда и сосет, сосет мне сердце. Я бессильно опускаюсь на ступеньки веранды и прижимаю ладонь к шраму на затылке. От него-то — горящего, растерянного — я и узнаю: Анук больше нет.

Анук больше нет, она ушла, она бросила меня —

оставила, покинула.

Она не взяла из Дома, в котором прожила неполных шестнадцать лет, ровным счетом ничего. Или – почти ничего: старый свитер, шерстяная юбка и «Ключ к герметической философии» не в счет. Спустя пару дней я обнаруживаю пропажу дедова ножа, сверчки и раковины так и не смогли расстаться с Анук. Но, в конце концов, она имеет право на этот нож, что уж тут поделаешь...

Исчезновение сумасшедшей Анук занимает умы жителей поселка гораздо меньшее время, чем самоубийство Тельмана, – всего-то пару месяцев на стыке поздней весны и раннего лета. Ранним летом появляется новая пища для разговоров: а ну как между двумя этими событиями существует связь? Находятся даже свидетели, которые видели Тельмана и Анук вместе: у заброшенной плотины, у пиниевой рощи, у ручья при бойне. Свидетелям – слепому на один глаз Автандилу и толстухе Мириам (безответная любовь к Тельману так и не заставила ее похудеть) – верят безоговорочно. Настолько безоговорочно, что мне приходится отдуваться за Анук: поселковый милиционер Ваха снимает показания с меня и с деда, единственных родственников пропавшей. Все заканчивается кувшином вина – дед и Ваха распивают его на веранде. Тем самым кувшином, который дед закопал в саду в день, когда сверчки с раковинами отделили нас с Анук друг от друга. Тем самым

кувшином, который должен был стоять на столе в день нашего шестнадцатилетия.

Это означает лишь одно: дед больше не верит в возвращение Анук.

Никто не верит в возвращение Анук.

Я тоже не верю в возвращение Анук, но я, во всяком случае, знаю, что она жива. Я знаю это точно. Если бы было по-другому – шрам сиамского братца шепнул бы мне об этом.

Как бы то ни было, лето проходит в тоске по Анук.

Это неясная, саднящая тоска ссорит меня с Недаром: чертов сукин сын как-то проговаривается, что жалеет лишь об одном – он не трахнул Анук. Переспать с ненормальной – не самая хреновая сексуальная фантазия... Ты ведь не был бы против, Гай? Дурацкий вопрос стоит моему приятелю зуба, а мне – ребра. И нам обоим – многолетней дружбы, Анук бы этого никогда не оценила.

Не оценила бы она и того факта, что (благодаря усилиям Автандила, Мириам и завсегдатаев поселкового магазинчика, в котором оптом и в розницу отпускаются слухи) имя ее становится почти легендарным. Ей приписывают двухлетней давности падеж скота, прошлогодний сход селевого потока в тридцати километрах от поселка, лунное затмение, случившееся в январе. Ей приписывают смерть не только Тельмана, но и смерть братьев Костакисов,

Яниса и Тео, хотя давно известно, что оба бесшабашных грека свалились в пропасть на своей раздолбанной старой «Татре». И даже в смерти любимой коровы слепого на один глаз Автандила виноватой оказывается Анук.

Но исчезновение Анук имеет и свои положительные стороны: мне перестают сниться кошмары. Мне вообще перестает что-либо сниться: пустые коридоры снов оказываются восхитительно стерильными, в них больше нет вещей Анук, а своими я так и не успел обзавестись. Или – не смог. В любом случае, смириться с этим гораздо легче, чем с потерей самой Анук.

И я смирился, я перестал надеяться, что они вернутся – мои сны, хотя все время ждал их возвращения. И они вернулись. Спустя несколько лет, когда я и думать забыл о поселке, в котором провел большую часть своей жизни. И который – вместе с дедом и всеми его обитателями – оказался погребенным под руинами маленькой южной войны в маленькой южной республике.

Я, не задумываясь, сменил юг на север; на пару лет позже, чем это сделала Анук, – но сменил. За эти пару лет я успел прибавить в росте тринадцать сантиметров и остановился на классических ста восьмидесяти пяти. Я успел нагулять мышечную массу и кубики на животе; я успел обзавестись тошнотворно-неотразимым подбородком с ямкой,

классической легкой небритостью, выгодно подчеркивающей скулы, и – своей собственной тайной. Тайна выглядит несколько легкомысленно и вполне уместается в толстой тетради – в клетку, с добротным коленкорovým переплетом, таких больше не выпускают. В этой тетради я классифицирую запахи и их описания. Эта тетрадь – моя единственная, пусть и иллюзорная, связь с Анук. Справедливости ради, запаха гибискуса я больше не встречал: север беднее юга, во всяком случае, так мне кажется поначалу. Не встречал я и запаха «Arsmoriendi» (в моей тетради он занимает последнюю страницу и снабжен жирным вопросом – на эту страницу я почти не заглядываю). Не встречал, потому что не мог встретить: по прошествии стольких лет «Arsmoriendi» кажется мне страшной сказкой, рассказанной на ночь, не более. В нее нельзя поверить до конца, но и отвязаться от нее невозможно. Первые записи в тетради – наивные, больше похожие на плохие стихи – датированы югом. Север привносит в них жесткость и снабжает формулами: я учусь в химико-технологическом, Анук умерла бы со смеху.

В свободное от института время (его оказывается гораздо больше, чем можно было предположить) я подрабатываю моделью в агентстве со лживым названием «АН Stars». Никаких особых звезд на его небосклоне не сияет, так – пушечное мясо для показов модных коллекций, массовка для клипов и безликие

физиономии для рекламы продукции местных производителей.

Я специализируюсь на компьютерной технике, энергетических напитках и ампула неверных любовников: безмозглые поп-дивы в своих безмозглых поп-клипах любят пострадать. И эти целлулоидные, наспех зарифмованные страдания выглядят так же нелепо, как страдания какого-нибудь гамбургера или хот-дога. Впрочем, я так их и называю – хот-доги с сиськами. Время от времени хот-доги проявляют ко мне нешуточный интерес и даже предлагают «сделать это по-быстрому», но подобные кавалерийские наскоки заканчиваются ничем. Уж я-то знаю, что за спиной каждого хот-дога маячит монументальная фигура бой-фрэнда, которому ничего не стоит состряпать из меня сырковую массу и размазать ее по стене.

Девушки у меня нет.

Я и сам отдаю себе отчет, что выглядит это не вполне нормально: здоровый двадцатилетний парень не может не иметь таких же здоровых потребностей, но... Никто до сих пор не тронул меня по-настоящему. Стоит мне только завести знакомство с девушкой – дальше чашки кофе в кофейне или бокала вина в клубе дело не идет. Ничьи глаза не могут сравниться с давно забытыми фиалковыми глазами Анук, в них не хватает чего-то самого главного. Чего – я так и не могу объяснить. А она...

Она умеет напоминать о себе в самый неподходящий момент, Анук, моя девочка.

И тогда — за чашкой кофе или за бокалом вина — я начинаю думать о ней. Какая она сейчас? Вернее, какой она могла бы стать... Странно, но я не могу представить рядом с ней никого, ни один мужчина не попадает в поле моего внутреннего зрения. Только запахи. Запахи, которые она притягивает, — целая свора запахов. Девушки, частенько сидящие напротив меня, тоже обладают запахом: прямолинейным и безыскусным запахом парфюма — дорогого и не очень. И это тоже мешает мне увлечься хоть кем-нибудь по-настоящему. Все то время, на протяжении которого очередная претендентка о чем-то весело щебечет, меня не покидает ощущение фальши происходящего: капли духов, стягивающие запястья или повисшие на ключицах, как будто призваны скрыть пустоту, обвести вокруг пальца, надуть меня. Но надуть меня, сиамского братца с глазастым шрамом на затылке, невозможно.

Все меняется, когда я встречаю Мари-Кристин.

Marie-Kristine Sauvât, совладелицу модного дома «Sauvat & Moustaki». Далеко не самого раскрученного, но достаточно амбициозного. Наша первая встреча проходит совершенно не замеченной для меня — на неделе *pret-a-porter*, такие радости у нас тоже случаются. Мари-Кристин (имя ее дома по замыслу организаторов должно украсить

происходящее и придать ему необходимый масштаб) представляет коллекцию «Vareuses», до которой мне нет никакого дела. Я занят в показе совсем другого модельера, совсем в другой день и одержим единственной здоровой мыслью: на что бы потратить причитающиеся мне сто пятьдесят баксов.

Но ста пятьюдесятью баксами дело не заканчивается: на пати, венчающем неделю, нас представляют друг другу. Как раз в тот самый момент, когда я пожираю тарталетку с икрой и запиваю ее полувывдохшимся шампанским. Появлению Мари-Кристин в моей жизни предшествует именно это: бокал шампанского и тарталетка, которой я едва не подавился. Еще не видя Мари-Кристин, а только предчувствуя ее приближение, я понимаю: в ней гораздо больше настоящего, чем в ком бы то ни было.

Никакого компрометирующего запаха духов я не улавливаю.

Но токи, исходящие от нее, неожиданно кружат мне голову. Несколько секунд уходит на то, чтобы справиться с головокружением и пропихнуть остатки икры в желудок.

Первый же вопрос, заданный на вполне сноском русском, повергает меня в недоумение.

– Вы не гей?

– Нет. А надо? – я даже не нахожусь, что ответить.

Она вовсе не торопится продолжить беседу, она просто рассматривает меня, как рассматривают экзотическое животное прежде, чем снять с него шкуру. Ну что ж, сыграем в вашу игру, madame. Наши взгляды сталкиваются на полпути и имеют разнонаправленные заряды: я банально раздеваю ее, а она... Она одевает. Шерстяная матроска мне бы, безусловно, пошла, равно как и двубортная куртка: денди-минималист, почему нет? А может, что-нибудь в стиле киногероев раннего Марлона Брандо – кожаная кепка, вылинявшие джинсы и пояс, сдвинутый набок?..

Определить, сколько ей лет, невозможно. Ясно только, что она намного старше меня: я вполне допускаю, что именно на те самые двадцать лет, которые я уже прожил.

– Хотите работать у меня? – спрашивает Мари-Кристин.

– Хочу, – не раздумывая ни секунды, отвечаю я.

– Отлично. Завтра подписываем контракт.

– А сегодня?

Мари-Кристин смеется: очевидно, моя щенячья наглость ее забавляет.

– Сегодня я свободна. Хотите показать мне город?

– Хочу, – не раздумывая ни секунды, отвечаю я.

– Сначала уйду я, а затем вы...

Я проницательно улыбаюсь: madame хочет поиграть, ну что ж. Но покинуть канареечное пати сразу не удастся. Мари-Кристин задерживает кто-то из ее знакомых, я же предупредительно отхожу в сторону и с самым независимым видом подхватываю с подноса еще один бокал: на сей раз не шампанского, а бренди. И тотчас же забываю о Мари-Кристин и о приключении, которое еще не началось. А все из-за неожиданно ударившего мне в нос запаха гибискуса. Я чувствую его так же остро, как и много лет назад, у бойни. Запах исходит от группы девочек-моделей, непринужденно позирующих заджинсованному прощелыге-фотографу. Через неделю все эти безупречные, как банковские купюры, личики появятся в какой-нибудь глянцевой мути – плотно зажатые между рубриками «Стиль жизни» и «10 мнений о женском оргазме». Но меня интересует только запах из детства – именно на него я и иду. И стоит мне подойти поближе, как он приобретает четко очерченные границы. И они самым непостижимым образом совпадают с границами тонкого силуэта девушки – в коктейльном платье с набивным рисунком из роз. Я знаю эту девушку, с ней мы отработали несколько показов. Ее зовут... ее зовут то ли Лия, то ли Лила, она этническая брюнетка, ей идут свитера с высоким воротом из толстой шерсти, а в шифоне она и вовсе неподражаема.

Лила отделяется от группы в тот самый момент,

когда запах гибискуса перехватывает мне дыхание. Перецеловав всех подружек и послав воздушный поцелуй фотографу, Лиля направляется к выходу. Я, как сомнамбула, следую за ней и, спустя пару минут, оказываюсь на улице. С глупым бокалом бренди в руках. И с еще более глупым выражением лица. Мне остается лишь наблюдать, как Лиля и тянущийся за ней шлейф из гибискуса садятся в двухместный красавчик-«Порше» с тонированными стеклами. Издав короткий рык, «Порше» исчезает в смуглых сумерках.

– Я же сказала, что первой уйду я, – раздается голос за моей спиной.

Это Мари-Кристин.

– Инициатива наказуема? – Я слегка трясую головой, чтобы избавиться от наваждения. И избавляюсь.

– Только не сегодня, – Мари-Кристин улыбается мне. – Что это у вас?

– Бренди. Хотите?

– Хочу...

Она вынимает бокал у меня из рук и залпом выпивает.

– Говорят, у русских есть примета: если выпить из чужого бокала, обязательно узнаешь чужие мысли.

– Ну-у... Я не совсем русский... – Мари-Кристин нравится мне все больше.

– Не совсем?

– Во всяком случае – наполовину точно не русский. Я родом из Абхазии. Это юг.

– Я люблю южан, – Мари-Кристин касается моей щеки кончиками пальцев, холодных и властных. – Южане мечтательны и красиво лгут. О, это большое искусство – красиво лгать...

– Хотите, чтобы я солгал вам?

– Не сейчас... Вы еще успеете это сделать, – Мари-Кристин нравится мне все больше, Мари-Кристин нравится мне чертовски, и мне почему-то совершенно наплевать на разницу в возрасте.

– Хотите, я покажу вам город?

– Хотите, я покажу вам город? – Мари-Кристин делает многозначительное ударение на «я». – Он прекрасно смотрится из окон моего номера.

...Города из окон ее номера мы не видим: кровать стоит у противоположной стены. Тело моей первой женщины нельзя назвать безупречным, но именно несовершенство и делает ее живой. И волнует меня.

– Ты красивая, – я осторожно наматываю на палец прядь ее волос, слегка тронутых сединой. Бесстрашные волосы бесстрашной женщины, которой наплевать на время. – Ты красивая...

– Я знаю. Расскажи мне о своем детстве, Ги.

– О детстве? – я на секунду задумываюсь. – В нем не было ничего интересного.

– А твои родители, где они?

– Они умерли.

– Прости, – Мари-Кристин нежно целует меня в лоб. От шестнадцатилетней девчонки, которая так и не успела побыть нашей с Анук матерью, я бы такой нежности не дождался. Наверняка.

– Ничего. Это было давно. Я не помню своих родителей. Откуда ты знаешь русский?

– Моя бабушка эмигрировала из России. У тебя были женщины? До меня?

– Нет. Ты первая.

– Но почему? Такой красивый мальчик... – Она осторожно наматывает на палец прядь моих волос. Трусливые волосы трусливого сиамского братца, разом отказавшегося от Анук.

– Так получилось...

– Ты не пользуешься парфюмом, Ги. Почему? Все молодые люди твоего возраста...

– Ты тоже не пользуешься...

Мари-Кристин улыбается мне – я вижу, как в смуглых сумерках поблескивают ее зубы.

– Надеюсь, мы пришли к этому разными путями...

– Конечно разными, Мари-Кристин. Я бы очень удивился, если бы оказалось иначе.

– Ты ведь когда-нибудь расскажешь мне, Ги?

– Когда-нибудь расскажу...

– Откуда у тебя этот шрам? – с хладнокровным любопытством естествоиспытателя Мари-Кристин изучает мой затылок.

– Это старый шрам, – я на секунду задумываюсь. –

Стукнулся головой о камень. Еще в детстве.

— А ты говоришь, что в нем не было ничего интересного, — уличает меня Мари-Кристин. — Ты ведь когда-нибудь расскажешь мне?

— Когда-нибудь расскажу...

Как там говорила Мари-Кристин? Южане умеют красиво лгать? Еще лучше у них получается лживо помалкивать.

Утром следующего дня я подписываю контракт с «Sauvat & Moustaki». Л вечером узнаю о смерти Лилы. Об этом мне сообщает ее подруга, любительница ароматов от Живанши, — последняя в списке тех, кто не смог заарканить меня. Ее голос в телефонной трубке подрагивает и срывается, а слова жмутся друг к другу, как слепые котята: «Ты даже не представляешь что случилось Гай ты ведь знаешь Лилу хорошенькая такая корейночка ну вспомни так вот ее нашли сегодня с перерезанным горлом господи какой кошмар я поверить не могу это ужасно ужасно с перерезанным горлом в собственной постели может мы увидимся на днях Гай?»...

С перерезанным горлом... в собственной постели... запах гибискуса... «Порше» с тонированными стеклами... вязкая струя в желобе, идущем от бойни... запах гибискуса... в конце концов...

В конце концов, мне нет до этого никакого дела. Жалко девчонку, получше не забивать голову

фантазиями, порожденными давно исчезнувшей Анук.

Последующие две недели я стараюсь не думать о Лиле, последующие две недели я занят Мари-Кристин: она задерживается в России, но не из-за меня – Мари-Кристин ведет переговоры об открытии бутика. И получает заказ на создание фирменного стиля и униформы для персонала недавно открывшегося пятизвездочного отеля.

В Париж мы летим вместе.

Париж. Анук умерла бы со смеху, если бы знала, что существует Париж:...

Мари-Кристин живет в заживевшем и высокомерном шестнадцатом округе, я явно туда не вписываюсь. Я – всего лишь каприз преуспевающей *madame*. Каприз, который придает пикантность ее существованию, – во всяком случае, нам обоим хочется думать именно так. Но и на роль жиголо я бы никогда не согласился: Мари-Кристин не содержит меня, она платит за работу. За дневную, а не за ночную. Деньги не бешеные, но они позволяют мне снимать небольшую квартирку на рю де ла Гранж и время от времени обедать с Мари-Кристин в «Ле Режанс».

Я предпочитаю менее изысканную кухню – маленькие бистро у площади Аббатис или североафриканские забегаловки в прямом Бельвиле. Не то чтобы Париж так уж нравился мне, но он

забивает все поры. И окрашивает кожу в перламутр — с самыми разнообразными оттенками: голубыми, розовыми, желтоватыми. Точно такие же облака — голубые, розовые, желтоватые — проплывают над каналом Сен-Мартен, Анук наверняка заночевала бы именно здесь, на какой-нибудь барже...

А я иногда — совсем не часто — ночую у Мари-Кристин.

Мари-Кристин обожает окна без штор, старые американские фильмы с субтитрами и Бадди Гая. Наши ночи пронизаны его бесконечными блюзами и такими же бесконечными рассказами Мари-Кристин о его первой гитаре: оказывается, он сам склепал ее из металлической коробки из-под сигар, бедный негритянский малыш. Я не сразу понимаю, почему Мари-Кристин так одержима полузабытым блюзменом — именно одержима, никак иначе. А ларчик открывается просто — следующая ее коллекция посвящена именно Бадди Гаю, воспоминаниям о Бадди Гае, ощущениям от Бадди Гая.

Блюз — это как путешествие вниз по реке, нежно вколачивает в меня Мари-Кристин. Это — как путать право и лево. Это — как обнаружить в своих снах чужие сны...

Свежая мысль, но это совсем не блюз, Мари-Кристин.

Мягкие фетровые шляпы с бесформенными краями, шелковые рубашки и галстуки, широкие

фланелевые брюки и жилетки с меховым подбоем — это и есть «Riffin», путешествие вниз по реке. Путешественники — в основном блондины с нордическим профилем: именно такой типаж предпочитает старый педрила Азиз Мустаки, старший партнер Мари-Кристин. Я — вызывающе брюнетистый, плохо выбритый и длинноволосый — принадлежу к тем немногим, кого он даже не пытается погладить по заднице. К тому же я нахожусь под покровительством Мари-Кристин.

За «Riffin'oM» следует коллекция, навеянная «Мальтийским соколом» и Хамфри Богартом: жилетки сменяют твидовые пиджаки, а шелковые галстуки — галстуки из шерсти.

Шляпы (несколько видоизмененные) — остаются.

Темы следующих коллекций возникают в самых непредсказуемых местах, по которым любит таскаться Мари-Кристин: старые кинотеатры, заброшенные пакгаузы, автомобильные свалки, рыбный рынок в Дьеппе — там Мари-Кристин целый час, как зачарованная, стояла возле корзины с ракушками святого Иакова, а потом еще два часа тянула сидр с владельцем корзины.

Я люблю сопровождать Мари-Кристин и люблю наблюдать за ней. Сначала я еще пытаюсь уловить момент озарения, которое заставляет Мари-Кристин брать в руки карандаш и набрасывать силуэты на мелованных листах бумаги, обратной стороне счетов

или салфетках. Но со временем теряю интерес и к этому: только дураку нравится изучать творческий процесс со стороны. Оставив в покое Мари-Кристин, я полностью сосредотачиваюсь на себе: вернее, на своей тетради в коленкоровом переплете. Ее необходимо пополнять. В поисках новых запахов я прочесываю Париж – квартал за кварталом, округ за округом. Я сижу в турецких кофейнях, гроздьями свисающих с Фобур-Сен-Дени, я наматываю километры в чайнатауне у площади Италии и дежурю у центра дервишей-суфиев неподалеку от рынка Монтрей. Ничего сверхъестественного, ничего запредельного до сих пор обнаружить не удалось, хотя мускус, иланг-иланг, амбра, индийский жасмин и бобы тонка уж точно не застанут меня врасплох. Я не знаю, зачем я собираю все эти запахи и откуда вообще взялась подобная застенчивая страсть, – я знаю только, что все строки, все клетки в чертовой тетради должны быть заполнены. Вплоть до последней страницы; а это значит, что от «Arsmoriendi» мне все равно не отвертеться.

На то, чтобы добраться до конца, у меня уходит около четырех лет.

За это время почти ничего не меняется: разве что наши отношения с Мари-Кристин становятся чуть более сдержанными. Еще каких-нибудь полгода-год – и она потеряет ко мне всякий интерес, и тогда придет черед нового брюнетистого счастливца. Но я по-

прежнему (в пику тупоносым норманнским любимчикам старшего партнера) считаюсь ведущей моделью «Sauvat & Moustaki», и в этом качестве скачу по самым разнообразным подиумам Европы.

Коридоры моих снов по-прежнему стерильны.

Я так привык к их стерильности, что засыпаю с самым скучающим видом: даже если держу в руках изученное до последней родинки тело Мари-Кристин.

Но в ту субботу (или это была пятница?) все происходит совсем иначе. Впервые за восемь лет я натыкаюсь во сне на что-то давно забытое. Кажется, это та самая жестянка с лирохвостами. Она не пугает меня, как бывало в детстве, она лишь меланхолично покачивается у меня перед глазами. Я не могу точно сосчитать, сколько граней, сколько углов насчитывает жестянка, и — стоит только слегка приоткрыться крышке — просыпаюсь в холодном поту. Простыня подо мной сбита и тоже пропитана потом, а шрам на затылке горит. Чтобы хоть как-то остудить его, я отправляюсь в душ и сижу под плотными прохладными струями несколько часов. Самые странные, самые удивительные мысли пасутся в моей голове — и все они касаются Анук. Задвинутой в самый дальний угол памяти, но совсем не забытой Анук.

Подстегиваемый этими мыслями, я звоню Мари-Кристин и отказываюсь от поездки в Ле-Трепор, она была запланирована еще неделю назад: моей

сдержанно-эксцентричной модельерше просто необходимо посетить тамошнюю гавань, набитую катерами и местной камбалой «соль». Мари-Кристин вежливо выслушивает мои сбивчивые, маловразумительные объяснения («отвратительно себя чувствую, озноб и температура, даже не знаю, что делать, дорогая...») и после непродолжительного молчания так же вежливо советует залезть в постель и не высовываться оттуда до ее приезда.

Я клятвенно обещаю так и поступить.

Я почти не вру Мари-Кристин — меня действительно колотит озноб, а температура поднялась до тридцати восьми.

Целый день я не подхожу к телефону, целый день я тупо валяюсь перед телевизором и щелкаю кнопками пульта. А к вечеру, устав от самого себя, отправляюсь на бютт Шомон² Мне почему-то кажется, что если я и должен встретить Анук, то встречу ее именно там, в патриархальных улочках, увитых жасмином и сиренью. Именно там, на брусчатке, сквозь которую пробивается трава, мне явственно слышится стук ее ботинок. Шрам сиамского брата не может меня обмануть.

Он не может меня обмануть — и обманывает.

Анук нигде нет.

Но сны продолжают подкидывать мне сюрпризы. Теперь я брожу в них по щиколотку в воде, то и дело натыкаясь на россыпи странных монет. Я же ищу

одну-единственную – ослепительно-желтую, с дыркой посередине и корабликом сбоку. Монет становится все больше, и они в конце концов образуют холм, схожий очертаниями с бьют о'Кайль³, я был там всего лишь пару раз... Прodrаться на вершину не так-то легко: для этого мне приходится перескакивать с монеты на монету. Они прямо на глазах увеличиваются в размерах, но разве это имеет значение для сна? И (трусливый даже во сне) я стараюсь не смотреть себе под ноги; на поверхности монет то и дело всплывают сцены, похожие на барельефы. Я уже видел их в детстве, во время чайных бдений у миски с горячей водой. Так, боясь самого себя и зыбких детских воспоминаний, я оказываюсь на вершине. Вершина – небольшое плато – не что иное, как крышка от проклятой жестянки. Потоптавшись по розе ветров, я подхожу к желобу, который обнаруживаю на противоположной стороне: он, подобно трамплину, устремлен вниз. И упирается в маленькую запруду. Какая-то неведомая сила заставляет меня скатиться по нему. И со всего размаху плюхнуться в затянутую ряской и кувшинками воду. Кувшинками – так мне кажется поначалу. Лишь спустя несколько мгновений я понимаю, что никакие это не кувшинки.

Китайская роза – вот что это такое.

Чертов гибискус.

От него веет могильным холодом, куриным

пометом, слежавшейся шерстью, гниющей на солнце требухой; чем угодно, но только не невинной китайской розой. А то, что я обнаруживаю под лепестками... То, на что натыкаюсь, потому что не могу не наткнуться...

Это всего лишь сон, всего лишь сон, говорю я себе. Иначе откуда бы здесь взяться ножу, пропавшему вместе с Анук много лет назад?.. Ну да, рукоять, которая возвышается сейчас над ряской, — ее я узнал бы из тысяч других: сверчки и раковины, сверчки и раковины. Желание снова обрести нож — пусть хотя бы и во сне — оказывается сильнее страха. Я берусь за рукоять, но сверчки и раковины даже не думают всплывать на поверхность: что-то явно мешает им. И чтобы добраться до этого «что-то» и избавиться от него, я начинаю разрывать сеть из лепестков и тонких глянцевых листьев.

Это всего лишь сон, всего лишь сон, говорю я себе. Иначе откуда бы здесь взяться мертвому телу?.. Мертвое тело утопает в ряске, мертвое женское тело. Нож торчит в горле неизвестной мне женщины. Неизвестной — так мне кажется поначалу. Лишь спустя несколько мгновений я понимаю, что это — Ли́ла. Жесткие прямые волосы, слегка приплюснутый нос, поднятые к вискам ленивые азиатские веки... Но укрепиться в мысли, что это действительно Ли́ла, мне мешает движение воды. Совсем незаметное для глаза, оно неожиданно меняет

знакомые черты: еще раз, еще, еще... Черт, это не Лила, этой девушки я не видел прежде, такое лицо не запоминается, оно вбивается в память острой иглой... Но это не Анук.

Слава богу, это не Анук, моя девочка.

Обессиленный, я слежу за током воды, а она раз за разом выдает мне новое лицо. Сколько их? Три, пять, семь? И когда успокоится вода? И кто будет следующим?.. Нервы мои не выдерживают, а в висках отбойными молотками стучит: это всего лишь сон, всего лишь сон. Проснись, Гай! Проснись – и кошмар закончится... И я просыпаюсь. Почти просыпаюсь. И уже у самой границы реальности, когда до спасительного утра рукой подать, вода бьет меня наотмашь последним откровением: Мари-Кристин.

Это всего лишь сон, всего лишь сон, говорю я себе. Ору я себе, впившись зубами в уголок подушки. Пошло все к черту, нужно попросить у Мари-Кристин снотворное, чтобы навсегда избавить себя от подобных кошмаров.

Будь ты проклята, Анук, моя девочка!..

Утро не приносит облегчения, наоборот – закрепляет кошмар, делает его еще более правдоподобным. Поддавшись смутному чувству тревоги, я звоню Мари-Кристин: сначала домой (чтобы нарваться на автоответчик), затем – в офис (чтобы нарваться на секретаря). И только потом решаюсь набрать номер сотового. После третьего

гудка она отзывается, я слышу ее низкий глубокий голос — и кладу трубку. Сейчас мне не хочется говорить с Мари-Кристин. Сейчас мне нечего сказать ей. Она перезванивает сама, спустя несколько минут: «Ты даже не представляешь себе, Ги, какой шикарной была поездка, жаль, что ты не смог всего этого увидеть... Кстати, как ты себя чувствуешь?..»

Чувствую я себя отвратительно. Настолько отвратительно, что соглашаюсь пообедать с Мари-Кристин и выслушать восторженный монолог о Ле-Трепор, этом облепленном чешуей кладбище дизайнерских идей.

«В пять в "Ле Режанс". И не опаздывай, Ги».

Я выхожу из дому в четыре, с твердым намерением не опоздать, но вместо «Ле Режанс» оказываюсь на бютт о'Кайль. Я и сам не могу понять, на что мне сдался Перепелиный холм и каким ветром меня вообще занесло туда: я выхожу не на тех станциях метро, на каких следовало бы; иду по той стороне улиц, по которой никогда не ходил; как будто меня ведет неведомая мне сила. А шрам на затылке решил сыграть со мной в детскую игру «горячо-холодно».

Авеню Порт-Рояль — холодно, холодно.

Улица Бобилло — теплее, намного теплее.

Площадь Верлена — горячо.

Еще как горячо, почти припекает — иначе, чем низкое солнце в платанах сквера, но припекает.

Сгорая от предчувствия, я битый час наблюдаю за местными старикашками. Они играют в петанк, более бессмысленного занятия, чем катание металлических шаров, я не знаю. Старикашки все сплошь похожи на слепого на один глаз Автандила. Во всяком случае, я легко могу представить себе Автандила, играющего в петанк. Все остальное видится, как в тумане.

Как в тумане, я покидаю сквер и оказываюсь у «Chez Joe», рюмашка кальвадоса не помешает. Но через секунду я забываю и о кальвадосе, и о петанке, и о стариках, и о Париже, и о Мари-Кристин, и о самом себе. За самым дальним столиком «Chez Joe», под боксерскими перчатками, свисающими с потолка, сидит Анук.

Анук, моя девочка.

Анук в компании одинокой чашки кофе — в это невозможно поверить. И все-таки — это она, ничуть не изменившаяся за те восемь лет, которые мы не виделись. Я готов поклясться, что на ней тот же темно-синий свитер под горло и та же длинная шерстяная юбка. И те же ботинки. И та же стрижка, Анук всегда справлялась с ней сама: просто собирала отросшие волосы в хвост и срезала под корень садовым секатором. Ее лицо все так же безмятежно, нет, оно еще более безмятежно, чем обычно. Оно еще более безмятежно, чем я его помнил: такие лица бывают только у святых. Или у сумасшедших. А таких фиалковых глаз нет ни у кого.

– Я заказала тебе кофе, – говорит Анук.

И это первые слова, которые она говорит мне после восьми лет разлуки.

– Анук, – я сажусь против нее, я бессильно падаю на стул против нее – и смотрю, смотрю. – Анук... Но откуда ты знала? Откуда ты знала?..

– А ты откуда? – улыбается Анук.

Нет, ботинки все-таки другие: высокие, почти новые, но со сбитыми тупыми носами. Анук наверняка пинает ими что ни попадя: пустые сигаретные пачки, шары для петанка, мелкие камешки, конские каштаны, жестянки с лирохвостами...

– Анук... – я не могу оторваться от ее лица: не постаревшего, не повзрослевшего. – Что ты делаешь здесь, в Париже, Анук?

– Ничего, – улыбается Анук.

– А что... Что ты делала все эти восемь лет?

– Ничего, – улыбается Анук. – Пей кофе.

– Да, конечно... Все думали, что ты умерла...

– Но ты-то ведь знал, что я не умерла?

– Да...

Я залпом, обжигая язык и небо, выпиваю кофе – но даже не чувствую ожога. Но чувствую взгляды немногочисленных посетителей «Chez Joe», они обращены на Анук. Кто бы сомневался, Анук всегда оказывается в центре внимания.

– Ты давно в Париже? – задаю я самый дурацкий

вопрос из всех дурацких вопросов.

– Ты ведь знаешь, правда, Гай? – Она не забыла мое имя, надо же!

– Да, – теперь уже я улыбаюсь, машинально потирая шрам на затылке. – Где ты остановилась?

– У тебя. То есть... Сегодня я хочу переночевать у тебя.

– Конечно. Черт, я рад! Ты даже себе представить не можешь, как я рад. Мне нужно многое рассказать тебе, Анук.

– Только не про свою бабу, – Анук засовывает большой палец в рот, по старой детской привычке. – Наверняка какая-нибудь старая гримза...

– С чего ты взяла, Анук? – Такое пренебрежительное отношение к Мари-Кристин неожиданно задевает меня.

– Это же ясно, как божий день. Это у тебя на физиономии написано.

Углубляться в тему моих взаимоотношений с Мари-Кристину меня нет никакого желания. Анук вернулась, Анук не забыла мое имя, что может быть важнее?..

– Ты можешь жить у меня, – торопливо говорю я. – Ты можешь жить у меня, сколько хочешь...

– Это лишнее. Я просто переночую.

– Как хочешь. – Ну почему я все время забываю, что приручить Анук невозможно?

– Заплати за кофе и пойдем.

Она не дожидается, пока я отвечу, пока я расплачусь, — она поднимается из-за столика и уходит. Я нагоняю ее лишь на улице. Идти рядом не получается, Анук не терпит никого рядом с собой, и поэтому я двигаюсь чуть позади, чуть впереди, чуть справа, чуть слева; все это похоже на движение спутника вокруг планеты. Что уж тут поделаешь, стоит Анук появиться, как все начинает вертеться вокруг нее. Я ловлю ее отражение в витринах, в стеклах проезжающих автобусов, в лицах людей: сама же Анук, как всегда, ускользает.

— Ее зовут Мари-Кристин, — сообщаю я затылку Анук. — Тебе не интересно, как я жил все эти годы?

Дурацкий вопрос. Самый дурацкий из всех дурацких.

Моя квартира тоже кажется мне дурацкой: дурацкий набор дисков, дурацкие жалюзи на окнах, дурацкий плакат с выставки Ронни Бэрда на входной двери — Мари-Кристин считает его гением, новым Дали с уклоном в животноводческий урбанизм. Следующую коллекцию она собралась посвятить именно ему, представляю, как будет счастлив новый Дали.

Да, еще посудомоечная машина, которой я ни разу не пользовался, — она тоже выглядит дурацки.

Анук отправляется в ванную, не снимая ботинок, а я остаюсь перед закрытой дверью.

— Если тебе нужна зубная щетка, на полке под

зеркалом есть новая, — спохватившись, кричу я Анук.

Никакого ответа.

Пока Анук моется, я наматываю круги вокруг ее рюкзака, оставленного в прихожей. Самый обыкновенный рюкзак из дубленой кожи, интересно, что там внутри? Заглянуть в рюкзак Анук, конечно, не так интересно, как заглянуть в саму Анук, но все же, все же... С бьющимся сердцем я сажусь на пол перед рюкзаком и расстегиваю лямки.

«Ключ к герметической философии» — первое, на что я натыкаюсь. Все эти годы она таскала книгу с собой, иногда Анук бывает постоянна в привязанностях. Оказавшись в моих руках, книга открывается ровно посередине, на том самом месте, куда Анук когда-то сунула смятый цветок гибискуса.

Он и сейчас там, цветок. Не высохшая деталь гербария, как можно было бы предположить, нет. Цветок кажется сорванным совсем недавно, его тонкая плоть еще жива — что ж, Анук и правда постоянна.

Книга тянет за собой нож, я не видел его восемь лет. И за эти восемь лет он тоже ничуть не изменился, во всяком случае — сверчки и раковины на месте. Я на секунду вспоминаю сегодняшний ночной кошмар, но только на секунду; нож выглядит вполне миролюбиво, он слишком стар и слишком мудр, чтобы помышлять о стройных горлышках красоток. Номером три идет видеокассета без обложки, надпись

на ней торжественно провозглашает: «Диллинджер мертв».

Ломать голову над Диллинджером у меня нет никакого желания. Мертв и мертв, голубоглазый. Скорее всего – это название фильма, и слыхом о нем не слыхивал.

Дно рюкзака завалено мелочью. Монет несколько десятков, самых разных, но одинаково не имеющих отношения ни к Франции, ни (как я подозреваю) – к Европе. Рисунок на некоторых совсем стерся, другие выглядят почти новыми – как ботинки Анук.

Книга, кассета, нож: и грудa монет.

Ничего больше обнаружить не удастся: ни документов, ни проездных билетов, ни сотового, ни записной книжки, ни милых девичьих мелочей в виде помады, блеска для губ и водостойкой туши. Анук, как всегда, обманывает.

Она умеет водить за нос, Анук, моя девочка.

Чувствуя себя уязвленным, я прочесываю боковые карманы. Ага.

Куча билетов в кино с оторванными корешками, бумажка с каким-то номером телефона и пластиковая визитка. Одна-единственная, но какая! Ронни Бэрд, который висит у меня на входной двери. Удачливый павлин Ронни Бэрд, мазила-мистификатор, слывущий мизантропом и женоненавистником, интересно, где Анук ее раздобыла?.. Размышлять об этом нет времени – Анук вот-вот появится, лучше сунуть все

обратно от греха подальше.

Так я и поступаю и отправляюсь на кухню заваривать чай. Чай носит весьма игривое название «Тысяча наложниц»; я покупаю его на вес в маленькой лавчонке у Северного вокзала; не бог весть что, но и сюрпризов никаких. Сюрприз поджидает меня, когда Анук воцаряется на кухне.

– Ну что, все обшарил? – весело интересуется она, Отпираться бесполезно.

– Фильм хоть ничего? – так же весело парирую я. – «Диллинджер мертв», надо оке! Никогда о таком не слышал.

– Понятия не имею. Я его тоже в глаза не видела. Если хочешь – возьми посмотреть. Может, и правда понравится...

На этом наш разговор заканчивается. Мы сидим в полной тишине и рассматриваем друг друга. Вернее – я пожираю глазами Анук. Ей до меня нет никакого дела. Первое впечатление не обмануло меня: Анук не изменилась. Или почти не изменилась. Ей двадцать четыре – столько же, сколько и мне, но выглядит она на восемнадцать. Или на семнадцать, которым очень хочется поскорее вырасти.

– Расскажи о себе, – делаю я вторую попытку завязать разговор.

– Я же не прошу тебя рассказать о себе...

– Моя жизнь, наверное, была не такой интересной, Анук, – в моем исполнении эта фраза звучит как

вызов, но Анук его не принимает.

Мне остается только сгорать от любви к потерянной и так и не найденной сестре. И тыкаться влажным лбом в ее молчание.

– Дед умер шесть лет назад, – пытаюсь я найти бреши в ее обороне.

– Правда? – равнодушно спрашивает Анук.

– А в школу попал фугас. Ничего от нее не осталось, только фундамент.

– Правда? – равнодушно спрашивает Анук.

– Там была война... Ты же знаешь...

– Война обязательно где-нибудь да идет. Что об этом думать...

– А помнишь, как мы сидели у бойни?

По лицу Анук пробегает тень, или это мне только кажется? Нет, определенно – фиалковые глаза Анук темнеют, а губы слегка приоткрываются, распускаются, как цветок: это еще не брешь, но стена дала трещину. Сейчас нужно закрепить успех, сунуть в трещину лезвие ножа, монету с дыркой посередине, обломок чайного листа... Да, лист, пожалуй, подойдет.

– А помнишь то лето, когда все время шел дождь? И мы сидели на чердаке... А жестянку помнишь?

– Что об этом вспоминать, – Анук все так же равнодушна.

Никаких трещин, не то что лезвие ножа или чайный лист – волос не проскочит. Я ошибся. Кто ее

знает, что у нее в голове... У Анук, моей девочки.

Если то же, что и в снах, которые просачиваются через шрам в моем затылке... Подумать об этом я не успеваю — из-за настойчивого звонка в дверь. Так настойчиво и требовательно может звонить только один человек — Мари-Кристин. Мари-Кристин, вот черт. Мари-Кристин, которую я самым скотским образом продинамил с обедом. Да что там, за те несколько часов, проведенных с сестрой, я даже ч не вспомнил о ней.

Странно, но никаких угрызений совести я не чувствую.

Более того, этот чертов звонок вызывает во мне волну ничем не обоснованной, почти детской ярости: сейчас мне хочется быть только с Анук. Молчащей, равнодушной, такой же далекой от меня, как дедов виноградник и пиниевая роща. Такой же смутной, как кровь, мерцающая в камнях у бойни.

С Анук — и ни с кем больше.

— Звонят. Ты разве не слышишь? — мягко спрашивает у меня Анук.

— Слышу. — Я даже не двигаюсь с места. — Пусть звонят.

— Ты никого не ждешь?

— Тебя. Я всегда жду только тебя, — лишь произнеся это, я понимаю, что сказал правду.

— Какой пафос, — Анук запрокидывает голову и скалит диковатые, влажные зубы. — Открой, Гай.

Анук играючи парализует мою волю, так было всегда. Вот и сейчас я тяжело поднимаюсь со стула и плетусь в прихожую. И так же на автопилоте открываю дверь. Силуэт Мари-Кристин, нарисовавшийся в проеме, не вызывает у меня никаких эмоций. Как и поток сдержанных интеллигентных упреков.

– Ты не пришел на встречу. Я прождала тебя почти час. Что-нибудь произошло, Ги?

– Ничего.

– Ты мог хотя бы позвонить...

– Прости...

– Ты даже не предложишь мне войти? – Мари-Кристин недоуменно приподнимает бровь.

– Конечно, входи.

– У тебя гости? – Бровь Мари-Кристин задирается еще выше.

– Нет... То есть...

Интересно, чувствует ли Мари-Кристин то же, что и я? Чувствует ли она, что с приходом Анук моя квартира неуловимо изменилась, предметы утратили первозданные смыслы и очертания и в каждом из них появилось двойное дно?..

Как бы то ни было, Мари-Кристин, подстегиваемая любопытством и уязвленным самолюбием, направляется прямиком на кухню – туда, где у стены, на полу, сидит Анук. Мне ничего не остается, как следовать за ней.

– Познакомься, Мари-Кристин, – лепечу я в надменную спину своей возлюбленной. – Это Анук, моя сестра.

Анук даже не находит нужным повернуть голову.

– Сестра? Ты никогда мне о ней не рассказывал..,

Весь от-кутюрный лоск сползает с Мари-Кристин, как старая краска со старого автомобиля; сползает, слезает слоями, отваливается клочьями. Теперь и она пожирает глазами Анук. Но совсем не так, как несколько лет назад пожирала глазами меня. Она вовсе не прикидывает, как выглядела бы Анук в шелковом шарфе или эскимосских сапогах. Она просто пытается сходу разгадать тайну ускользающего лица Анук. Напрасный труд, я убил на это всю жизнь, но так ничего и не понял.

– Ты никогда о ней не рассказывал, Ги...

– Боюсь, он утаил не только это, – Анук наконец-то снисходит до улыбки.

– Я – Мари-Кристин Сават. Не знала, что у Ги такая... сестра...

– А я предполагала, что у Гая... Или как вы там его называете... что у Гая именно такая любовница.

– Да? – улыбается в ответ Мари-Кристин.

– Это не комплимент, – уточняет Анук, улыбаясь еще шире.

Вжав голову в плечи, я жду бури, цунами, пришествия тайфуна «Эндрю». Но ничего подобного не происходит. Анук всегда все сходит с рук, как я

мог забыть об этом?

— Это не главная моя ипостась, поверьте... — Мари-Кристин все еще не может прогнать улыбку с лица. — «Сават и Мустаки», вы что-нибудь слышали об этой дизайнерской фирме?

— Не самое лестное. Можно не пересказывать?

— А в модельном бизнесе работали?

— А разве я похожа на модель? — Анук забрасывает ногу за ногу и смотрит на кончик своего ботинка. На Мари-Кристин она предпочитает не смотреть.

Все сказанное ею делает следующий вопрос почти бессмысленным, но Мари-Кристин все-таки задает его.

— Хотите быть лицом «Сават и Мустаки»?

— Лучше голой, — Анук даже не раздумывает. Ни секунды. — Лучше голой среди волков в заснеженном лесу накануне Рождества.

— Может быть, мой русский не слишком хорош? — Мари-Кристин беспомощно трясет головой, не отводя взгляда от Анук. — Может, вы не поняли вопроса?

— Почему не поняла? Мне просто не слишком нравится эта идея. Вот и все.

— Ги? — Мари-Кристин неподражаема во взрослой беспомощности и детской решимости заполучить Анук любой ценой. — Поговори с ней, Ги...

— Но... — блею я овцой, зажатой между Анук и Мари-Кристин, между алтарем для жертвоприношений и секачом для рубки мяса.

Предложение остается в силе. – Не так-то просто избавиться от наваждения, даже когда тебе за сорок. Даже когда ты можешь вытащить из мягкой фетровой шляпы все тайны полузабытого блюзмена Бадди Гая и мочки твоих ушей девственно чисты. – Предложение остается в силе, и мы можем подписать контракт в любое удобное для вас время. Речь идет об очень приличной сумме, поверьте.

Слова Мари-Кристин не производят никакого впечатления на мою сестру. Хотя и пытаются забраться в рукава ее старого свитера, просочиться под обветшалый ворот, ухватиться за край шерстяной юбки. Черта с два, Анук умеет держать оборону.

– Приличной сумме? Тогда придется бросить монету,

Анук вынимает из-за щеки монету (я готов поклясться, что это та самая ярко-желтая монета с корабликом, безнадежно потерянная нами в детстве, на винограднике) и подбрасывает ее в воздух. Описав полукруг, монета падает в ладонь Анук.

– Ну как? – живо интересуется Мари-Кристин.

– Никак, – даже не взглянув на монету, Анук снова отправляет ее за щеку. – Предложение отклоняется.

– Но... – Мари-Кристин и не пытается скрыть раздражения. – Вы даже не посмотрели!

– Я всегда знаю, какой стороной она упадет..,

Вопрос закрыт, но смириться с этим Мари-Кристин не хочет.

– Ты не проводишь меня, Ги? – бросает она, не двигаясь с места.

– Конечно.

Кухню мы покидаем минут через пятнадцать, когда Мари-Кристин все-таки удается отлепиться от Анук. В прихожей летают стрекозы и ленивая осенняя паутина; в прихожей валяются вишневые косточки, речная галька и битая первыми холодами айва. А на дурацком плакате Рон-ни Бэрда завис геккон: картинка детского мира Анук так выпукла, что мне на мгновение кажется – я сошел с ума.

– Ты ничего не замечаешь? – осторожно спрашиваю я У Мари-Кристин.

– Что я должна заметить? – Мари-Кристин в сердцах бьет ладонью по макушкам болиголова, выросшего у вешалки. – Только то, что твоя сестра... или кем там она тебе приходится... Она просто маленькая сучка.

– Зачем ты так...

– Дрянь, – Мари-Кристин все еще не может успокоиться. – Но до чего же она хороша! Я должна получить это лицо. Любой ценой. Уговори ее, Ги.

Уговорить Анук сделать то, чего она делать не хочет, – гиблое дело. Но как объяснить это Мари-Кристин?

– Вряд ли она примет во внимание мои доводы, если уж не приняла твои...

– Расскажи мне о ней.

Рассказать об Анук невозможно. Так же невозможно, как объяснить возникновение стрекоз, айвы и болиголова в моей прихожей. Так же невозможно, как понять, почему неуловимо изменился дурацкий плакат Ронни Бэрда. Впрочем, теперь он вовсе не кажется дурацким. Вместо полуфотографической хрени (кровавый обрезок луны и два енота в бейсболках, устроившихся на крыше небоскреба) на плакате красуется совсем другая картина. Картина стилизована под обложку старинной книги, и я могу поручиться, что это — не глуховато-серый «Ключ к герметической философии». Напротив: основной тон дышит пурпуром, по которому разбросаны цветы с широкими стрелчатыми лепестками — то ли ирисы, то ли водяные лилии. А сквозь лепестки проступает женское лицо. Нет, это не лицо Анук. В нем нет сходства и с лицами девушек из моего кошмара. Это лицо может принадлежать кому угодно, даже мужчине (если ему когда-нибудь придет в голову возомнить себя богом). Лицо изъедено ржавчиной, особенно заметной на скулах, и стянуто железными обручами. Широкие клепанные полосы проходят по лбу, щекам и подбородку: без этого каркаса, без этой клетки лицо наверняка распалось бы на тысячу лиц. Но оно не распадается, к тому же снизу его подпирают колья готического шрифта. Надпись почти не читается, но то, что удастся разобрать... Я

явственно вижу две первые буквы – «А» и «R». Одну в середине – «О». И предпоследнюю – «D».

– Интересный все-таки художник этот Ронни Бэрд, – говорю я Мари-Кристин, не отрывая взгляда от плаката.

– Господи, ты о чем?– Мари-Кристин машинально поворачивает голову к двери.

– И картина интересная, – продолжаю я гнуть свое. – Ты видела ее на последней выставке?

– Какая картина?

– Та, что на плакате.

Теперь и Мари-Кристин – окруженная стрекозами Мари-Кристин – внимательно рассматривает плакат.

– Странно... Что-то я ее не помню. Гамма, как у Рембрандта, но по стилю скорее Ван Эйк... Странно, очень странно... И цветочный рисунок хорош...

– Цветочный?..

– Ну да... А до чего выразительно, Мариуччиа Манделли⁴ сдохла бы от зависти! Как только эта вещь прошла мимо меня? Я ведь хорошо знаю все работы Ронни...

Я слушаю Мари-Кристин, затаив дыхание. Выходит, я вовсе не сумасшедший, и она видит то же, что и я. Пусть не все, но видит!

– Водяные лилии, правда? – уточняю я.

– Нет, скорее ирисы, – Мари-Кристин щурится. – Некрупные ирисы, совсем юные... Никакого намека на разнузданную сексуальность, обычно ирисы всегда

тащат за собой бесстыдство... А эти – девственны. Никогда не видела ничего подобного.

– По-моему, это все-таки водяные лилии...

– Ирисы, – продолжает настаивать на своем Мари-Кристин. – Ирисы, не спорь. И вообще, мы отвлеклись от темы. Анук – твоя младшая сестра?

Младшая, Анук умерла бы со смеху! Но рассказывать о нашем совместном пребывании в чреве шестнадцатилетней девчонки – вот так, походя, под рассеянный аккомпанемент водяных лилий... черт с ними, ирисов... на такой подвиг я не способен.

– Угу. Младшая...

– Ты врешь, – Мари-Кристин пристально смотрит на меня. – Ты врешь, как и всякий южанин. Она тебе не сестра. Впрочем, это твое личное дело. А я должна получить это лицо. Уговори ее, Гай.

– Я постараюсь. – Вот теперь я действительно вру. Как и всякий южанин. Мне просто хочется побыстрее избавиться от Мари-Кристин.

– Обещай ей что угодно. – Прежде чем взяться за ручку двери, Мари-Кристин целует меня. Холодными бесстрастными губами в холодную бесстрастную щеку: мы слишком увлечены Анук, чтобы тратить энергию друг на друга.

– «Что угодно» – это что?

– Это – что угодно. Деньги, карьеру, посещение Диснейленда, романтическое свидание с Михаэлем Шумахером. Уик-энд с Оззи Осборном. Или ночь с

Томом Крузом... Что угодно, Гай.

Интересно, любит ли Анук Тома Круза? И подозревает ли вообще о существовании этого леденцового петуха на плохо оструганной голливудской палочке?.. Боюсь, что нет...

– Хорошо.

– И вот еще что. Пригласи ее завтра на ужин. Вдвоем нам удастся обработать ее быстрее.

Завтра.

В контексте Анук – это не более чем неудачная шутка. У меня было восемь лет, чтобы подумать об Анук, чтобы попытаться понять ее. Скорее всего, она и сама не знает, где окажется завтра.

– Хорошо, – почти рычу я. Мне надоело возиться с Мари-Кристин. – Приглашу. «Ле Режанс», как обычно?

– Пожалуй... В шесть. И постарайся привести ее, Ги...

С трудом выпихнув Мари-Кристин из квартиры и захлопнув дверь, я прислушиваюсь к шагам на лестнице. Полная тишина. Очевидно, моя железобетонная преуспевающая модельерша застряла между этажами. И устроилась на ступеньках, как девчонка: я даже вижу, как она подтягивает воображаемые гольфы и закусывает нижнюю губу. Ну да, Анук еще нужно переварить, и не всякий желудок с этим справится. Впрочем, Мари-Кристин больше не интересуется меня.

Стрекоз в прихожей стало гораздо больше, а к болиголову у вешалки присоединились виноградные лозы, растущие прямо из стен. И, возвращаясь на кухню, я едва не наступаю ногой на черную саламандру. Еще одно свидетельство того, что Анук – подумать только, Анук! – обосновалась в моем доме.

Она по-прежнему сидит у стены и по-прежнему не проявляет ко мне никакого интереса.

– Поужинаем завтра с Мари-Кристин? – преувеличенно бодрым голосом говорю я. – Ты приглашена.

– Не думаю, что это хорошая идея...

– Почему же? Ужин тебя ни к чему не обяжет. И потом... «Sauvat & Moustaki» – преуспевающая фирма. Я бы на твоём месте...

Закончить фразу мне не удастся: Анук начинает хохотать.

– На моем месте? Хотела бы я посмотреть на тебя... на моем месте. – Хохот обрывается так же внезапно, как и начался. – Ты бы и суток не протянул. Ладно, тема закрыта.

– Но почему...

– Я же сказала – тема закрыта. Хватит с нас того, что ты угнездился там в качестве плечиков для пиджака. И подтяжек для брюк. Ты занимаешься не тем, чем должен бы заниматься, Гай.

Это совсем не новость: большинство людей занимаются не тем, чем должны бы, и чувствуют себя

прекрасно. Я — не исключение. Вернее, я не был им до сегодняшнего дня.

— Интересно, и чем же я, по-твоему, должен заниматься?

— Это твоя жизнь. Мьяв нее не лезу. Сам решай,

Легко сказать — решай. Ничего особенного решать мне не хочется, напротив, мне хочется смотреть на Анук. При этом странное ощущение не покидает меня: Анук оказалась точно такой же, какой я представлял ее себе, — и совсем другой. Раньше я был почти уверен, что Анук сопровождает целая свора запахов — самых экзотических; теперь же я понял, что сама Анук и есть запах. Праматерь всех запахов, которые существуют в природе, их основа.

— Мне снятся твои сны, Анук, — шепотом говорю я.

— С чего ты взял, что мои? — Анук вовсе не выглядит удивленной.

— Чьи же еще?

— Ну да, бедный мой сиамский братец... Ничего оригинального ты сам придумать не способен.

— Это не очень хорошие сны, Анук. — Я пропускаю мимо ушей ее последнее, обидное для меня замечание.

— Правда? И что же в них нехорошего?

— Слишком много крови, Анук. Слишком много, вот что я скажу тебе...

— Да брось ты. — Анук безмятежна. Гораздо более безмятежна, чем когда либо. — В темноте чего только

не померещится... В темноте можно принять за кровь все, что угодно...

— На что это ты намекаешь?

— Ни на что. Каждый видит ровно то, что хочет увидеть. Всегда.

Разговаривать с Анук бесполезно. Во всяком случае, на эту тему. На все другие — тоже. Анук вообще не разговаривает, она снисходит до разговора — Анук, моя девочка.

— Тогда объясни мне хотя бы, что они значат? — Может быть, и теперь она снизойдет?

Ни черта не снизойдет, нужно знать Анук.

— Понятия не имею. Может, это твое прошлое. А может, чье-то будущее. Другие соображения есть?

— Я вообще стараюсь об этом не думать. Я ненавижу кошмары, Анук...

— Как будто кто-то в них души не чает. — Анук откровенно издевается надомной: так же, как когда-то в детстве. — Не обращай внимания, Гай.

На лицо Анук падает тень, и я не сразу понимаю, что это тень от птичьих хвостов, причудливо изогнутых, лживо раздвоенных, путающих право и лево.

Лирохвосты, ну конечно же.

Затертые временем пленники чайной жестянки. Такие же пленники, как и я сам.

— Ты помнишь тот запах, Анук? У бойни. Мы ни разу не говорили об этом, но тогда я все-таки нашел

его. Гибискус, да? Китайская роза...

– Суданская мальва, – неожиданно поправляет меня Анук. – Гибискус.

Лучше не спорить с ней, какая разница – Судан или Китай – восток одинаково вероломен.

– Неважно. Пусть будет суданская мальва...

– Номер один в твоём талмуде. Я права?

– Каком талмуде?

– Том самом, Гай. Который ты никому не показываешь.

Вот черт, Анук знает о существовании моей тетради! Анук, которая даже и в комнату не входила, так и просидела на кухне в своих ботинках! Анук, которой всегда было наплевать на чьи-либо тайны, а уж на мои – тем более.

– Откуда ты знаешь, Анук?..

Она могла бы сказать: «Ты мой брат, Гай», – и это бы все объяснило. И утешило бы меня. Но я точно знаю, она никогда не скажет – «ты мой брат». Расплывчатое «сиамский братец» – это да. Это единственное, что можно от нее дожидаться. И прежде чем она не говорит «Ты мой брат, Гай», я торопливо добавляю:

– Это неважно. Важно, что однажды я почувствовал его еще раз, этот чертов запах. Так же остро, как тогда. Он исходил от девушки, которую потом убили.

– Твоей девушки?

– Нет. Просто девушки, я даже толком ее не знал.

– Зачем же тогда переживать? – резонно спрашивает Анук. – Кого-нибудь когда-нибудь да убьют. Такое иногда случается, представь себе...

– Ты не понимаешь. Ее убили, перерезали горло, а за несколько часов до этого я видел ее и чувствовал этот запах.

Стоит мне только произнести последнюю фразу, как стена, у которой сидит Анук, самым странным образом меняется: я больше не вижу умиротворяющих обоев с маргаритками, прозаичного выключателя и не менее прозаичного календаря с видами Прованса. Теперь за спиной Анук – грубо отесанные и так же грубо подогнанные друг к другу серые камни. И сквозь трещины в камнях вспухает и сочится кровь. Стена пульсирует, то приближаясь, то отдаляясь от меня, и лишь Анук остается неизменно далекой. Я могу коснуться ее колена, просто вытянув руку, но это не меняет дела. Анук далека от меня – далека, как никогда.

– Это старое открытие, Гай. Старое, которое ты принял за новое. Конечно, Нобелевскую премию за него не дадут, но...

Серые камни готовы выскочить из своих пазов, кровь готова залить всю кухню, а сердце мое готово вот-вот взорваться. О, это будет мощный взрыв, он похоронит под своими обломками и меня, и мою дурацкую квартиру, и город, и страну, и весь мир; уцелеют только алеуты с их резьбой по кости и индейцы-мареньо с их верой в духов соленых лагун.

И Анук.

Она всегда выходит сухой из воды — Анук, моя девочка.

— Что значит «но», Анук?

— Может, тебе стоит завести другую тетрадь, бедный мой сиамский братец?

— Зачем? У меня и в старой есть еще несколько свободных страниц.

— Одна. Одна страница, — Анук проявляет поразительную осведомленность. — Но, боюсь, ты никогда ее не заполнишь. Ты слишком труслив для этого. Ты всегда был трусливым.

— Анук!..

— Ладно, забудь. В конце концов, твоя жизнь — это только твоя жизнь.

— Ты долго пробудешь в Париже?

С тем же успехом я мог бы спросить о ценах на нефть или об индексе Доу-Джонса, или об урожае маиса в мексиканском штате Юкатан — ответ был бы примерно одинаков:

— Разве это имеет значение?

– Нет, но все-таки... Мне не хотелось бы потерять тебя снова, Анук. Ты ведь моя сестра... Единственный родной человек...

– То, что мы перекантовались девять месяцев в чьем-то животе, еще не повод для близких отношений, Гай. – Анук сует в рот большой палец. – Уволь меня от этих сантиментов.

– А что – повод для близких отношений? – настаиваю я.

– Я вообще против близких отношений, ты же знаешь. Себе дороже заводить их.

– Ну хоть парень у тебя есть, сестренка?

Голос мой звучит вполне невинно, для полноты картины не хватает только потрепать Анук по волосам. Но и смена тактики не приносит мне никакого успеха.

– Парни есть у всех. Даже у этой твоей... Старой шлюхи... Николь-Бернадетт, так, кажется?..

– Мари-Кристин, – терпеливо поправляю я. – Ее зовут Мари-Кристин. И мне бы не хотелось, чтобы ты называла ее шлюхой.

– Иначе что?– Анук откровенно издевается надо мной. – Ты отлучишь меня от дома?

– Я прошу тебя, Анук... Она удивительная. И ее предложение о работе – это серьезное предложение серьезного и довольно влиятельного человека. Тебе нужна работа?

– Разве я похожа на человека, которому что-то

нужно? Что-то, кроме того, что у него уже есть?

Хороший вопрос. Я вспоминаю содержимое рюкзака Анук: нож, книга, монеты, ворох билетов в кино. Я вспоминаю прихожую, чудесно преображенную появлением Анук. А серые, замешанные на крови камни, и сейчас передо мной. Наверняка у Анук существуют и другие ландшафты, просто она не находит нужным показывать их мне. Наверняка у Анук существуют и другие пророчества, просто она не находит нужным делиться ими со мной. То, что происходит сейчас в моей маленькой квартирке на рю де ла Транж, можно было бы назвать галлюцинациями, бредом воспаленного сознания, продолжением ночных кошмаров. Можно было бы — если бы не Анук.

С Анук все выглядит естественным, более того — единственно возможным.

Интересно, какие еще сюрпризы она мне преподнесет?..

Впрочем, об одном из них я знаю почти наверняка: завтра утром Анук обязательно попытается ускользнуть. Хлопнуть дверью за секунду до того, как я открою глаза. Так было всегда, и вряд ли что-нибудь изменилось за прошедшие восемь лет. Изменился только я, бедный сиамский братец: я вытянулся, раздался в плечах, оброс мускулатурой. И если я решу перегородить дверной проем, сдвинуть меня с места будет не так-то просто. А именно это я и намерен

сделать: помешать Анук уйти.

Чтобы помешать Анук уйти, я надираюсь кофе, выкуриваю две пачки сигарет и даже забиваю косячок с первостатейной анашой. Но и эти меры кажутся мне недостаточными. Под банальным предлогом «сорри, сестренка, мне нужно отлить», я выскакиваю в прихожую и, распугав стрекоз и примкнувших к ним черных саламандр, запираю дверь на все замки. И прячу ключи в задний карман джинсов.

Спустя пару окутанных молчанием часов Анук отправляется спать. Мне тотчас же приходит в голову светлая мысль засунуть куда подальше ее ботинки. Но Анук вовсе не намерена с ними расставаться, ни с одной своей вещью она не расстанется просто так. Мне остается только завидовать этим черным тупоносым тварям, и распутившимся рукавам свитера, и подолу шерстяной юбки, не говоря уже о монетах в рюкзаке: они знают об Анук гораздо больше, чем я могу себе нафантазировать.

Погасив свет в комнате («Спокойной ночи, сестренка»), я устраиваюсь у двери в коридоре – сторожить Анук. Я пытаюсь убедить себя, что делаю это для Мари-Кристин, которой так важно заполучить лицо моей сестры. Но Мари-Кристин – всего лишь отговорка, жалкий предлог. Я просто не хочу терять Анук, только и всего.

«Не спать, Гай», – говорю я себе.

И засыпаю под шелест болиголова, виноградной

лозы и стрекозиных крыльев.

Кошмары мне не снятся. Совсем напротив, сон мой наполнен моими же детскими сокровищами из моих же детских карманов: кусок фольги, высохшая тыковка, два стеклянных шарика; металлический волчок, бывший когда-то предсердием часов... Детскими сокровищами и мягким светом, который так свойственен нашим с Анук родным местам. Я и думать о них позабыл; подозреваю, что и Анук никогда о них не вспоминала. Подозреваю я и другое – Анук лжет мне этим своим сном и пытается усыпить мою бдительность. И подсовывает мне мягкий свет в обертке из фольги: а ну как я сожру его и успокоюсь?

Так оно и происходит.

Я просыпаюсь именно тогда, когда и должен был проснуться: стоит только хлопнуть входной двери. На то, чтобы восстановить события прошедшего вечера, уходит несколько секунд, после чего я вскакиваю на ноги с громким криком:

– Анук!..

Пустое, ловить больше нечего, случилось то, что и должно было случиться: Анук ушла. Хотя ключи по-прежнему лежат в заднем кармане джинсов, – Анук ушла.

Что уж тут поделаешь, она умеет подобрать ключи ко всем замкам, она и есть ключ – Анук, моя девочка.

Ничто больше не напоминает об Анук: обои с маргаритками и календарь с видами Прованса снова

на месте; а на входной двери по-прежнему маячат ронни-бэрдовские еноты в бейсболках. И никаких стрекоз, и никаких саламандр, и никакого болиголова. Я почти готов поверить в то, что встреча с Анук – плод моего воображения, но... Есть еще Мари-Кристин, и есть вчерашний разговор с ней.

И есть Диллинджер.

Анук все-таки оставила кассету, я нахожу Диллинджера в изголовье постели, на которой она спала (странно, но постель кажется нетронутой). Оставив мертвого Диллинджера на сладкое, я натягиваю легкую куртку и выскакиваю из дома. Идти по следам Анук – как давно я этого не делал!..

На ближайшей автобусной остановке я обнаруживаю монету из рюкзака Анук (кто еще мог оставить здесь этот латунный восьмигранник с иероглифами?). Дождавшись автобуса и даже не взглянув на его номер, я устраиваюсь в салоне, рядом с огромным негром в гавайской рубаше навыпуск и кожаной жилетке с... о, черт!., меховым подбоем. От негра напропалую тащит мускатом, фаст-фудом, гашишем и дешевым гостиничным сексом. Должно быть, именно так выглядел полузабытый блюзмен Бадди Гай, даже помятая фетровая шляпа имеется.

Негр вываливается из автобуса у Северного вокзала, я следую за ним на расстоянии гитарного грифа. Никакой цели я не преследую, но негр, очевидно, имеет на этот счет свои соображения.

Пройдя квартал, он резко оборачивается и хватает меня за лацкан куртки усиженной копеечными перстнями лапой:

– Какого черта?!

Я молчу. Действительно, какого черта?

– Какого черта ты вшиваешься у меня за спиной, говнюк?

– Вообще-то мне в метро, – полузадушенным голосом говорю я. – А вам?

– Вообще-то лучше тебе перейти на другую сторону улицы. А то как бы промеж: глаз не схлопотать. Или того хуже. Ты все понял?

Я молчу. Пока эбонитовый самец картинно угрожал мне, что-то изменилось. От него больше не прет мускатом, гашишем и фаст-фудом. То есть все эти запахи, въевшиеся в нигерову печень, сохранились, но я больше их не чувствую. Я чувствую совсем другое – нежное, тонкое, едва уловимое. Запах кажется знакомым; наверняка он попадался мне вкупе с другими запахами, но в чистом виде... В чистом виде он может свести с ума кого угодно. В чистом виде он больше приличествует юной девственнице с легкими, как перья, губами, чем завшивленному толстомордому нигеру, которому даже помыться недосуг. Расстаться с этим запахом не представляется возможным, и я все пялюсь на фетровую шляпу, каждую секунду рискуя получить «промеж глаз».

– Вижу, не понял, – цедит негр, прикидывая, как

бы припечатать меня половчее.

Запах, еще мгновение назад едва уловимый, становится резче. Нечто подобное происходило на питерской вечеринке четыре года назад – тогда я в последний раз видел брюнеточку Лилу. Нет, это не гибискус, это что-то другое, но такое же самодостаточное. Нигер неважен, как неважна была Лила, – они просто служат сосудом, флаконом для столь чарующего запаха, только и всего.

– Говорят, у тебя можно разжиться дозой? – неожиданно даже для самого себя спрашиваю я.

Присвистнув от удивления, владелец фетровой шляпы ослабляет хватку и некоторое время молча перекачивает в уголке рта огрызок вонючей сигары.

– Чего?

– Говорят, у тебя можно разжиться дозой, – я терпелив.

– И кто же это так разговорился?

– Один знакомый парень. Ты должен знать...

Зачарованный запахом, я становлюсь проницательным, – как змеи, которые плодились у нас в саду в дождливое лето. Наверняка мой негр проживает в одной из этнических клоак у Золотой Капли, там полно мелкотравчатых героиновых дилеров. Таких вот африканосов с дутыми побрякушками на пальцах и шее, и почему негры так любят все блестящее – от колец до однолезвийного ножа «survival»?.. Наверняка мой негр держит в

приятелях кучу отбросов, кожа которых имеет разницу лишь в оттенках – от кофе с молоком до темно-лилового. И почему бы среди них не затесаться какому-нибудь сенегальскому или эфиопскому поганцу с откляченной задницей и шрамом на щеке? Да, шрам на щеке подойдет...

– Мало ли кого я знаю...

– Черт, не помню его настоящего имени. Слишком сложно... У него еще шрам на щеке.

– Шрам на щеке? – Нигер смягчается, вынимает сигару изо рта и сует ее в карман рубахи. – Тома?

Я попал. Попал в яблочко, вдохновленный запахом, хотя ничего труднопроизносимого в имени Тома нет. Думать об этом мне не хочется, главное – я попал!

– Именно. Тома. Именно.

– Это меняет дело, дружок, – зубы нигера обнажаются в дружелюбной улыбке. – Вот только я сейчас пустой. Уж извини.

– Жаль, – выдавливаю из себя я.

Мне действительно жаль: на нет и суда нет, и через пару минут приятель Тома отчалит, унося с собой магический запах.

– Дело поправимое, дружок, – зубы щелкают уже у самого моего уха. – Если уж так тебе надо... Так приспичило... Приходи сегодня вечером...

Он упоминает улицу, название которой ни о чем не говорит мне. И заведение, название которого

говорит еще меньше.

— И кого спросить? — Моя улыбка еще дружелюбнее, чем у нигера. И еще нетерпеливей.

— И спрашивать не придется. Так что часам к девяти подваливай.

Бадди Гай исчезает в людском водовороте со свойственной только неграм расслабленной грацией, и некоторое время я так же расслабленно наблюдаю за всплывающим то тут, то там пятном гавайской рубахи. Запах держится дольше — он осел у меня на волосах, щекочет ноздри и холодит шрам на затылке. Для того чтобы разложить его на компоненты, мне нужно чуть больше времени, чуть больше вдохновения и чуть больше сосредоточенности, ведь голова моя по-прежнему забита Анук. Я все еще не теряю надежды найти ее.

Анук находится на станции «Gare du Nord» — именно там я вижу плакат с задравшимся краем, он извещает об открытии выставки прикладного искусства династии Нин. Выставка, если верить датам, благополучно почилла еще в прошлом декабре, но это не имеет никакого значения. На плакате изображен тот самый восьмигранник с иероглифами, который я всего лишь полчаса назад подобрал на остановке. Обнадеженный этим, я сажусь в состав, идущий к центру: я умею искать Анук, я вовсе не забыл, как это делается. Никаких лишних телодвижений, случится то, что должно случиться, —

такова тактика самой Анук, ее я и должен придерживаться. Ее я и придерживаюсь.

И в самом скором времени пожинаю плоды.

Точно такой же плакат, правда, находящийся в более плачевном состоянии, обнаруживается, когда я выпадаю из вагона в Сорбонне. Не очень-то я люблю этот район, да и что здесь делать Анук, которая и в школе-то не училась?..

Ответ я нахожу в маленьком букинистическом, которыми напичканы улочки, прилегающие к Сорбонне. Ничего особенного в этом магазинчике нет, вот только небольшая афишка на доске объявлений... Это всего лишь перечень кинофильмов, идущих в этой декаде во Французской Синематеке. Третьим в перечне значится фильм «Диллинджер мертв». Несколько минут я, как зачарованный, пялюсь в название.

«Диллинджер мертв» – «Dillinger E'Morto», а фильм-то, оказывается, снят итальяшкой! Марко Феррери, я и понятия о нем не имел. Год выпуска и вовсе повергает меня в уныние: замшелый 1968!..

Получив скудную информацию о кассете, оставленной Анук, я готов покинуть магазинчик... Черта с два, ни хрена я не готов! Моментально возбуждвшийся шрам на затылке нашептывает мне, что это и есть конечная точка пути. По крайней мере, на сегодняшний день.

Плохо соображая, я обшариваю глазами полки,

забитые Сартром, Миллером и Гертрудой Стайн; ничего, что могло бы тронуть сердце Анук и мое собственное сердце. Разве что продавщица, будь она моложе лет на тридцать пять... Такая вполне могла бы увлечь трех парней из десятка. Сильно сдавшая богинька поздних шестидесятых, одна из поколения йе-йе – наверняка крутила жопой у смехотворных баррикад шестьдесят восьмого. Наверняка на ней и сейчас юбка солнце-клеш, замаскированная прилавком, наверняка. И узкие солнцезащитные очки в потертой сумочке. А шиньон «Бабетта» хорошо просматривается и так.

– Вы что-то ищете, молодой человек? – интимным голосом спрашивает у меня Бабетта. Наверняка тем же голосом она предлагала сделать минет кому-нибудь из заигравшихся в Че Гевару студентиков, наверняка.

– Ничего особенного... – договорить я не успеваю, Под рукой у Бабетты покоится книга. Ее обложку я уже видел – вчера вечером, на плакате Ронни Бэрда, в собственной прихожей. Тот же пурпурный фон, украшенный то ли ирисами, то ли водяными лилиями; то же изъеденное ржавчиной и стянутое железными обручами лицо. И те же буквы: две первые – «А» и «R»; одна в середине – «О». И предпоследняя – «D».

– Раритет? – вкрадчиво нашептываю я Бабетте, улыбаясь самой лучезарной улыбкой, на которую только способен.

– Еще бы, – утвердительно кивает головой отставная интеллектуалка. Я явно в ее вкусе, хотя на мне и нет солнцезащитных очков.

– Вы позволите взглянуть?

– Ну... если осторожно...

Через секунду книга оказывается в моих руках. Формат чуть больше обычного книжного, да и весит она прилично. Похоже, это действительно раритет. Во всяком случае, он восходит к тем временам, когда книги, предоставленные сами себе, были абсолютно самодостаточными. Надменная вещица, ничего не скажешь. И чем-то неуловимо похожая на Анук. Дрожа от нетерпения, я переворачиваю обложку и упираюсь взглядом в готический шрифт на титульной странице. Теперь он просматривается полностью.

«ARS MORIENDI».

Черт возьми, «Ars Moriendi»! Черт возьми... Запоздалый привет от лирохвостов и чая из жестянки. Буквы плывут у меня перед глазами, покачиваются и переливаются всеми цветами радуги – как тогда, в детстве. Не хватает только запаха. Тисненая готика не пахнет ничем, кроме пыли и ветоши. И все же, все же...

Я все же настиг тебя, «Ars Moriendi»! Плевать на то, что это не одно слово (как я думал всю жизнь), а два. Плевать на то, что отсутствует запах, так поразивший меня когда-то. Плевать даже на то, что – если бы не Анук – я никогда бы не узнал о

существовании этой книги. Ведь именно Анук перебросила мне мостик из прошлого в будущее: Анук, путающая добро и зло, как путают право и лево.

Кстати, на крепость моста мне тоже наплевать.

Я знаю лишь одно – с появлением «Ars Moriendi» жизнь моя изменится, она уже никогда не будет прежней. Может быть, она обретет совсем новый смысл. Может быть, Анук не так уж неправа.

– Продается? – севшим голосом спрашиваю я у Бабетты.

Ну конечно, продается. Иначе лежать бы раритету не в скромном букинистическом, а в отделе редких рукописей той же Сорбонны. Вопрос состоит совсем в другом: сколько вытянет книга. Если ее цена сопоставима с ценой подержанного «Пежо» – можно считать, что «Ars Moriendi» уже у меня в кармане. А если речь идет о новеньком «Порше»? Подобная перспектива пугает меня, но лишь на мгновение. В конце концов, имеет смысл напрямь Мари-Кристин, мы все-таки любовники, «...

– Продавалась, – Бабетта аккуратно вынимает книгу у меня из рук.

– То есть?

– Уже продана.

Я ожидал чего угодно, только не этого.

– То есть как это – «уже продана»?

– Продана. Вернее – отложена. За ней должны

прийти. Через час, – Бабетта бросает взгляд на часы, висящие на противоположной стене. – Уже через сорок пять минут...

Твою мать!.. Будь проклят негр в гавайской рубашке, отнявший у меня кучу времени. Будь проклят я сам, увязавшийся за тенью Бадди Гая. Вряд ли наша с ним встреча входила в планы Анук – с ее стороны все было разыграно, как по нотам. Это я, как всегда, слепил все через задницу, бедный сиамский братец.

– И ничего нельзя сделать? – наивно вопрошаю я.

– Боюсь, что нет, молодой человек, – Бабетта искренне сочувствует мне, хотя на мне и нет солнцезащитных очков. – Но у нас есть другие издания. Не менее интересные. Вот, к примеру, «Имитация Иисуса Христа» отца Дассана. Или «Магическая книга папы Гонориуса». Выпущена лет на семьдесят раньше...

В гробу я видел и папу Гонориуса, и его магическую книгу.

– Вы знаете, как это переводится? – задаю я совсем уж бесполезный вопрос.

– Что именно?

– Вот это. «Ars Moriendi».

Давай, Бабетта, давай, девочка, учили же тебя чему-нибудь в Сорбонне в шестьдесят восьмом!

– Это латынь, – говорит мне она после продолжительной, почти академической паузы. – И переводится довольно забавно. Ars Moriendi –

искусство умирания...

ГИБИСКУС

— ...Когда вы в последний раз видели мадам Сават?

Черт возьми, как приятно снова заговорить по-французски! И как давно я этого не делал. Хотя, приходится признать, что в этом обшарпанном кабинете с двумя казенными столами, крашенным охрой сейфом и грудой колченогих стульев французский звучит диковато. А если прибавить сюда бумажейные занавески, в которые непременно хочется высморкаться...

— Я встречал ее в аэропорту. Я уже давал показания. Они должны быть в деле.

— Они еще не переведены.

— Да, я понимаю.

— Так что давайте с самого начала, мсье Кутарба. Итак...

— Это было около двух недель назад. У меня плохая память на даты.

Парню, который сидит сейчас напротив меня, не больше тридцати. Полицейская ищейка, приписанная к одному из парижских комиссариатов. С довольно задиристой кличкой Дидье Бланшар. Это наша первая встреча, хотя я был предупрежден о ней заранее. Собственно говоря, я предполагал такое развитие

событий, и французский десант в Питер тоже предполагал. Хотя и не такой худосочный. Парень явно не во вкусе Мари-Кристин.

Покойной Мари-Кристин интересно, почему я думаю о ней так отстраненно? Или это защитная реакция, ведь то, что случилось с ней, – чудовищно. А тело, которое я видел в морге, изуродованное почти до неузнаваемости, – неужели оно действительно принадлежало Мари-Кристин? Моей первой женщине, которой я обязан всем...

– Я говорю о самом начале, мсье Кутарба.

– В каком смысле? Я не понимаю вас.

– Бросьте. Прекрасно понимаете. Расскажите мне о ваших взаимоотношениях с покойной.

– Что именно вас интересует?

– Вы ведь были... э-э... близки, не так ли? – голос ищейки съезжает до почтительного шепота.

Ого, явный признак того, что бесхитростная псина к своим тридцати не утратила почтения к вечным ценностям типа постели. И не пользуется услугами шлюх-осведомительниц. И вот уже несколько лет исправно дарит валентинки одной и той же девице. К примеру, широкоскулой простушке-официантке. Или секретарше туристической фирмы.

– Не думаю, что это прольет свет на существо дела. Но если вам так уж интересно... Мы были... как вы выразились... близки какое-то время. Довольно продолжительное. Правда, последние несколько лет

нас связывают только деловые отношения.

– Несколько – это сколько?

Больше всего мне хочется съездить кулаком по постной физиономии малыша Дидье. Но физиономия надежно защищена полицейской ксивой. К тому же нет никакой гарантии, что Бланшар не даст сдачи. От таких шавок всего можно ожидать.

– Около трех лет. К чему вам все эти подробности?

– Стало быть, остался только совместный бизнес? – Малыш Дидье оставляет мой вопрос без внимания.

– Ну почему. Я всегда прекрасно относился к Мари-Кристин. Мы расстались, но вполне цивилизованно. Хорошие друзья... Да, именно так. Хорошие друзья.

Три года назад Мари-Кристин сама ушла от меня. «Ушла» – не самое подходящее слово, ведь мы никогда не жили одним домом. Она просто не захотела больше спать со мной – без всяких видимых на то причин. Вернее, о причинах я догадывался, но озвучить их мне бы и в голову не пришло. Уж слишком нелепыми они казались на первый взгляд.

– Вы были третьим лицом в фирме «Сават и Мустаки»...

– Почему был? Я и сейчас там работаю. Но вряд ли можно назвать меня третьим лицом. Я занимаюсь парфюмерным имиджем компании и в

организационные вопросы никогда не влезал. Это не моя прерогатива.

Дидье Бланшар с готовностью скалит растущие вкривь и вкось зубы.

— Насколько я успел ознакомиться с положением дел в компании... Именно продажа духов была в последнее время основной статьей дохода в «Сават и Мустаки».

— Вы неплохо информированы, — я откидываюсь на стуле и дружелюбно подмигиваю полицейскому. — Мы выпустили несколько хорошо продаваемых ароматов.

— Настолько хорошо... — Теперь уже липучка-Дидье подмигивает мне. — Настолько хорошо продаваемых, что модный дом «Сават и Мустаки» вполне мог трансформироваться в дом парфюмерный. А уж здесь именно вы правили бал, мсье Кутарба.

Спорить с Бланшаром у меня нет никакого желания. Я в упор разглядываю нижнюю челюсть полицейского — слишком тяжелую, слишком выразительную для такого малопримечательного лица. Определить происхождение краденной челюсти не представляется возможным: то ли мамочка Бланшара согрешила с бультерьером, то ли само почтенное семейство ведет свой род от тарантулов. Помесь паука и собаки — самый худший подвид полицейских. И именно с этим подвидом я и имею сейчас дело.

– В последнее время вы не очень-то ладили с мадам Сават...

– Чушь.

– Во всяком случае, так утверждает секретарь покойной – мадемуазель Оффрей.

Только этого не хватало. Николь – бледная, лишенная всякого темперамента копия Твигги⁵, завсегдатай порносайтов «Мегаяйца» и «Парни в униформе». Я всегда хорошо относился к Николь – до того момента, как она призналась мне в любви. Поймав у мужского туалета в главном офисе «Сават и Мустаки». Я был не первым, на кого она положила глаз. До этого лобовой атаке подвергались электрик, пожарник и разносчик пиццы (попадающие в категорию «Парни в униформе»). А также олигофрен-уборщик Ю-Ю, счастливый обладатель мегаяиц. Каким образом в этот список попал я, так и осталось загадкой: очевидно, Николь снесла в «избранное» очередной порносайт, что-то типа «Подрочи на Ив-Сен-Лорана»...

– Мадемуазель Оффрей – дура. К тому же безответно в меня влюбленная. На вашем месте я бы не стал доверять подобным показаниям.

– Мы располагаем не только ее показаниями, – в голосе Бланшара звучит мягкая укоризна. – По меньшей мере еще трое свидетелей утверждают то же самое. Электрик, пожарник и разносчик пиццы, не иначе.

– Вот как? И что же они утверждают? Что я натачивал нож и прочищал базуку, чтобы избавиться от мадам Сават?

– Не передергивайте, мсье Кутарба. Вы ведь хотели уйти из «Сават и Мустаки», не правда ли?

– Это не совсем так...

– Вы хотели организовать свою собственную компанию. Так будет точнее?

– Я хотел быть самостоятельным. И Мари-Кристин... Мадам Сават была не в восторге от этой идеи. Не буду отрицать.

– Почему?

– Вы же сами сказали, Бланшар... «Сават и Мустаки» в последнее время заняли лидирующие позиции на парфюмерном рынке. И – не считите меня нескромным – в основном благодаря моим усилиям. Я просто вырос из рамок фирмы, понимаете? Вы ведь тоже вырастали из своих штанов, даже самых любимых...

Упоминание о штанах приводит малыша Дидье не в самое лучшее расположение духа. Я идиот, мог бы и сам догадаться: рост – большая мозоль Бланшара, на которую лучше не наступать. В нем от силы метр шестьдесят, даже учитывая наборные каблучки и «ортопедические стельки. И вполне вероятно, что любимые штаны волочатся за ним из отрочества. Неказистого прыщавого отрочества по прозвищу «Шпингалет» или того хуже.

– Значит, мадам Сават не хотела, чтобы вы уходили?

– Дураку понятно.

– Неужели это было такой уж неразрешимой проблемой?

– Легко. Легко разрешимой, – я надолго замолкаю. Странно, но воспоминания о муторной, долгоиграющей склоке с Мари-Кристин по-прежнему причиняют мне боль. – Я мог бы взять кредит – и мне его давали... Но... Вы понимаете... Существовали этические соображения.

– Какого плана?

Бланшар-Бланшар, тебе ли не знать о них – с твоими вечными ценностями недомерка?

– Мари-Кристин я был обязан всем. Всем, вы понимаете? Я был почти мальчишкой, когда она вывезла меня в Париж. И я любил ее – не из благодарности за карьеру, нет. Я просто любил ее. И сама мысль о том, что мой уход из компании будет расценен, как предательство, была мне невыносима.

– И все-таки вы хотели уйти... И вы говорили об этом с мадам Сават...

– Я не ушел.

– А теперь? – малыш Дидье приоткрывает пасть и меланхолично запускает туда пальцы.

– Что – теперь? – мне остается только следить за Бланшаром, выстукивающим на резцах что-то совсем уж легкомысленное: в диапазоне от классики до брит-

попа.

– Теперь этических соображений не должно существовать. Мадам Сават мертва, и никто не обвинит вас в предательстве. Вы свободны.

– Я не убивал Мари-Кристин.

– Разве я обвиняю вас в убийстве, мсье Кутарба? Просто на данном этапе вашей жизни ее гибель снимает многие проблемы.

– Повторяю. Никаких особых проблем не было.

Ах ты, сукин сын, блоха при исполнении, чихать я хотел на все твои финты!..

– Когда вы в последний раз видели мадам Сават?

– Я встречал ее в аэропорту. – Я все еще стараюсь сохранять спокойствие. – Около двух недель назад... Если вы помните, мы начали беседу именно с этого.

– Я помню. Вы встретили ее в аэропорту и?..

– И отвез в гостиницу «Невский палас». Это в центре. Она всегда там останавливается. Много лет.

– Вы расстались в отеле?

– Нет. В тот день мы вообще не расставались...

– Пятнадцатого января?

– Скорее всего. Скорее всего – пятнадцатого... У меня плохая память на даты.

– И давно? – Бланшар наконец-то вынимает пальцы изо рта; но только затем, чтобы обрушить их на край ни в чем не повинного стола.

Это уже не брит-поп, это рокапопс, никакой определенности в стиле, Бланшар всеяден.

- Что – «давно»?
- Давно плохая память?
- Всегда была плохой.
- Страдаете провалами? – недомерок сочувственно шмыгает носом.
- Нет. Просто даты для меня несущественны.
- С таким подходом трудно рассчитывать на успешный бизнес...

Самое время расхохотаться в лицо сукиному сыну Дидье. Что я и делаю, в самый последний момент сменив оскорбительный хохот на надменное похмыкивание.

– И тем не менее... Результаты успешного бизнеса налицо. А для дат существуют ежедневники.

Теперь уже хмыкает Бланшар.

- И вы позволите взглянуть на ваш ежедневник?
- Это вряд ли. Там много конфиденциальной информации, которая как раз и касается бизнеса.

– Понятно. Ноя не шпион конкурирующей фирмы... Я расследую дело об убийстве мадам Сават.

– Откуда я могу знать? Я вас первый раз вижу. И вот еще что, Бланшар... Эта ваша дробь... Несколько отвлекает. Если возможно – перестаньте барабанить по столу.

Недомерок вспыхивает, как будто его застали за чем-то неприличным.

– Дурная привычка. Простите...

Пальцы Бланшара моментально сжимаются в

кулак, после чего кулак оказывается зажатым между коленями. Похоже, отрочество малыша Дидье было еще более безрадостным, чем я мог предположить. А с такими комплексами даже на широкоскулую официантку рассчитывать не приходится.

– Вернемся к пятнадцатому января. Вы отвезли мадам Сават в отель. Что было после?

– Пообедали в ресторанчике «Лас Торрес». Это совсем рядом, и Мари-Кристин он всегда нравился. Тихое место, испанская кухня, живая музыка и все такое... Нам нужно было обсудить кое-какие проблемы.

– Касающиеся вас обоих?

Дешевые финты продолжаются, но теперь мне совершенно на них наплевать.

– Касающиеся «Сават и Мустаки». Мари-Кристин имела бизнес в России. Думаю, вы об этом осведомлены. Два бутика, первый открылся семь лет назад.

– Его руководство осуществляете вы?

– Нет. Скажем, я за ними приглядываю. Менеджмент и персонал – русские. Я вернулся в Россию всего лишь месяц назад.

– Зачем?

Меньше всего мне хотелось бы обсуждать эту проблему с выскочкой из парижского комиссариата.

– Это как-то связано с вашими... э-э... трениями с мадам Сават? – продолжает напирать малыш.

– Все гораздо проще. Я вел переговоры об открытии в Петербурге парфюмерного магазина нашей фирмы.

– Удачно?

– Вполне. В последние полгода я часто бывал в России, как раз по этому поводу. Помещение было получено три месяца назад. Ремонт ведется ударными темпами, и я посчитал, что на последнем этапе мое присутствие здесь необходимо.

– Пригласите на открытие?

Надо же, какая детская непосредственность! Интересно только, что за ней стоит.

– Думаю, что в связи с последними событиями... Я имею в виду смерть Мари-Кристин... Открытие придется отложить. На неопределенное время.

Вежливый отказ. Кажется, именно так называлась одна из композиций твоего тезки, Бланшар, – Дидье Маруани из группы «Sprase» – «Вежливый отказ». Интересно, сможешь ли ты выступить ее на столе, недомерок?..

– Это ничего. Я пробуду здесь до тех пор, пока преступление не будет раскрыто. Думаю, это дело не одного дня...

Дело не одного дня – это точно. В морге Мари-Кристин выглядела так, как будто убийца – кто бы он ни был – был вдохновлен самим актом преступления. И подошел к нему со всей ответственностью. И имел свой собственный почерк. Неуловимо знакомый, но

вспоминать об этом не хочется. Ни при каких обстоятельствах. Даже мысли о французской ищейке выглядят куда более невинно. Без сомнений, Дидье Бланшар меня ненавидит. Уже потому, что я имею наглость существовать — с физиономией, которая нравится женщинам по определению. А за принадлежащие лично мне и ничего мне не стоящие сто восемьдесят пять сантиметров роста он и вовсе закопал бы меня живьем. Неподалеку от Культурного центра Жоржа Помпиду.

— Я понимаю, Бланшар. И готов всячески содействовать следствию. Хотя пользы от меня будет немного... Но... Мари-Кристин очень много для меня значила. Очень.

Лучше бы я этого не говорил.

— Вы не выглядите, как человек, потерявший близкого, — беззубо уличает меня недомерок.

— А вы знаете, как выглядят люди, потерявшие близких? Просто я привык бриться каждый день. И менять рубашки. Уж вы простите...

Без сомнений, ищейка меня подозревает. Если не в самом убийстве, то по меньшей мере в соучастии. Тупоголовый русский альфонс, воспользовавшийся благородной француженкой в возрасте. И кинувший ее при первой возможности.

— Бог с ними, с рубашками. И с бритьем. — Бланшар с остервенением трет смехотворный пух на скулах; у пуха нет никаких шансов

трансформироваться в мало-мальски приличную щетину. – Куда вы отправились после ресторана?

– Съездили посмотреть на будущий магазин. Ремонт там почти закончен. Мари-Кристин осталась довольна.

– А потом?

– Потом я отвез ее обратно в отель. Вечером предполагалась вечеринка, которую устраивали ее здешние друзья. И Мари-Кристин необходимо было переодеться.

– Вы поднялись вместе с ней?

– Нет. У меня было небольшое дело. Опять же – касающееся магазина.

– Вы же сказали, что не расставались..,

Проклятье! Неужели Мари-Кристин заслуживает того, чтобы ее дело вел этот урод? Неужели во всем Париже не нашлось никого более достойного?

– Черт возьми! Те времена, когда я сопровождал ее даже в душ, прошли безвозвратно!

Интересно, зачем я сказал это? Я никогда не сопровождал Мари-Кристин в душ, она была слишком щепетильна. Как и положено зрелой женщине, имеющей молодого любовника.

– Ну-ну, не надо так волноваться, мсье Кутарба.

– С чего вы взяли, что я волнуюсь?.. Я встретил ее через полтора часа в холле. И мы отправились на вечеринку.

– Куда и к кому?

– Я уже давал показания. Они должны быть в деле.

– Они еще не переведены.

– Да, я понимаю. Супружеская пара, очень милые люди. Она – дизайнер по интерьерам, довольно преуспевающий. Оформляла оба бутика «Сават и Мустаки». Зоя Грекова. Ее муж Илья занимается издательским бизнесом. Два или три журнала, влиятельных в мире fashion. Кроме того, он владелец клуба «Lovers Rock». Там-то и проходила вечеринка... Вы никогда ничего не записываете, Бланшар?..

С самого начала нашего разговора – в отличие от русских следователей, не отрывающих глаз от бумаги, – малыш Дидье не сделал ни одной пометки.

– У меня хорошая память, мсье Кутарба. Продолжайте.

– Собственно, я почти закончил. Я пробыл там недолго, что-то около часа.

– А потом?

– Потом я уехал, а Мари-Кристин осталась. Больше я ее не видел. Во всяком случае, живой...

Чертов недомерок снова начинает выстукивать на столе – теперь уже нечто психоделическое. Пауза затягивается, но прерывать ее у меня нет никакого желания. Я знаю, каким будет следующий вопрос, Бланшар просто не может его не задать.

И он задает.

– Куда же вы уехали?

– У меня была еще одна встреча. На этот раз личного характера.

– Личного характера?

– Я недостаточно ясно выразился? Свидание с девушкой.

– Ага. С девушкой, – малыш Дидье улыбается мне так, как будто мы вместе курили в школьном туалете. – И она может это подтвердить?

– Какого черта!.. – я срываюсь, второй раз за последние десять минут. Но тут же беру себя в руки. – Это была сугубо личная встреча, повторяю. И мне бы не хотелось беспокоить девушку по пустякам...

– Пустякам? Вы считаете, что убийство вашего босса... Женщины, которой вы, по вашим словам, обязаны всем, – пустяк?

– Нет, но... – кажется, я сглупил.

«Сглупил» – щерятся два казенных стола. «Сглупил» – скалится мастодонтовый, крашеный охрой сейф. «Сглупил» – улюлюкает груда колченогих стульев. «Сглупил» – веселятся бумазейные шторы на окнах, и почему только я в них не высморкался?.. Надо положить конец всему этому.

– Просто встреча не состоялась. Девушка не пришла.

– И она может подтвердить это?

Я молчу. Конечно, я мог сказать все, что угодно. Что уехал из «Lovers Rock» только потому, что устал или плохо себя чувствовал, в конце концов, никто не

принуждал меня остаться. Разве что Мари-Кристин вспыхнула по этому поводу, ей почему-то необходимо было мое присутствие. Теперь она мертва и не может свидетельствовать ни «за», ни «против», чего нельзя сказать о светских гиенах Грековых. Все это время они кружили поблизости от «машерочки» – слова гнуснее, чем это, не придумаешь. Даже в дамскую комнату провожали всей стаей... Наверняка капнули на меня, Зоя с некоторых пор и на дух меня не переносит, а Илья – известный подкаблучник, пляшущий под дудку жены. Что ж, придется выкручиваться на ходу.

– Она может подтвердить это? – Бланшар настойчив.

– Вряд ли. Я даже не знаю ее телефона. Познакомились накануне, я пригласил ее на свидание, она не пришла. Обычное дело.

Обычное дело для лилипута в ортопедических стельках. Но не для такого парня, как я, брюнетистого душки с модельной внешностью и джипом «Вранглер». Плевать, что ездить в нем – все равно что скакать на лошади, со всеми издержками этого лихого ковбойского занятия. Зато экстерьер подкупает.

Экстерьер подкупает, и все, что ты лепишь насчет не пришедшей на свидание девушки, и яйца выеденного не стоит – именно это написано сейчас на маловразумительной физиономии Бланшара. Но надпись держится секунд тридцать, не больше. Сам

того не подозревая, я попал в точку: очевидно, недомерку столько раз подобным образом отказывали в свидании, что ему проще взять меня в союзники. Минутное торжество («и тебя, случается, обламывают, красавчик») того стоит.

— Ну хорошо... Значит, свидание не состоялось?

— Я уже сказал.

— И куда вы отправились после этого?

— Домой, куда же еще. Возвращаться в клуб не хотелось, да и не имело смысла. К тому же нужно было подготовить кое-какие материалы для Мари-Кристин...

— А кто-нибудь может подтвердить, что вы поехали именно домой?

Вопрос застаёт меня врасплох. До сегодняшнего дня никто этим особо не интересовался.

— Я живу один.

— Жаль, — малыш Дидье сочувственно качает головой.

— А я привык. К тому же мне нравится жить одному.

— Жаль, что никто не может подтвердить это. Консьержка?

— В нашем доме нет консьержки. Только кодовый замок.

— Соседи?

— Увы. Я даже не знаю, кто мои соседи. Квартира съемная, я и месяца там не живу. А что, это имеет

принципиальное значение?

– Лучше бы вы провели этот вечер с девушкой, мсье Кутарба. А лучше – с двумя. А еще лучше – остались бы в клубе... До утра.

– А что, собственно, произошло? – Не то чтобы я начал волноваться, но... От последней реплики Бланшара ничего хорошего ожидать не приходится.

– Ничего, что может вас утешить. Значит, вы вернулись домой...

– Вернулся домой. Привел в порядок кое-какие бумаги. Принял ванну. Поставил фильм на видео. И завалился в кровать.

– В котором часу завалились?

– Не помню точно. Что-то около одиннадцати. Обычно я ложусь позже, но день был тяжелый...

– Да, день был тяжелый, – согласно кивает головой ищейка. – Тяжелый день...

– Да что, черт возьми, произошло? – не выдерживаю я.

Как я не сообразил – Бланшар ждал именно этого вопроса. Паук-трудоголик вышел на исходную позицию, и теперь ему остается лишь обработать вляпавшуюся в паутину жертву.

– Мадам Сават покинула клуб через час после того, как из «Lovers Rock» уехали вы сами. А до этого был телефонный звонок на ее сотовый. Он-то и заставил мадам смотреть удочки.

– Да? И кто же ей звонил?

– Вы, мсье Кутарба.

Несколько мгновений хренов недомерок наслаждается произведенным эффектом. Интересно, как я сейчас выгляжу со стороны? Не в мотоциклетных аксессуарх из черной кожи, не в жемчужно-сером смокинге, не в полинявших джинсах порнозвезды – в этом я всегда смотрелся ничего себе. Телефонный звонок от меня – всего и дедов, – но от убедительности модели и следа не остается. Я снова чувствую себя трусливым сиамским братцем со свалявшимся подшерстком и вечно горящим сопливым шрамом на затылке. Анук умерла бы со смеху.

Тем более что я не звонил Мари-Кристин. Ты же знаешь, Анук.

– Я?..

– Вы, мсье Кутарба, – Бланшар не может отказать себе в удовольствии размазать меня по стене. Окончательно.

– Чушь. Я не звонил ей. Зачем мне было звонить ей?

– Хотя бы для того, чтобы назначить встречу.

– Я должен был подъехать в отель к десяти. Следующим утром. Мы договорились с Мари-Кристин...

– Сначала договорились, а потом передумали. Такое случается.

– Я не звонил Мари-Кристин. Ей мог позвонить

кто угодно.

– Но она сама сообщила, что едет на встречу с вами.

– Кому?

– Этим своим друзьям. Супругам, которые пригласили ее. Показания имеются.

– Они же еще не переведены... – леплю я первую пришедшую в голову глупость.

– Ваши показания не переведены. С остальными дело обстоит лучше. Птичка упорхнула из клуба «Lovers Rock» ровно в половине одиннадцатого. Полетела на ваш зов, мсье. А через два с четвертью часа ее не стало. Что скажете?

– Что я скажу? – Липкая бланшаровская паутина забивает мне рот. – Это просто бред. Что еще я могу сказать?

– Я бы на вашем месте подумал, мсье Кутарба. Впредь любое сказанное вами слово может быть использовано против вас.

– Да пошли вы... – не выдерживаю я. – Повторяю. Я не звонил Мари-Кристин. Ей мог позвонить кто угодно. Попросить о встрече от моего имени, если уж на то пошло. Да мало ли...

– Ага, – неожиданно оживляется Бланшар. – Конечно, свидетельства двух очевидцев в этом щекотливом вопросе недостаточно. Тем более что самого разговора никто непосредственно не слышал... Насколько я знаю, вы водите джип

«Вранглер»...

– Да. Но какое отношение...

– Джип принадлежит вам?

– Да.

– Больше никто им не пользуется?

– Джип принадлежит мне.

– Красный «Вранглер» с черной съемной крышей... И тонированными стеклами. Так?

– Да. – Интересно, какую карту ты еще приберег в рукаве, недомерок?..

– Самое интересное во всей истории, что ровно в двадцать два пятьдесят мадам Сават села в красный «Вранглер» с черной съемной крышей. И тонированными стеклами. В вашу машину, мсье.

Это неправда. Это не может быть правдой. Просто потому, что в тот вечер, уехав из клуба, я больше не видел Мари-Кристин. И она никак не могла оказаться в моей машине. Просто потому, что и с красно-черной лошадкой я не расставался. Но своих свидетелей, в отличие от мертвой Мари-Кристин, я никогда не сдам.

Ни за что.

А у Бланшара и впрямь хорошая память. Просто фантастическая, учитывая реалии чужой страны. Он так ни разу и не сунул носа ни в какую бумажку. Зато – теперь уже перед моим носом – возникают ботинки малыша Дидье. Вернее, подметки: Бланшар забросил ноги на стол, метод работы французишки впечатляет. Сукин сын, нажрался американских фильмов, не

иначе.

Лучше бы тебе этого не делать, сукин сын.

В исполнении Мела Гибсона или Курта Рассела это еще бы смотрелось. Но в твоём... Мелковат ты, парень, для таких телодвижений. Я с некоторой брезгливостью рассматриваю кукольный размер бланшаровских ботинок, ни дать ни взять японская гейша, даже ноги бинтовать не приходится. Правда, с существенной оговоркой: гейша никогда не подложит такой свиньи, какую подложил Бланшар.

— В мою машину? Это невозможно.

— А вот мсье Грекофф утверждает противоположное. Это ведь он добросил мадам Сават до предполагаемого места встречи,

— Очень галантно с его стороны...

— И неутешительно для вас. Если верить показаниям мсье издателя, он высадил мадам на улице Большая Монетная. Знакомое название?

Еще бы незнакомое. До рези в глазах знакомое. Именно на Большой Монетной располагается парфюмерный магазин «Сават и Мустаки», открытие которого должно было официально состояться в начале февраля. Кому понадобилось вызывать Мари-Кристин на Большую Монетную?..

— Там находится будущий фирменный магазин вашей компании, жаль, мадам Сават уже не сможет присутствовать на его открытии...

Далось тебе это открытие, Бланшар!..

– С вашего позволения, мсье, я продолжаю. Издатель сам вызвался подвезти мадам. Оно и понятно, время позднее, а в России никто не может гарантировать безопасность личности, так что лучше позаботиться об этом самим...

– Ну да... Лучше позаботиться об этом самим. – Я все еще тупо рассматриваю подметки полицейского.

– Мадам это не помогло, к сожалению... Мсье Грекофф утверждает, что, когда они подъехали, ваш джип стоял на углу, метрах в двадцати-двадцати пяти. Он следил за мадам до того момента, пока она не села в машину.

– Мою машину?

– Вашу. Он ее хорошо знает, не так ли?

Знает, как никто, вот проклятье! Именно Илья Греков продал мне красный «Вранглер» месяц назад, сменив его на более престижный и куда более комфортабельный «Мицубиси Паджеро».

– И он видел за рулем именно меня?

– Ну, за тонированными стеклами, да еще на плохо освещенной улице разглядеть водителя было трудно. Но вы же сами сказали, что джипом никто, кроме вас, не пользуется. И потом... Когда вы проехали мимо, вы посигналили мсье Грекофф.

– Зачем? – Похоже, я начинаю втягиваться в чудовищную игру, правила которой навязывает мне Бланшар.

– Откуда же я знаю – зачем? Очевидно, хотели

таким образом сообщить ему, что все в порядке и мадам получена, так сказать, в целости и сохранности.

— Повторяю еще раз. В тот вечер я больше не видел Мари-Кристин. Я не звонил ей, не назначал встречу и уж тем более не ждал ее на Большой Монетной. Какой мне смысл лгать вам, Бланшар?

— А какой смысл лгать мсье Грекофф? — тут же парирует коротышка. — Уж его-то никак нельзя назвать заинтересованным лицом.

Я делаю два глубоких вдоха, забыв выдохнуть в промежутке: жалкое насекомое с плохо выбритым лейблом «Sauvat & Moustaki» на затылке — паучонок из парижского комиссариата обработал тебя на славу!.. Но на секунду мне кажется, что в самом конце мрачного тоннеля забрезжил свет.

— Послушайте, Бланшар... Это всего лишь его слово. Его — против моего. Даже если все видели, что Мари-Кристин покинула клуб... Она его покинула, не более. Это единственная правда. Все остальное может быть вымыслом... Того же Ильи Грекова и его жены Зои. Включая бредни про телефонный звонок...

— Ну надо же... А они считают вас своим хорошим другом, эти супруги Грекофф...

Старые песни. Терпеть не могу этих пятнистых гиен, этих холеных ехидн, эту парочку пресыщенных скунсов. И как только умудренная жизнью и в меру циничная Мари-Кристин могла иметь с ними что-то похожее на теплые приятельские отношения?

Меднолобые снобы, хотя Зое Грековой нельзя отказать в дизайнерском таланте. И хватке. Она с легкостью получает заказы, о которых другие могут только мечтать. Философия выбивания заказов как философия соблазнения — именно ее Зоя и придерживается. Она не ведет переговоры — она обхаживает, окучивает, обволакивает. И сражает наповал выморочной бледностью и героиновым шиком. Тонкие, почти невесомые кости Зои постукивают друг о друга, как кастаньеты, а улыбка так мимолетна и беспомощна, что ей сразу же хочется отдать все имеющееся в наличии бабло. А вдруг как на дозу не хватит, и модная дамочка склеит лапы прямо у вас на глазах?.. Не всякий может выдержать подобное испытание.

И ведь не выдерживают.

К тому же Зоя полностью отвечает расхожим представлениям заказчиков о декадансе, модерне и арт-деко — в зависимости от макияжа и освещения. Я несколько раз был в ее салоне на Литейном, таком гибриде офиса и опиумного притона. Две непорочные китайки и два чувственных латинских мачо — вот и весь штат. С китайскими девочками хочется переспать заказчикам, а с латинскими мальчиками — заказчицам.

Покурить кальян тоже хочется.

Именно на кальян я и попался, Анук умерла бы со смеху.

Зоя же предпочитает кальяну сигары, а Илья не курит вообще. Он помешан на здоровье и поддержании формы, а лучшей любовницей для него до сегодняшнего дня остается тренажер «беговая дорожка»...

— Ну, друзья — это сильно сказано. Скорее, они были друзьями Мари-Кристин...

— Тем более им не имеет смысла лгать, мсье Кутарба. Но даже если допустить какой-то дальний умысел... — Чертов недомерок, очевидно, задался целью вытянуть из меня все жилы. — Даже если допустить... В деле имеются показания еще одного свидетеля...

Час от часу не легче.

— ...человека, который не имеет никакого отношения ни к вам, ни к мадам Сават, ни к обоим супругам.

— И кто же это?

— Девушка, — глаза Бланшара мечтательно закатываются. — Начинаящая модель. Работает в каком-то из агентств и в тот вечер тоже находилась в клубе. Она попросила мсье Грекофф подвезти ее.

— И что?

— А то, что из клуба они вышли втроем: издатель, мадам Сават и девушка. И в продолжение всех ваших несчастий, мсье, первой они высадили именно мадам. И девушка подтвердила все, сказанное издателем. Она видела джип и видела, как мадам садилась в него. А

уже потом мсье Грекофф подбросил ее к дому.

– С каких это пор Илья занимается подобной благотворительностью? – этот вопрос я задаю скорее себе, чем Бланшару.

Так, мысли вслух. При всем своем светском лоске Илья Греков вовсе не помешан на женщинах. Исключение составляет лишь его жена, Зою он боготворит. Вернее, пресмыкается перед ней, ползает по-пластунски. Иногда это выглядит просто неприлично, и тогда я начинаю думать, что природа чувств Ильи Грекова не так бескорыстна, как кажется на первый взгляд. И что томная «Зой» (как называла ее Мари-Кристин) знает об Илье нечто такое, что заставляет его быть начеку. И прилагать все усилия к тому, чтобы маленькая грязная тайна – если таковая и существует – не всплыла на поверхность.

– Вы считаете, что ваш приятель совершил из ряда вон выходящий поступок?

– Нет, но...

Если бы этой девушки не существовало, ее стоило бы придумать, именно так считаю я.

– Вы сказали, она работает в модельном агентстве?

– Да. Ирма Новак, если это имя о чем-то вам говорит.

Ни о чем. Это имя не говорит мне ни о чем. Один ноль в пользу Бланшара. Хотя... Кой черт «один ноль», недомерок накидал мне в корзину массу сухих

мячей, счет становится угрожающим — и я не вижу никакой возможности размочить его.

Никакого просвета.

— Я не виделся с Мари-Кристин тем вечером. Больше мне нечего добавить.

— Стоит ли упорствовать, мсье Кутарба? — в голосе Бланшара появляются лживые нотки отца-исповедника. — Вас никто не обвиняет в убийстве.

— Я не виделся с Мари-Кристин тем вечером.

— Но если вы будете опровергать очевидное, то у следствия могут возникнуть подозрения...

— Я не виделся с Мари-Кристин тем вечером.

— Хорошо, оставим эту тему. Какой фильм вы смотрели?

— Не понял?

— Вы сказали, что перед тем, как заснуть, смотрели фильм. Какой?

— Это имеет значение?

— Нет, но... Просто интересно.

— Не помню. Сунул первую попавшуюся кассету... Не помню. Что-то совсем уж легкое... Да, определенно, это была комедия.

Вот черт, я впервые солгал Бланшару. Не утаил часть сомнительных фактов, не ушел от ответа — откровенно солгал. Первой попавшейся кассетой был «Диллинджер мертв». Первой — и последней, потому, что никаких других в наличии не имеется. «Диллинджер» — единственный фильм, который я

смотрю. Нет, не так.

«Диллинджер» – единственный фильм, который я вижу.

Время экспериментов с Диллинджером прошло, я убил на них целый год, я избороздил вдоль и поперек все парижские киношки. И не только парижские, корешков от билетов с лихвой хватило бы, чтобы заполнить рюкзак Анук. Я ходил и на дневные сеансы, и на вечерние, я ходил на дешевое порно и на высоколобые авторские ретроспективы, на американские блокбастеры, японские мультяшки, скандинавскую документалистику и немецкий научпоп, – без толку, миссия невыполнима, я вижу только «Dillinger E'Morto». Я знаю этот идиотский фильм наизусть, в нем, как обычно, ничего нового не происходит. В нем вообще мало что происходит, даже два ленивых выстрела сквозь подушку в финале и следующее за ними – такое же ленивое и необязательное – убийство смотрятся блекло, ты бы не поразовался этому делу, Бланшар. Да что там, ты бы всех собак на него свесил... Последовательность кадров тоже не меняется, как не меняется физиономия Мишеля Пикколи⁶, сомнительного героя «Диллинджера». Если уж на то пошло, я предпочел бы пялиться на Одри Хепберн или Фанни Ардан, женские лица привлекают меня куда больше, но я обречен на лысоватого буржуа с повадками шеф-повара недорогого ресторана. Последовательность, мать

их, кадров не меняется; хронометраж незыблем и выверен раз и навсегда: на шестнадцатой минуте в шкафу находится старый револьвер. Револьвер завернут в документально подтвержденную смерть Джорджа Герберта Диллинджера (газета с фотографиями и короткий натурфильм на ту же тему прилагаются). На чистку адской машинки уходит еще тридцать пять минут экранного времени — с перерывами на приготовление ужина, просмотр запиленной в хлам любительской кинободяги и снование по комнатам. Выкупанный в красной аэрозоли и раскрашенный белыми точками (надо же хоть чем-то занять себя до убийства!) револьверчик выглядит по-детски безопасно, но только до семьдесят пятой минуты, когда из того же шкафа извлекаются патроны, числом 11. В барабан перекочевывают шесть, но для убийства сквозь подушку хватит и двух...

О, ты бы не порадовался этому делу, Бланшар! Его восемьдесят первой минуте, когда лысоватый буржуа наконец-то грохает свою нажравшуюся снотворного жену. Привлекательную, безнадежно блондинистую цыпочку с тремя репликами в начале. Три реплики и случайно найденный револьвер — достаточный повод, не правда ли? Что скажешь, Бланшар?..

Я ненавижу этот фильм, потому что не могу избавиться от него.

Я точно знаю — я никогда от него не избавлюсь.

Смириться с этим трудно, почти так же трудно, как с ночными кошмарами, которые исправно поставляет мне Анук. Но ночные кошмары разнообразны и – в какой-то мере – поэтичны; они полны тайных знаков, которые я забываю, стоит мне только открыть глаза.

Впрочем, коротышке-полицейскому совершенно необязательно знать об этом.

– ...Я тоже люблю комедии.

– Надо же, какое совпадение, Бланшар...

– ...но терпеть не могу, когда их ломают в жизни. Сдается мне, именно этим вы сейчас и занимаетесь, мсье Кутарба.

Никакой угрозы в голосе – напротив, тонкие губы недомерка снова разъезжаются в дружелюбной улыбке.

– Тело мадам Сават было найдено следующим утром, в том самом магазинчике, от которого вы с ней отъехали накануне...

– Я не виделся с мадам...

– Тело было найдено следующим утром. Рабочими, которые занимались чистовой отделкой помещений. Вы видели его?

– Тело?

– Да.

– Меня пригласили для опознания.

– Вас нашли только к вечеру. До этого ни один ваш телефон не отвечал.

- Я рано уехал из дома. У меня были дела.
- Встреча с мадам в десять утра? Не так ли? Проклятье!..
- Я должен был подъехать к гостинице в десять...
- Но вас там не было. Во всяком случае, портье вас не видел. Никто не спрашивал мадам Сават тем утром.
- Да-да...
- Никто не звонил ей в номер.
- Разве я сказал, что звонил ей? Я хотел... Хотел позвонить, предупредить, что не успеваю к десяти. Перенести встречу...
- Что же не позвонили?
- У меня села трубка. Аккумулятор разрядился.
- С утра пораньше? – Бланшар смотрит на меня с сочувствием.
- Забыл поставить телефон на зарядку. Такое случается.
- При вашем успешном бизнесе? Такие проколы исключены. Тем более у вас имеется автомобильный аккумулятор. Он всегда лежит в бардачке, не так ли?
- Проклятье!..
- Откуда вы знаете про автомобильный аккумулятор?
- Знаю. Вы нервничаете, мсье Кутарба? Вы очень впечатлительный человек...
- Я не имею никакого отношения к смерти Мари-Кристин.

– В это все труднее поверить, уж простите. Так какие же срочные дела заставили вас отложить встречу с патронессой?

– Вы обвиняете меня в убийстве?

Полицейская скотина снова принимается выстукивать пальцами по столу.

– Я не обвиняю вас в убийстве. Я просто хочу получить вразумительные ответы на простые вопросы. Это так сложно?

Послушайте, Бланшар. Давайте рассуждать логически, – я пытаюсь взять себя в руки. – Если предположить, что я...

Произносить вслух слово «убийца» мне не хочется, и я несколько секунд толкусь на многоточии.

– ...если предположить, что я был заинтересован в смерти Мари-Кристин... Тогда какого черта я засветился вечером? Да еще с помпой проехал мимо возможных свидетелей?

– Вы не могли знать, что мадам подбросит к месту встречи кто-то из своих.

– Но я мог это допустить.

Бланшар начинает недовольно пыхтеть: отлично, нужно закреплять успех.

– Второе. Уж поверьте, для убийства я выбрал бы другое место. И уж никак не магазин, в котором ее нашли. Я ведь знал, что работы по отделке ведутся срочными темпами, я сам их курирую. И о том, что рабочий день на объекте начинается в девять, мне

тоже хорошо известно. Очевидная глупость — оставлять тело там, где оно может быть обнаружено скорее всего. Разве я не прав?

— Допустим...

— И наконец. Почему я не приехал в гостиницу с утра? Я должен был быть там. Я просто обязан был гарцевать в холле и мозолить всем глаза. Я должен был поднять тревогу.

— Это не может служить алиби.

— Но это по меньшей мере логично. Вы не согласны?

— Почему вы не приехали в отель?

— Я не смог приехать. Иногда я не приходил на встречи — и это не было для Мари-Кристин новостью.

— Вот как? И как она к этому относилась?

— Скажем, с пониманием.

— Вас удалось найти только во второй половине дня.

Внезапно заработал телефон? — Бланшар все еще пытается подловить меня.

— Почему же внезапно? Я просто вспомнил, что он отключен, и поставил его на подзарядку. Звонок раздался почти сразу.

— Кто сообщил вам о смерти мадам?

— Топ-менеджер бутика на Невском проспекте. Там же находится головной офис «Сават и Мустаки».

— И вы...

— Я сразу же поехал на Невский. Там уже торчало

несколько человек из следственных органов...

— Очевидцы утверждают, что вы выглядели достаточно спокойным, мсье Кутарба. Во всяком случае, были гораздо менее взволнованны, чем сейчас.

— Вы говорите так, как будто присутствовали при этом. Черт... Я просто не поверил. Просто не поверил... Вы отвечаете на самый простой звонок. Самый простой, каких десятки. И вам сообщают о смерти близкого человека. Я просто не поверил — вот и все. Я не верил в это до самого конца. До того, как увидел Мари-Кристин в морге.

— Значит, не поверили?

Интересно, что ты еще затеваешь, Бланшар? По твоей лоснящейся физиономии видно — затеваешь. Невооруженным глазом видно.

— Не поверил.

— Странно.

— Что именно?

— Что до сих пор к этому не привыкли. Кажется, это не первая смерть в «Сават и Мустаки». Не первая насильственная смерть, я имею в виду. За год до этого фирма лишилась еще одного своего совладельца. Освежить вам память?

— Не стоит.

Вот оно. Вот оно и всплыло. С другой стороны, не могло не всплыть. Просто не могло. Ведь ты приволокся в Россию еще и поэтому, Бланшар.

Потому что оба убийства – и старое, у винных складов неподалеку от Берси, и новое, на Большой Монетной, – чем-то неуловимо похожи друг на друга. Сходный своей витиеватой бессмысленностью почерк, о котором даже думать не хочется.

– ...А я все-таки рискну, мсье Кутарба. Чуть больше года назад, в декабре, на винном складе в районе улицы Корбье, было найдено тело Азиза Мустаки, уроженца Алжира, 56 лет, – монотонный треп Бланшара убаюкивает меня. – Отвратительное, доложу я вам зрелище...

– Вы при нем присутствовали?

– Я изучал материалы этого дела. Уже после того, как пришло сообщение о смерти мадам Сават. Было найдено именно тело. Обезглавленное. Голова нашлась позже, на том же складе. Она плавала в ведре с вином...

– «Puligny Montrachet»... – я не узнаю собственного голоса.

– Не понял?

– «Puligny Montrachet» – его любимое вино. Азиза. В нем голова и плавала. – Вот черт, ну кто тянет меня за язык? – Меня и Мари-Кристин тоже знакомили с материалами дела. Год назад.

– И вы знали, что это его любимое вино?

– Об этом знали все. Кто так или иначе сталкивался с Азизом. Он не делал из этого тайны. Как не делал тайны из своих сексуальных

предпочтений.

– Намекаете, что он был голубым? – на лице Бланшара появляется брезгливая улыбка.

– Почему же намекаю? Азиз Мустаки до самого последнего дня оставался конченным педрилой. Ни одной задницы не пропускал...

– И вашей тоже?

– ...ни одной задницы не пропускал – из тех, что в его вкусе. Нордический тип, вот что ему нравилось.

– А вы, стало быть, не нордический.

– Если говорить о типе, то я, скорее, латинский любовник...

«Мудак ты, а не любовник», – именно эти слова готовы сейчас слететь с губ Бланшара и камнем упасть мне на темя. И стараться не стоит, недомерок – тем более что как любовник я и правда оставляю желать лучшего. Что же ты сделала со мной,. Анук, моя девочка?..

– Да вы не расстраивайтесь, Бланшар. Это самый банальный тип, который только можно представить...

– Да я и не расстраиваюсь, мсье Кутарба, – на краденых челюстях малыша Дидье обиженно вспухают желваки. – Тем более что убийство Азиза Мустаки банальным не назовешь...

– В гомосексуальной среде нередки такого рода выяснения отношений...

– Такого рода? Чтобы голова в ведре плавала?

– Я не это имел в виду, господи ты боже мой...

– Тогда выражайтесь яснее.

– Это очень специфическая сфера, и отношения в ней порой носят достаточно истеричный характер...

– Только не надо читать мне лекции по половым извращениям, – вспыхивает Бланшар. – Оставим это психиатрам...

– Я хотел сказать, что любовники иногда убивают друг друга.

– Не смешите меня, – и тени улыбки не просматривается, Бланшар удручающе серьезен. – Любовники убивают друг друга даже чаще, чем вы думаете, но не таким варварским способом.

– Способы бывают разными...

– Вы практиковали?

Парижская гнида, положительно, не хочет уняться. Ну ладно.

– Азиз был гнусным типом. Откровенно растлевал молодняк под предлогом устройства карьеры. Очень многие хотят добиться вершин в модельном бизнесе, вот он и пользовался... Менял мальчиков с завидной регулярностью, чуть ли не каждый месяц пополнял свой гарем. Об оргиях, которые он устраивал, ходили самые чудовищные слухи. Не думаю, чтобы кто-нибудь пожалел о его смерти...

– Но это не отменяет самой смерти, мсье Кутарба.

– Со мной беседовали ваши коллеги... И не один раз. Я говорил тогда, скажу и сейчас: скорее всего, с Азизом просто свели счета. Один из его

многочисленных любовников. Мари-Кристин придерживалась того же мнения...

— Мадам Сават мертва, — тотчас же парирует коротышка. — А уж она, судя по всему, была ангелом во плоти. Да и любовников у нее было не так уж много.

— Я не очень следил за личной жизнью Мари-Кристин в последнее время. Работа. Работа — вот что интересовало меня больше всего...

— У нас еще будет возможность поговорить о вашей работе, — голос Бланшара не предвещает ничего хорошего. — Вернемся к Азизу Мустаки.

— Мне нечего добавить к тому, что я уже говорил. Год назад. Сами понимаете, что смерть главы фирмы не может не отразиться на положении дел в самой фирме. Имя «Сават и Мустаки» трепали на каждом углу. Это было самым неприятным.

— А вы патриот своей компании...

— Я проработал в ней семь лет. Для меня это гораздо больше, чем торговая марка...

— Оставим сантименты. Голова Азиза Мустаки была отсечена. Причем отсечена при жизни. Вы понимаете, что это значит?

— Догадываюсь.

— Его даже не удосужились умертвить, перед тем как отрубили голову. Его казнили. Самым жутким средневековым способом.

— Я уже прожил эту историю. — Бланшар начинает

утомлять меня, не хватало еще впасть в спячку. – И не хочу к ней возвращаться. Или вы можете сообщить что-то новое? Найден убийца?

Убийца алжирского шалуна так и не был найден; во всяком случае, до моего отъезда в Россию я располагал именно этими сведениями. Резво начатое дело так и осталось нераскрытым. Не было найдено орудие преступления (по слухам – то ли мясницкий топор, то ли мексиканский нож-мачете). Ничего не дали и изнурительные допросы его любовников. Нежнейшие подиумные норманны и викинги на поверку оказались высеченными из кремня, к тому же у каждого нашлось приличествующее случаю алиби. Следствие попыталось было разработать тухловатый алжирский след, но и это ни к чему не привело: не было доказано ни одного факта связи Азиза Мустаки с мусульманскими группировками на родине. Впрочем, все эти сведения можно было почерпнуть у кого угодно, включая секретаршу Николь и дауна Ю-Ю. Даже недалекая адептка мегаяиц и их безмозглый обладатель знали о том, что Азиз не был на родине по меньшей мере лет тридцать и тщательно избегал контактов с соотечественниками. И никогда не исповедовал ислам. И восточной кухне – всем этим кускусам и мешуи, удобренным пряностями, – предпочитал европейскую.

– ...К сожалению, мсье Кутарба, к сожалению. За последний год следствие не особо преуспело. Но,

возможно, оно сдвинется с мертвой точки, если мы установим, кто убил мадам Сават.

— А что, связь между этими преступлениями так очевидна?

Малыш Дидье посылает мне кривоватую ухмылку с самым нелестным подтекстом; что-то вроде «Протри глаза, дурачок».

— А вы считаете случайностью, что в течение одного года «Сават и Мустаки» лишилась обоих своих учредителей? И, заметьте, они не умерли в своей постели и не стали жертвами автомобильной катастрофы. И волной за борт прогулочного судна их не смыло. Их убили, понимаете? Убили.

— Да... Я понимаю.

— К тому же имеется ряд совпадений...

— Каких же? — я начинаю волноваться.

— Ни в том, ни в другом случае огнестрельное оружие не применялось. Более того, оба убийства выглядят несколько экзотически... если не сказать — эксцентрично. Алжирцу оттяпали голову и утопили ее в ведре с дорогим вином. Которого, кстати, не было на складе.

— Да ну?

— Убийца привез его с собой. А это — никак не меньше двух дюжин бутылок... Ну а мадам Сават...

— Пожалуйста, не надо.

Я слишком хорошо знаю, что случилось с Мари-Кристин, подробности еще не изгладились из памяти и вряд ли когда-нибудь изгладятся. Мертвая Мари-Кристин до сих пор стоит у меня перед глазами: живот вспорот и набит лоскутками материи и увядшими темно-лиловыми лепестками. Как впоследствии выяснилось, темно-лиловые лепестки принадлежали ирисам, а лоскуты материи – последней коллекции Мари-Кристин с весьма провидческим названием «Fatum». Именно из нее были извлечены платье покроя «принцесса» и кожаный, украшенный стразами килт⁷. Их-то убийца и располосовал на лоскуты, чтобы потом смешать с лепестками и... Думать о том, что произошло с Мари-Кристин после этого проклятого «и», я все еще не в состоянии. Как не в состоянии понять, кому понадобилось расписывать ее тело цветами – все теми же ирисами, но на этот раз стилизованными. А если добавить, что убийца обмакивал кисть (если это была кисть) в кровь самой Мари-Кристин... Более чудовищного боди-арта представить себе невозможно.

– ...Не стоит, Бланшар. Я знаю, что произошло.

– В обоих случаях убийца проявил недюжинную осведомленность о пристрастиях жертв. Не так ли, мсье Кутарба?

Мне нечего возразить тебе, недомерок. Сначала «Puligny Montrachet», дорогое пойло, которое Азиз

засасывал декалитрами. Затем — ирисы во всех возможных интерпретациях. С некоторых пор узоры с растительными мотивами стали едва ли не товарным знаком «Сават и Мустаки», к тому же Мари-Кристин питала пристрастие именно к ирисам. Весь подол чертовой «принцессы» был усеян орнаментом из лепестков, а стразы и мелкие зеркала на килте воспроизводили тот же рисунок. Платье (сразу же после показа) приобрела русская девица, слишком веснушчатая, слишком большеротая и слишком взбалмошная, чтобы составить чье-либо подкрепленное приличным состоянием счастье. Любить таких девиц невозможно, их можно только баловать; вот почему я подумал тогда, что у рыжего головастика имеется в наличии лягушка-папик, с завидным постоянством мечущий валютную икру. В отличие от платья, килт купить не успели. Он так и остался в коллекции, чтобы спустя несколько дней благополучно пропасть. Я хорошо помню день, когда килт исчез; вернее, день, который последовал за его исчезновением. Какая-то богатая стерва из шестнадцатого округа (из тех, что привыкли одеваться в «Лор Ашле», но время от времени с замиранием сердца изменяют любимому магазину с поделками от haute couture⁸) вспылала иррациональной страстью к куску чертовой кожи. Но предъявить madame оказалось нечего: килт как сквозь землю провалился. Допрос с пристрастием ничего не

дал, никто не видел его после показа, на котором он нежно обволакивал бедра Ингеборг Густаффсон – ведущей модели «Сават и Мустаки», волоокой шведки с темпераментом двухкамерного холодильника «Аристон». Уязвленная легкой тенью подозрений шведка позволила себе слегка поитальянничать: опрокинула манекен, запустила в стену коробкой с булавами и пригрозила уходом к Йоджи Ямамото – напоследок. Это был откровенный блеф, таких волооких, прямоволосых и неземных у Ямамото пруд пруди, но Ингеборг оставили в покое: уж слишком бессмысленным казался сам факт кражи. Не менее бессмысленным, чем вспоротый живот Мари-Кристин, в котором всплыли обрывки килта – спустя каких-то жалких три недели. Не менее бессмысленным, чем само убийство.

Я знаю даже больше, чем ты, недомерок. Убийца – кем бы он ни был – связан с «Сават и Мустаки». А если и не с самой фирмой, то с миром *haute couture*, закрытом для посторонних на кодовые замки, щеколды, задвижки и цепочки. А если прибавить к этому жесткий фейс-контроль при входе... Тебя бы точно никто не впустил, недомерок, все твои бумажки и бумажки, подтверждающие бумажки, и обнюхивать бы не стали.

Я знаю даже больше, чем ты, недомерок. Например то, что убийств было больше, чем два. И что смерть Мари-Кристин будет не последней.

Единственное, чего я не знаю: хватит ли у меня сил противостоять, хватит ли у меня сил положить конец всему этому? И хватит ли у меня ума вычислить того, кто убивает? Впрочем, ум здесь ни при чем, до сих пор я смотрел на происходящее сквозь пальцы; сквозь толщу флаконов, дизайн которых разрабатывал я сам. Даже плавающая в ведре голова Азиза не произвела на меня должного впечатления: небесно-голубого покойника я терпеть не мог. Но Мари-Кристин... Мари-Кристин — совсем другое дело. И своей карьерой, и своим нынешним положением я обязан только ей... Черт, черт, черт, ну почему я скатываюсь на дешевый пафос и подбираю формулировки, уместные разве что в официальной беседе с коротышками типа Бланшара? Конечно же, все сложнее — Мари-Кристин была моей первой женщиной, и не перешибить, не отменить этого никто не может. Первая женщина никогда не бывает прошлым. Это-то и есть самое главное. Убийца не просто расправился с главой модного дома, он расправился с Моей Первой Женщиной. А потом подставил меня, бросил мне вызов, швырнул в лицо перчатку, наспех скроенную из кожаного килта со стразами. Возможно, я надоел ему до смерти, возможно, он нашел для своих экспериментов кого-то другого. Возможно, он сам уступил место кому-то другому. И тот, другой, на скорую руку обученный, оказался вовсе не таким сентиментальным, не таким

чувственным и не таким утонченным...

– ...Призадумались, мсье?

– Я не даю себе труда думать о том, что лежит на поверхности, Бланшар, – звучит не очень-то вежливо, но сдерживать свою неприязнь к коротышке я больше не в состоянии.

– Значит, и вы считаете, что убийца был как-то связан с вашей фирмой?

– Я этого не говорил.

– Но он мог быть связан с тем, кто связан...

– Скажите мне, Бланшар... Скажите, в этих убийствах есть логика?

Судя по физиономии малыша Дидье, я попал в точку; я исполнил роль хитрована-стремянного – и теперь мне остается только наблюдать, как Бланшар будет взнуздывать своего любимого конька. Типов, подобных беспривязной ищейке из парижского комиссариата, не так уж трудно просчитать: они годами высиживают повышение по службе. А чтобы ждать было не так скучно, пачкают холостяцкую постель брошюрками по психологии преступлений, биографиями великих отравителей и криминалистическими справочниками. И скорлупой от фисташек.

– Логика есть в любом убийстве, мсье Кутарба.

– Ищи, кому выгодно? – я почти дружески подмигиваю Бланшару.

– Это логика следствия, мсье Кутарба, она

предельно проста. Логика убийства куда сложнее.

Ого, кажется я нарвался на философа! Коротышка перенапрягся с брошюрами.

– Я как раз работаю над монографией по данной тематике...

Похоже, Дидье Бланшар не только перенапрягся с брошюрами, но и пережрал фисташек.

– Вот как?

– Я закончил юридический факультет Сорбонны.

Щеки Бланшара раздуваются от неподдельного восхищения самим собой, он ждет от меня той же реакции. Природа восхищения не совсем ясна мне; возможно, малыш Дидье прибился к Сорбонне, будучи родом из зачумленной деревушки на атлантическом побережье. И в семье у него все были скорняками. И сам он в детстве страдал аутизмом и заиканием. И писался в кровать до двенадцати лет. Хрен тебе, недомерок, тоже мне – юридический факультет Сорбонны, в которой уже давно учатся все, кому не лень, И шушеры там гораздо больше, чем даже в кварталах, прилегающих к Пляс Пигаль. Или к Булонскому лесу.

– Очень интересно. Вы подарите мне экземпляр?

– А вы интересуетесь психологией совершения убийства? – челюсти Бланшара хищно щелкают.

– Не то чтобы жить без этого не могу. Но любопытно было бы ознакомиться. Тем более после того, что случилось с «Сават и Мустаки»...

– Вы спрашивали о логике, мсье Кутарба... Вы имели в виду...

– Я имел в виду только одно – связаны ли оба убийства между собой.

– Это вопрос вопросов... И он напрямую касается вас, не так ли?..

Я пропускаю последнюю реплику Бланшара мимо ушей: уж слишком муторно выслушивать очередную порцию намеков на мою возможную причастность к делу.

– Я долго думал над этим, мсье Кутарба...

Узкая полоска между торчащим ежиком волос и бровями (которую только по недоразумению можно назвать лбом) не оставляет в этом никаких сомнений.

– С одной стороны – обезглавлена крупная дизайнерская фирма, имеющая довольно прочные позиции на рынке...

– Существует масса фирм и модных домов с гораздо более прочными позициями. И потом... Хотя в мире моды и существует жесткая конкуренция, но воспользоваться подобными методами никому и в голову не придет...

– Вы не дослушали, мсье Кутарба. Я вовсе не имел в виду такую пакость, как заказное убийство. Это-то я как раз исключаю. Дело ведь не в самих убийствах, а в том, как они совершены. Заказуха обычно поставлена на поток, а здесь мы имеем дело со штучным товаром. Так сказать, с эксклюзивом. С pret-

a-porter убийства, если хотите...

Ну ты и загнул, коротышка!.. Коротышка же надолго замолкает, любуясь эффектом произнесенной им фразы. Должно быть, он долго репетировал ее: сидя на толчке или вертясь перед заплеванным зубной пастой зеркалом в ванной.

– Отрубленная голова и вспоротый живот – это вам не банальная дырка во лбу. Это больше смахивает на почерк серийного убийцы. Или маньяка.

– Вы полагаете?

– Я больше чем уверен... Я занимался этой проблемой еще в Сорбонне...

Так вот твой любимый конек, Бланшар! Маньяки и серийные убийства, Анук умерла бы со смеху. Но если бы ты только знал, как далек от истины, если бы ты только знал...

Бледная коняшка под Бланшаром пофыркивает и трясет удилами, самое время протереть ей круп. Листками из недописанной монографии.

– Значит, вы полагаете, что действовал маньяк?

– Скажем, я этого не исключаю.

– Вот как... А мне всегда казалось, что маньяк на то и маньяк, чтобы действовать по раз и навсегда определенной схеме. А между... как вы выразились... отрубленной головой и вспоротым животом не так уж много общего.

– Схема может быть любой, – Бланшар снова начинает долбить пальцами по столу, чертов дятел с

паучьим прикусом. — Главное — понять ее. Определить, так сказать, систему координат...

— И вы определили?

— Почти. Во всяком случае, одно не вызывает сомнений: убийства не просто совершены...

— Ценная мысль.

— ...они обставлены. С инквизиторской пышностью. И смахивают на ритуал.

— Вы думаете?

— А вы — нет?

— Выходит — это ритуальные убийства? — хватаюсь я за последние фразы недомерка.

— Я этого не говорил. Я сказал только, что они похожи на ритуал, к которому тщательно готовились. Ведь Азизу Мустаки не просто отсекли голову. Ее бросили в ведро с его любимым вином. А мадам Сават не просто вспороли живот. Его набили лоскутками материи. Кстати, что вы можете сказать о них?

— О ком? — вопрос застает меня врасплох.

— Об этих проклятых лоскутках.

— Ничего.

— Так-таки ничего?..

Бланшар похож на паука больше, чем когда-либо за все время нашей долгой беседы; ничего щадяще-бультерьерского в нем не осталось. С млекопитающими еще можно о чем-то договориться, а вот с подобными тварями...

– Так-таки ничего, мсье Кутарба?

– Ну хорошо. – Запираться бесполезно, рано или поздно малыш Дидье с его неумемной энергией докопается до истины. – Мне неприятно об этом говорить... Но, похоже, лоскутки эти имеют некоторое отношение к последней коллекции Мари-Кристин. Она была представлена в начале прошлого месяца, в Париже.

– Вы можете поручиться за свои слова? – Бланшар вовсе не выглядит удивленным.

– Послушайте, Бланшар... Модели для коллекции создаются в единственном экземпляре. Ошибка исключена.

– И вы могли бы точно определить, что это за вещи?

– Ну конечно. Я знаю, как они создавались. Их обрывки я видел и потом... – я понижаю голос, лишний раз тревожить изуродованную тень живота Мари-Кристин мне не хочется.

– Что же это было?

– Платье для коктейля. И кожаный килт.

– Почему же вы ничего не сообщили об этом следствию?

– Меня никто не спрашивал. И я посчитал...

– Удобная позиция, не так ли, мсье Кутарба? Ладно, оставим это на вашей совести...

«На которой и клейма ставить негде», всем своим видом подчеркивает недомерок. Плевать я хотел на

то, что ты обо мне думаешь!..

– У вас есть соображения, как... как они там оказались?

– Никаких. Платье было куплено сразу же после показа.

– Кем?

, – Откуда же я знаю – кем? Какой-то русской, она никогда не была в числе наших постоянных клиенток. Залетная птичка. И сама покупка, скорее всего, была сделана случайно.

– Кто-нибудь еще может подтвердить ваши показания?

– Естественно. Думаю, вам стоит поговорить с нашими менеджерами по продажам, они наверняка ее вспомнят.

Узкая полоска между ежиком и бровями бугрится, того и гляди произойдут тектонические подвижки, и мозги Бланшара брызнут наружу раскаленной лавой. На всякий случай я вжимаюсь в стул.

– И вы могли бы описать эту... залетную птичку?

– Скорее, лягушонка. Волосы из медно-красной проволоки и одна большая веснушка вместо лица. Незабываемое впечатление.

– Значит, вы утверждаете, что какая-то рыжая русская купила именно это платье?

– Да.

– Больше вы ее не видели?

– Нет.

– Плохо, очень плохо... Плохо, что вы не сказали об этом сразу.

– Меня не спрашивали, – я остаюсь абсолютно глух к стенаниям Бланшара. – И потом, это произошло в Париже, больше месяца назад.

– А опознать ее вы могли бы?

Опознать головастика не составило бы труда, знать бы только, в каком болоте он обитает. И почему мысль о рыжем чудовище до сих пор не приходила мне в голову? – ведь со дня смерти Мари-Кристин прошло уже две недели, примерно столько же времени я знал о страшной, перемешанной со внутренностями, начинке. Каким образом ошметки от эксклюзивного платья могли оказаться там? Одно из двух – либо рыжая знает убийцу... Либо... Но думать о том, что потешный головастик каким-то образом причастен к убийству, мне не хочется. Рыжие слишком импульсивны для таких изощренных, хорошо продуманных злодеяний. В них нет ни брюнетистого хладнокровия, ни блондинистой отстраненности. Странно, что убийце – кем бы он ни был – понадобилась именно «принцесса»; при удачном раскладе этот кусок шелка может задать делу новое направление и послужить неопровержимой уликой против него. Почему именно «принцесса» – ведь тряпок с растительным орнаментом в коллекциях Мари-Кристин предостаточно. И если уж убийца дал себе труд слямзить кожаный килт, то почему бы не

умыкнуть заодно и какое-нибудь платье?..

– ...Вы слышите меня, мсье Кутарба? Вы бы могли опознать ее?

– Без труда. Если вы ее найдете.

Короткий, мясистый нос Бланшара вытягивается: он уже сейчас готов сорваться с поводка и взять след.

– Быть может, вы заметили что-то такое, что поможет установить личность этой... м-м-м... покупательницы? Или что-нибудь слышали о ней от знакомых? Насколько я знаю, русские обычно держатся друг за друга.

Я снисходительно улыбаюсь в лицо парижскому дурачку.

– Вы знаете, сколько в Париже русских, Бланшар? Чуть меньше, чем арабов, и всяко больше, чем парижан.

– Да? – моментально пугается коротышка.

Расистский румянец, разлившийся по его впалым щекам, неподражаем. Еще пара-тройка подобных высказываний с моей стороны – и одним сторонником Ле Пэна станет больше.

– Я пошутил. Но русских в Париже действительно много. И они вовсе не держатся друг за друга, как вы изволили выразиться. Они предпочитают добиваться всего в одиночку. А что касается рыжей девушки... Она просто купила понравившуюся ей вещь, только и всего. А для этого вовсе не нужно предъявлять удостоверение личности.

– Раньше вы ее не видели?

– Я уже сказал – скорее всего, она попала на показ случайно.

– Ну хорошо, – Бланшар с трудом отлипает от так понравившейся ему темы с русскофф покупательницей. – А вторая вещь? Что вы можете сказать о ней?

– Кожаный килт. Его стянули.

– Что значит – «стянули»?

– Украли.

– Как это – украли?

– Молча. Он пропал через несколько дней после показа.

– И что?

– Ничего. Была небольшая буря в стакане воды, но на том дело и кончилось. В конце концов, это всего лишь вещь, а не коллекция бриллиантов. И не ядерная боеголовка.

– Значит, украли его в Париже? – Бланшар на секунду задумывается.

– Да. Я уже говорил об этом...

– А раньше подобные кражи происходили?

– Никогда, – теперь уже задумываюсь я. Нужно быть идиотом, чтобы не понять, к чему клонит ищейка. – Украсть можно идею. Украсть можно технологию. Украсть можно деньги из сейфа, банку с оливками в супермаркете или лифчик на распродаже. А вещи из коллекций дизайнеров не крадут.

– Крадут все, – в голосе Бланшара появляются поучительные нотки специалиста по кражам зубочисток из бистро. – А если она кому-то понравилась, эта вещь? Настолько, что этот кто-то решил оставить ее себе?

– Это все равно, что оставить себе краденую из музея картину. Любоваться можно, но только у себя в сортире. На всеобщее обозрение ее не выставишь.

– Ну у вас и сравнения, – морщится Бланшар.

– Высокая мода всегда была сродни искусству. Я ведь говорю не о поточном производстве, поймите... Авторские модели неповторимы, да и стоят довольно дорого... И предназначены для узкого круга людей, если вообще для чего-то предназначены.

– А зачем они тогда нужны?

Ну вот, еще один приверженец сезонных скидок и покупки индийского текстиля на вес.

– Они определяют тенденции в моде и...

– Да бог с ними, с тенденциями, – перебивает меня коротышка. – Главное, что вещичку украли. Причем украли в Париже, а всплыла она здесь... Самым неожиданным образом. Странно, вы не находите?

Нужно быть идиотом, чтобы не понять, к чему клонит ищейка.

– Да. Странно.

– Вы ведь были на том показе, насколько я понял?

– Да. Я присутствую на всех показах Мари-Кристин, хотя последние три года почти не появляюсь

на подиуме. Это традиция. Мари-Кристин считала меня талисманом... Впрочем, вам вряд ли это будет интересно.

Бланшару и впрямь неинтересны сентиментальные воспоминания экс-модели, чихать он на них хотел. Другое дело – выдавить из тюбика все имеющиеся у него подозрения и густо размазать их по моей физиономии.

– Значит, вы присутствовали на показе. А потом уехали в Россию.

– Да. Глупо было бы отрицать очевидное.

– И много еще было таких? Каким-то образом связанных с «Сават и Мустаки», а потом уехавших в Россию? В самое последнее время, я имею в виду.

– Я не знаю.

– Вот и я тоже не знаю. Пока. Но не думаю, чтобы их количество зашкаливало за разумные пределы.

Пропади ты пропадом, недомерок! Ежу понятно, на что ты намекаешь: если я и не убийца, то по меньшей мере соучастник преступления. Я звонил Мари-Кристин накануне убийства, она села в мой джип, беспечно стоявший у магазина, где убийство и было совершено. И всему этому имеются свидетели. При желании в свидетели можно привлечь также: Ингеборг Густаффсон (шведская сучка, с которой я всегда был на ножах, поднатужившись, вспомнит, что я сорвал килт прямо с ее мать-их-бедер); сотрудников «Air France» (там я заказывал мать-его-билет на

Санкт-Петербург), таможеню аэропорта Пулково (там добросовестно прошерстили всю мою мать-ее-ручную-кладь, а это — два баула шмоток) — да мало ли кого можно пристегнуть! И среди этой своры потенциальных свидетелей обязательно найдется какая-нибудь сволочь — она-то и выскочит с утверждением, что видела, как я дефилировал в кожаной псевдошотландской юбчонке со стразами по Невскому. В самый разгар зимы.

— ...Кстати, мсье Кутарба... Как вам удалось узнать обе вещи? Ведь они находились, мягко говоря... э-э... в плачевном состоянии.

— Мари-Кристин сама расписывает ткань, ни один узор не повторяется. А я хорошо знаком с ее моделями.

— Нуда, нуда...

— Кстати, если уж на то пошло, Бланшар... Супруги Грековы, на которых вы тут ссылались... Они тоже были в Париже, на последнем дефиле. И вернулись в Россию не так давно.

— Ябедничаєте, Ги? Нехорошо.

Коротышка впервые называет меня по имени, но никакой дружеской интимности в этом нет, скорее — наоборот. Я и не думал, что короткое, легко слетающее с губ «Ги» может звучать так зловеще.

— Почему — ябедничаю? Я просто констатирую факт... И еще... Я никогда бы не подумал, что вы выберете именно «Minoritaire»...

Малыш Дидье заливается краской: еще бы, я поймал его, я вычислил его аромат, который сам же и сочинил. Это были мои первые мужские духи, их сопровождала агрессивная рекламная кампания в духе штурма казарм Монкада, воинственных подмышек Че Гевары и бицепсов «коммандос». «Minoritaire» имели бешеный успех у интеллектуалов, леваков, биржевых брокеров и прилизанных офисных крыс, не гнушающихся забить косячок на корпоративной вечеринке. Но я и предположить не мог, что на жесткий, насыщенный амброй и белым мускусом запах «Minoritaire» клюнет плюгаш-полицейский.

Аромат моих духов едва уловим. Должно быть, коротышка выхлюпал флакон около месяца назад, после чего на парфюмерном фронте наступило затишье: всякую дешевку типа жидкого мыла и копеечного шампуня я в расчет не беру. А коротышка и понятия не имеет о главном свойстве моих духов: они намертво приклеиваются к коже. Они оккупируют ее и устанавливают на ней свои порядки – но это мягкая, щадящая оккупация. Самая мягкая и самая щадящая из всех возможных. Мои духи ревнивы, они не терпят конкурентов – и легко выживают их. Они похожи на черную метку, которая видна лишь посвященным. Или – посвященному.

Посвященный – это я.

Я связан пуповиной со всеми придуманными мною запахами. Это и есть моя семья. Единственные

родственники, если не считать Анук. Но Анук давно открестилась от родства со мной. И если бы не этот прискорбный факт — я был бы полностью счастлив.

Щеки Бланшара все еще горят, и это возвращает нас к существующему положению вещей. И ясно дает понять, кто есть кто. Я — король ароматов, мальчик-солнце, сразивший наповал половину Европы; лицо с обложки, мясная расфасовка для гламурных журналов от Праги до Лондона. И мое пребывание в этом северном городе — не более, чем поиски экзотики, прихоть теплолюбивого засранца, которому наскучила игра в светскую жизнь.

Пребывание же здесь Дидье Бланшара — производственная необходимость, больше похожая на ссылку. Ну кто бы еще выдвинулся сюда, к волкам, медведям и белкам-летягам? Кто бы еще был отдан на заклатие жутковатому делу о выпотрошенных внутренностях Мари-Кристин Сават? Ты попался, недомерок, полицейская отрыжка, зануда-холостячок в ортопедических *semelles interieures*⁹ и с дипломом Сорбонны в штанах. Ясно, зачем тебе понадобились «Minoritaire» — возвыситься в собственных глазах, а также в глазах твоей консьержки и мутантов-трансвеститов, которых ты привык мутузить за две дозы наркоты в сумочке. Последней в списке значится широкоскулая официантка, предмет твоих тайных вздыханий, — но ее не пробить.

Даже «Minoritaire».

Полностью насладиться превосходством над коротышкой мне не дает стук в дверь. Вернее, не стук даже – легкое, застенчивое царапанье.

– Войдите, – разом приободрившись, восклицает Бланшар.

Судя по всему, чье-то робкое присутствие за дверью вовсе не является для него неожиданностью. Но вполне может стать неприятным сюрпризом для меня. Несколько секунд я гадаю, кто бы мог так порадовать коротышку одним только постукиванием. Широкоскулая официантка отпадает сразу, затащить ее в Russie так же нереально, как затащить в постель или на Луну. Остаются только свидетели – из тех, что видели, как я убивал Мари-Кристин, а до этого подсаживал ее в джип, а до этого доставал ее телефонными звонками, а до этого – скитался по fashion-пати в платьишке «принцесса»... Да мало ли каких собак можно навесить на ненавистного сытенного парфюмера, который даже задницу вытирает только что напечатанными евро.

Но тебе не удастся взять меня за жабры, Бланшар. По одной простой, но довольно существенной причине.

Я невиновен.

Кажется, я произношу это вслух, вот только «я невиновен» тонет в шуме открываемой двери.

– Входите же, Соня! – еще раз с нажимом произносит Бланшар, делая ударение на последнем

слоге имени.

«Сонья». Очень по-французски.

Конечно, это не Соня Рикель¹⁰, хотя я предпочел бы увидеть именно ее. Обожаю ее фирменные свитера с необработанным краем и швами наружу, один из таких свитеров и сейчас на мне. Конечно, это не Соня Рикель, и даже не супруги Грековы, и даже не Ирма Новак, если коротышка ничего не напутал с именем. На джокер в рукаве девушка тоже не похожа, и уж точно я никогда не видел ее. Разве что...

Разве что она слегка напоминает Лилу, погибшую много лет назад. Лилу, от которой так несло гибискусом за несколько часов до смерти. Сходство не шокирующее, кровь в жилах от него не стынет, но раскосые глаза и прямые, спадающие на плечи волосы цвета воронова крыла, заставляют меня вспомнить события семилетней давности.

Уже тогда все было predetermined. Уже тогда.

Скорее всего, таинственная «Сонья» — корейка, но и без чужеродных примесей не обошлось: черты лица крупнее, чем обычно бывает у азиаток; линия рта несколько мягче и по-русски небрежна. Скулы же, наоборот, — жестче. Да и ростом она повыше, чем соплеменники, выращивающие лук где-нибудь на Дальнем Востоке, — метр семьдесят или около того...

— Здравствуйте, Дидье. Извините, я опоздала, — с улыбкой произносит «Сонья» на вполне сносном французском.

– Ничего, – Бланшар поразительно великодушен. – Знакомьтесь, мсье Кутарба. Это – Сонья, мой переводчик.

В исполнении коротышки это звучит примерно как «моя наложница».

– Софья Горская, – кореянка вносит последние коррективы в ритуал знакомства.

– Очень приятно, – я отрываю зад от стула и наскоро пытаюсь изобразить что-то, отдаленно напоминающее полупоклон. – А я – Гай Кутарба.

– Я знаю...

Еще бы тебе не знать, сладкая моя!.. Наверняка подбираешь объедки светских новостей в киосках у метро. Тестируешь любовников по рецептам от «Vogue», готовишь фруктовые маски по рецептам от «Elle» и устраиваешь дни раздельного питания по рецептам от «Cosmopolitan». И стоит тебе перевернуть страницу с рецептами – как ты тут же наткнешься на меня. И на мои потонувшие в ленивой лжи рассуждения о цветочном очаровании, фруктовой провокации и древесно-амбровой истоме на атласных простынях.

– Я знаю... – чудо-кореянка даже не пытается взглянуть на меня.

Должно быть, ей слепят глаза мой черный свитер, мои забранные в хвост волосы и задумчивая серьга, болтающаяся в ухе. Смятение «Сонья» не остается незамеченным – малыш Дидье хмурит брови и

поигрывает челюстями: подобная реакция вовсе не входила в его планы.

— Мы закончили, Сонья, — блеет коротышка.

— Простите еще раз за опоздание...

— Ничего. Мсье Кутарба проявил недюжинные познания во французском.

Франция — моя вторая родина, — тут же морожу я пошлость в стиле «Vogue», «Elle» и «Cosmopolitan». — А вы были во Франции, Соня?..

— Мы закончили, — рывкает Бланшар. — Вы свободны, мсье Кутарба.

— Свободен?..

После всех обвинений — как высказанных, так и невысказанных — я был готов покинуть казенную комнатку по меньшей мере в кандалах. А тут на тебе — «свободен»!..

— Мне нужно что-то подписать?

— Это была ознакомительная беседа, — Бланшар полон решимости выгнать меня пинками, странная метаморфоза. — К тому же вы уже давали показания. Если вскрыются новые обстоятельства дела — вас пригласят.

— Буду ждать с нетерпением. — Кореянка нисколько не тронула меня, но, судя по всему, расшатала нравственные устои Бланшара. Так почему бы не оторваться напоследок?

— Это может случиться даже раньше, чем вы думаете, — коротышка все же решил показать зубы. —

И я прошу вас не покидать город, пока идет следствие.

— Я под подпиской о невыезде?

— Нет, — ничего кроме сожаления по этому прискорбному поводу в голосе Бланшара не прочитывается. — Это моя личная просьба.

— Даже не знаю... В любом случае вы всегда можете найти меня по этим телефонам...

Я вытаскиваю из заднего кармана джинсов визитку, но протягиваю ее не коротышке, который надоел мне хуже горькой редьки, а его экзотической переводчице. Рука корейки слегка подрагивает, а на лице застыло выражение почтительности, граничащей с религиозным экстазом. Восточные штучки, впрочем, довольно искренние. Меньше нужно читать журналы, сладкая моя...

PARIS LOUNGE: MOTHERLESS CHILD¹¹

- ...Ули? Ули Хубахер?
- Точно.
- Меня зовут Дидье Бланшар. Инспектор Бланшар. Вот мое удостоверение... Мне сказали, что вас всегда можно найти в этом баре.
- В других тоже можно, но в этом — чаще всего. Хотите выпить, инспектор?
- Нет.
- А я выпью. Если вы по поводу Азиза, то больше, чем сказал, я уже не скажу. Нет... Скажу. Вы меня заколебали, вы все. Вся ваша свора.
- Меня интересуют совсем другие фигуры из «Сават и Мустаки». Совсем.
- Я больше не работаю в «Сават и Мустаки».
- Я знаю.
- Не хочу иметь ничего общего с этим клоповником.
- Меня интересует Ги Кутарба. Что вы можете о нем сказать?
- Ничего. Хотите выпить?
- Вы ведь достаточно долго работали вместе... Три года, не так ли?

- Три с половиной.
- И за три с половиной года не составили о нем никакого представления?
- Мы виделись только на показах. Так что вам лучше навести о нем справки не у меня.
- У вас ведь были м-м-м... трения?
- Никаких. Говорю же, мы не общались.
- У меня прямо противоположные сведения.
- ...Ну хорошо... Один раз мы набили друг другу морды. Это можно считать трениями?
- И что же послужило поводом?
- Мне бы не хотелось об этом распространяться. Видите этот шрам? Вот здесь, над бровью... Его рук дело. Его поганных рук. Больше я вам ничего не скажу. Поищите других. Тех, кто хорошо его знал.
- Те, кто хорошо его знал, – мертвы. Вот в чем дело. Что вы пьете?
- Виски. Все те, кто хорошо нас знает, как правило, мертвы, инспектор.
- Вы полагаете?
- Жить с этим знанием уж точно невозможно... Человеческая природа – вещь неприятная, если не сказать – отвратительная.
- Пожалуй, я тоже выпью.
- Вообще-то, мне он даже нравился.
- Кто?
- Ги.
- Драка произошла именно по этой причине?

– Вы не поняли. Если я гей, это не значит, что я готов пристроиться к каждой мало-мальски привлекательной заднице. Я любил Азиза.

– Нуда...

– Знаю, что вы подумали. Все так думают. Азиз никогда не платил мне за любовь, запомните это, инспектор. Зарубите на носу.

– У вас квартира на улице Лафитт. В девятом округе.

– Да. Рядом с бульваром Итальянцев...

– А до этого?

– Намекаете на то, что до этого я жил в вонючих мебелирашках в двадцатом? Об этом меня тоже спрашивали, и больше, чем сказал, я уже не скажу.

– А ваш друг Энрике оказался более разговорчивым.

– Это какой Энрике?

– Энрике Пинёро. Ваш друг.

– Рики-морячок? Вы и его откопали? Странно, что он не сдох прежде, чем вы его откопали... Никакой он мне не друг, самая обыкновенная дешевка. Продажная девка – Рики-морячок. Два члена в жопе для него не предел, уж поверьте.

– Каков же предел?

– Рики – беспредельщик. Мог засосать в свою задницу пол-Парижа. Я думаю, ему это удалось... С души воротит. Знаете, мне иногда кажется, что весь мир – это задница Рики-морячка. У вас ведь тоже есть

свой Рики-морячок, а, инспектор? У каждого есть свой Рики-морячок...

— Вы перебрали, Ули.

— Туфта. Так что вам назудела эта шлюха?

— Вы ведь какое-то время жили вместе...

— Снимали в складчину один отстойник. Две комнатухи и кухня, горячей водой и не пахло, как-то раз мне в ухо залез таракан. Вот и все воспоминания.

— Так уж и все...

— Есть еще кое-что. У этой шлюхи Рики вечно не было денег. Или он говорил, что не было. Тратил бабли на шоколад, дурь и краску для волос. Черный — его натуральный цвет, а Рики всегда хотелось быть блондином. Это была его идея фикс. Черные корни его раздражали. Просто сума сводили. Так что свою долю за квартиру он зажимал. Сука.

— Где вы познакомились с Азизом Мустаки?

— Вы ведь знаете — где. Раз уж трясете передо мной штанами Рики-морячка...

— В Булонском лесу, не так ли?

— Да. Тринадцатого ноября, четыре года назад. Азиз меня снял. Он часто там бывал... До того, как мы познакомились.

— А говорите, что мсье Мустаки не платил вам за любовь.

— Он заплатил один-единственный раз. Самый первый. И не так, чтобы очень щедро.

— По таксе?

– Если вам наплеал об этом Рики, то вы должны знать, что эти деньги я отдал ему.

– Я знаю. Зачем вы отдали деньги Рики?

– Мне трудно объяснить. Просто... Мы встретились не в то время, не в том месте. Если бы все оказалось по-другому... Мне было стыдно. Я не хотел этих денег. Мне было стыдно.

– Перед кем?

– Перед Азизом. За то, чем я занимался... Но тогда он представился как Жильбер. В нашу первую встречу, я имею ввиду.

– А вы?

– Рет. Я просил называть меня Ретом. Меня все звали Ретом.

– Рет Батлер. «Унесенные ветром», так?

– Он и об этом вам настучал, Рики... Мне всегда нравились «Унесенные ветром», всегда, сколько я себя помню. Мне всегда нравился Кларк Гейбл. Теперь он на небесах. И Азиз на небесах...

– Ретом вас звали и в Кельне. Вы ведь там начали заниматься проституцией, правда? Сколько вам было? Семнадцать?

– Шестнадцать без двух месяцев.

– Тяжелое детство?

– У меня было счастливое детство. Относительно.

– Правда?

– Однажды я убил кошку. А потом зажарил ее у портовых складов. Снял шкуру, это оказалось легче,

чем я думал, — и зажарил. У меня было счастливое детство. И мне всегда нравились мужчины. Моего первого мужчину звали Душан. Он-то и был похож на Рета Батлера, только усов не носил. Я очень его любил.

— Почему вы перебрались в Париж?

— Я искал Душана.

— Он был парижанин?

— Вряд ли. Французом он не был точно, скорее — славянином. Но тогда мне казалось, что если мы и встретимся еще когда-нибудь, то это обязательно будет Париж. Все всегда встречаются в Париже, разве вы не знаете?..

— Вы встретились?

— Нет. В этом дерьмовом городе встретить Душана невозможно, в нем натыкаешься только на Рики-морячков...

— Вы сказали Пинеро, что у вас был странный секс с одним арабом. Вы имели в виду первую встречу с мсье Мустаки. Что означает словосочетание «странный секс»?

— А разве Рики вам не пояснил?

— Что оно означает?

— Странный секс — это просто разговор. Мы не трахались в первую нашу встречу. Мы просто разговаривали. Сидели в его машине и разговаривали.

— И все?

— И все. Странно, правда?

- И о чем же вы разговаривали?
- Обо всем. Я рассказал ему о Душане. И о кошке.
- А он?
- А он – о том, что родился шестипалым. Потом он показал мне шрам на предплечье. Забавный шрам в виде мальтийского креста. Сказал, что у него на теле есть еще один шрам. Ион тоже похож...
- На что?
- Этого я вам не скажу.
- Зато я скажу. Еще один шрам под левой грудью. Очень напоминающий диагональный крест, так называемый крест святого Андрея. Около двенадцати сантиметров длиной.
- Откуда вы знаете?
- Я хорошо знаком с материалами дела, Ули.
- Можете звать меня Ретом.
- Когда вы увиделись во второй раз?
- Следующим вечером. Он снова приехал. Мы с Рики отирались совсем в другом месте, но он меня нашел.
- Он ждал сорок минут, пока вы обслужите очередного клиента.
- Это Рики-морячок напел вам в уши? Не сорок – двадцать пять. Или что-то около того.
- Что было дальше?
- Мы поехали ко мне. В тот самый отстойник, где мне в ухо залез таракан.
- Зачем?

– Чтобы забрать мои вещи. Азиз... Тогда еще Жильбер... Азиз сказал, что панель – не для меня. Что он хочет забрать меня к себе.

– Вы согласились?

– Любой бы согласился. И потом, Азиз ведь тоже был похож на Рета Батлера.

– Сильно разжиревшего Рета Батлера.

– Лучше бы вам не распространяться на эту тему, инспектор. Я любил Азиза.

– О'кей. Значит, вы забрали вещи...

– Нет. Ничего из моих вещей мы не взяли.

– Почему?

– Азиз сказал, что перестанет себя уважать, если позволит мне хотя бы еще раз натянуть на себя это дерьмо. Он так и сказал – «дерьмо». И вид у него при этом был, как будто он мокрицу раздавил. Я ведь тогда не знал, что Азиз – модельер. Владелец модного дома. Этим он потом меня по башке шарахнул.

– Сколько вы прожили у него?

– Долго. До того момента, когда он купил мне квартиру.

– На улице Лафитт?

– Да.

– Вы работали на Мустаки?

– Да. Я был ведущей моделью, представлял все коллекции «Сават и Мустаки». Нормандский тип. Юный Зигфрид, так называл меня Азиз.

– Почему вы перестали жить вместе?

— Мы не перестали жить вместе. Просто Азиз считал, что у меня должен быть свой угол.

— Ну да. Студия в два этажа. И никаких тараканов.

— Ну да. Никаких тараканов и никаких Рики-морячков.

— Значит, Энрике Пинеро больше в вашей жизни не всплывал?

— Сука...

— Это вы о ком?

— О дешевке Рики. Да, я бывал у этого подонка...

— Как часто?

— Нечасто.

— Два раза в месяц, если верить Пинеро.

Верить Рики-морячку? Вы смеетесь инспектор. Кто же в здравом уме и трезвой памяти поверит Рики? Кто будет иметь с ним дело? У него и целого презерватива отродясь не водилось, все с дырками.

— Зато у вас с презервативами все было в порядке.

— На что вы намекаете?

— Два раза в месяц вы составляли компанию Рики-морячку. Чтобы он не особенно скучал в Булонском лесу.

— Сука...

— Вы так и не оставили занятия проституцией, Ули.

— Зовите меня Рет.

— Кроме вас у Азиза Мустаки были любовники?

— Я не намерен это обсуждать.

- И тем не менее...
- Я любил Азиза. Ион всегда возвращался ко мне.
- А вы таскались в Булонский лес. Он бросал вас с периодичностью два раза в месяц?
- Он всегда возвращался ко мне.
- Вы знаете, какие слухи ходили об Азизе Мустаки?
- Это всего лишь слухи...
- Вы были единственным, кого он... э-э... подобрал на панели?
- Я не намерен это обсуждать.
- Энрике Пинеро время от времени посещал ваши показы...
- Я его не приглашал. Видел его несколько раз, мельком. Но я его не приглашал,
- Может быть, Азиз Мустаки... приглашал?
- Пригласить куда-нибудь Рики-морячка – все равно что таракана в ухо сунуть. Азизу нравились только натуральные блондины. Ему нравилось все натуральное. Рики – фальшивка, и всегда был фальшивкой.
- А вы?
- Я любил Азиза. По-настоящему любил.
- Что же вы делали в Булонском лесу? По крайней мере два раза в месяц...
- Вы этого не поймете, инспектор.
- Расскажите мне о декабре.
- О том самом декабре?

– Да.

. – Я не убивал Азиза. Меня допрашивали ваши люди. Я уж не упомню, сколько их было. Меня допрашивали – и ничего не вышло. Только зубы обломали. Я не убийца.

– Я изучил материалы дела...

– Яне убийца. Мне и кошки хватило.

– За две недели до убийства вы жаловались Пинеро, что мсье Мустаки нашел себе очередного мальчика. «Еще одну раздолбанную дырень – кишки наружу», как вы выразились.

– Я страдал.

– Говорили, что убьете его. Выпустите из него всю требуху.

– Я страдал.

– Вы говорили, что убьете его.

– Я говорил об этом три года. Ну и что с того? Я не убийца. К тому же Азиз всегда возвращался ко мне.

– А в день убийства вы появились у Пинеро с расквашенной физиономией.

– Азиз здесь ни при чем.

– А кто – при чем?

– Может быть, это и касалось Азиза. Но сам Азиз был ни при чем.

– Кто такой Красавчик Пирс?

– Не самое главное действующее лицо. К тому же фильм в американском прокате провалился. Они не

смогли оценить его по достоинству, идиоты.

– «Неприкаянные», так?

– Вы и это знаете, инспектор. Держу пари, вы не видели этого фильма.

– Последняя роль Кларка Гейбла. Последняя роль Мэрилин Монро. А Пирса играл Монтгомери Клифт.

– Клифт умер через пять лет после Гейбла. Но так же, как он. Сердце отказало. Это только Рики-морячок никогда никому не отказывает, а сердце может отказать в любой момент.

– Кого вы называли Красавчиком Пирсом... Рет?

– Того, кто попортил мне вывеску.

– Ги Кутарба?

– Вы и без меня в курсе дела...

– Он так похож на Клифта – Ги?

– Если бы Ги отсасывал за деньги, его бы наверняка так и прозвали бы – Красавчик Пирс.

– Почему?

– А почему Рики прозвали морячком? Это данность, инспектор. Такая же данность, как хвост у павлина.

– Ясно. Что послужило поводом для драки? Спонтанный выхлоп?

– Еще чего! Руки у меня с неделю как чесались. Вот я их и почесал...

– А до этого?

– До этого – не чесались. Говорю же вам, Ги был мне даже симпатичен.

– Тогда с чего бы вам было устраивать разборки? Ведь Ги Кутарба к секс-меньшинствам никогда не принадлежал...

– Ги – странный парень. Никто о нем ничего не знал. То есть знали, конечно, что он потрахивает мадам Сават, ходили такие мутные разговоры... Но они оборвались как-то в одночасье.

– Почему?

– Откуда же мне знать – почему? Перестал потрахивать – вот и разговоры прекратились.

– И он больше ни с кем не встречался? После мадам Сават?

– Это вы у него спросите.

– Он был с кем-нибудь близок?

– Не со мной – точно.

– А с кем?

– Знаю только, что в него была влюблена Николь. Никель Оффрей.

– Секретарша мадам?

– Да.

– У них намечался роман?

– Не было никакого романа. То есть Николь по Красавчику с ума сходила, но на него это никакого впечатления не произвело.

– Так уж и никакого?

– Ну это как если бы по вас курица с ума сходила. Или кусок ветчины. Стали бы вы по этому поводу заморачиваться?.. Вот и он не стал.

- Печально...
- Вы о чем?
- О мадемуазель Оффрей. Бедная девушка.
- Вы бы слышали, как она рыдала...
- А вы слышали?
- Я ей собственноручно сопلي вытирал. Чего только не наслушался...
- Чего?
- Она как-то рассказала мне... Когда была особенно не в духе... Об одном разговоре, который слышала из-за двери. Между Ги и мадам.
- Что же это был за разговор?
- Самого разговора Николь не слышала, я так понял.

А вот то, как отреагировала мадам, Николь очень даже хорошо запомнила. Что-то такое она ему крикнула... Что-то вроде «Ты страшный человек, Ги. Если я расскажу об этом полиции – тебе конец». За достоверность я, конечно, не ручаюсь. Да вы сами поговорите с Николь...

– Это произошло уже после смерти Азиза Мустаки?

– Через полгода... Наверное, через полгода, хотя для меня это уже не имело никакого значения. Я любил Азиза. Я и с Ги завелся только потому, что он стал вокруг нас круги наматывать.

– Вокруг вас?

– Вокруг Азиза. Это началось примерно за неделю

до его смерти... Да. За неделю. Ги с Азизом недолюбливали друг друга...

— Недолюбливали?

— Во всяком случае, старались друг друга не замечать. Так уж изначально повелось. Ги вертелся вокруг мадам, мужчины его не интересовали. А он не интересовал Азиза, мастью не вышел. Мадам всюду пропихивала своего щенка, Азизу это не нравилось, но что он мог поделать... Коллекций он давно не создавал, все лежало на плечах мадам...

— Так что же случилось в ту самую неделю?

— Закажите мне еще виски...

— Конечно.

— Про него все говорят гадости. Всегда говорили и сейчас говорят. Сейчас, когда он умер, так ужасно умер. Я думал, что хотя бы смерть его защитит, но разве от смерти этого дождешься? Она такая же шлюха, как и Рики-морячок. Такая же дешевка. Азиз умер — и как будто снова стал шестипалым... Вы понимаете, о чем я, инспектор?

— Да.

— Вы хороший парень.

— Вернемся к декабрю...

— Меньше всего мне хотелось бы туда вернуться... Так вот — Ги. Я впервые заметил его в кино. Он сидел позади нас с Азизом.

— Что же в этом удивительного?

— Вы понимаете... Это совершенно

специфический кинотеатр... Эротические фильмы, двадцать четыре часа в сутки. Десять сеансов, из десяти Азиз всегда выбирал один и тот же, в семнадцать тридцать.

— Значит, глава модного дома среди бела дня посещал порнокиношки? Лихо.

— ... я увидел Ги случайно. Выходил отлить, а когда вернулся — некоторое время стоял в проходе. Чтобы глаза привыкли к темноте. Тут-то я на него и наткнулся. Он сидел через ряд, и не прямо за нами, а наискосок.

— Ну и что? Мало ли с кем можно столкнуться в кинотеатре? Я вот однажды сидел в одном ряду с Ивом Монтаном и Симоной Синьоре. И ничего, слопал это. Сожрал, как миленький, даже автограф у них попросил, когда сеанс закончился.

— Вы не понимаете, инспектор. Это ведь была не просто... эротика. Это была гей-эротика. Спрашивается, зачем парню, который трахает женщин, пялиться на мужские задницы? И не только на задницы...

— Незачем. Вы правы.

— Но это еще не все. На экран Ги не смотрел вовсе. Он смотрел на Азиза. Просто глаз с него не спускал. Тогда-то мне и захотелось врезать ему в первый раз.

— А во второй?

— Тем же вечером. Только позже. Мы ужинали в «Мираме». Это ресторанчик в Латинском квартале.

Китайская кухня и все такое. Он и там нас достал.

– В каком смысле?

Стоял на тротуаре в этой своей мотоциклетной куртке с поднятым воротником... с мотоциклетным шлемом...

– Просто стоял?

– Азиз сидел спиной к улице и не мог видеть Ги. Ноя-то видел, я хорошо разглядел его лицо. Никогда его не забуду.

– Что же вас так поразило?

– Я точно знаю, что он хотел сделать там, у витрины, Ги. Я знал это и тогда. Разбить стекло. Вот чего ему хотелось больше всего – разбить стекло. Расхерачить его к чертовой матери. Я еще подумал – сейчас он запустит в стекло шлемом...

– А если бы шлема не было?

– Не знаю. Он нашел бы камень.

– А если бы и камня не оказалось?

– Он прошел бы сквозь витрину.

– Он прошел?

– Нет.

– Почему? Что его остановило?

– Не знаю. Меня когда-то остановил шрам. Шрам в виде креста...

– Я помню.

Не мальтийского, это был просто приколы, не больше. И никаких тайн в нем не ночевало, ну как если бы я встретил Азиза где-нибудь в метро в июне,

в самое пекло, в рубашке с короткими рукавами. И сошел бы на следующей станции. Второй шрам, тот, что под грудью, – совсем другое дело. Чтобы увидеть его, чтобы до него добраться, нужно было рассказать Азизу о Душане. И о кошке. И о Кельне, я там родился. И о том, что у мамы был рак костей, и ей отняли ступни, а потом отнимали еще по десять сантиметров каждый год. Отнимали и отнимали и дошли бы до самых бедер, если бы она не выпила две упаковки снотворного... И даже о Рики-морячке стоило рассказать, о том, что он красит волосы в белый цвет.

– И как быстро вы до него добрались? До второго шрама?

– Про мать я соврал. Все у нее было в порядке, она и сейчас жива-здоровая.

– Да? А жаль. Жаль, что соврали. История с мамой особенно меня тронула.

– Вот и Азиз купился. Очень похоже на правду, да?

– Очень.

– Эту историю я взял напрокат у Рики-морячка. У него много таких историй в запасе. Я хотел понравиться Азизу. Хотел добраться до его шрама. Того, который случайно не увидишь...

– И что же с вами произошло, когда вы его увидели?

– Это произошло раньше, чем я его увидел. Я

влюбился. Он был добр ко мне, и я влюбился. Остаться с ним — единственное, о чем я мечтал. Остаться с ним, раз уж Кларк Гейбл умер, а Душан так и не дал о себе знать.

— Про кошку — тоже вранье?

— Нет.

— А про Ги?

— Нет... Мне так хотелось влезть в Азиза, если бы я влез, если бы я точно знал, что выкурить меня можно будет, только если пустишь ему кровь, — я бы успокоился. Я думал, что это говно-вопрос — влезть. И только шрам привел меня в чувство. Я опоздал, вот в чем была главная фишка. Я опоздал. Дверца захлопнулась. Та самая, через которую все они просачивались. Все эти подонки. Спали и видели, как бы стрясти с него побольше башлей. Один я по-настоящему его любил. Один я. Но дверца захлопнулась и заросла шрамом. Я опоздал...

Н-да... Ты, парень, наверное не в себе. Лепишь горбатого по обкурке. Мне бы сразу сообразить... А если тебя интересует происхождение шрама, который ты тут так подробно живописал, то могу тебе сказать, откуда он взялся. Азиз Мустаки заработал его в двадцать три года. Он тогда жил в Марселе с одним ненормальным воякой из Иностранного легиона. Легионер как-то застукал Азиза в постели с любовником и поставил на перо. Вот и вся хренова романтика.

– Откуда вы знаете?

– На смерть и вправду нельзя положиться, тут ты прав, парень. Тем более на такую – в сопровождении экспертов и полицейских мигалок. Она сдает все, что только можно сдать... Так что случилось тем вечером в ресторане?

– Ги стоял у витрины...

– Это я уже слышал. Он хотел высадить стекло и не высадил. Что он сделал потом?

– Ушел.

– Вот так взял и ушел?

– Не сразу. Но тогда я уже сообразил, почему он ушел. Этот гад ушел, потому что понял: он появился слишком рано.

– А ты не перемудрил, а?..

– Что же тут мудреного? Я опоздал. Л у него еще была куча времени в запасе. Сначала Ги волновался, ему тоже казалось, что он опоздал. Как и я...

– Не морочь мне голову, парень.

– Вы же сами просили рассказать... Я могу и заткнуться...

– Хорошо. Продолжай.

Он выглядел влюбленным – Ги. И в лице у него было что-то змеиное. Влюбленные – как змеи, как удавы, только и ждут удобного момента, чтобы обвиться кольцами. Вот он и примеривался – как бы половчее обвиться. Точно – примеривался. Азиз сидел к нему спиной и не видел всего этого, бедняга.

- Что было потом?
- Когда мы вышли – Ги и след простыл. Я не стал рассказывать Азизу ни про кинотеатр, ни про то, как Красавчик пасся у кабака. Постарался выбросить всю эту хрень из головы. Я ревновал.
- И ко всем другим – тоже?
- Нет. Другие не смотрели на него так, и Азиз всегда возвращался ко мне...
- Я уже это уяснил, господи ты боже мой!
- Потом я увидел мотоцикл Ги. Серебристая «Хонда». Он ехал за нами. Пристроился в хвост на Сент-Северин и больше уже не отставал.
- Вы поехали на улицу Лафитт?
- Да. Азиз всегда отвозил меня домой.
- Он остался у тебя?
- Нет. Не в тот раз. Сказал, что у него дела. Он даже не поднялся.
- А Ги?
- Угадайте с двух раз, инспектор. Его пакостная «Хонда» ломанулась за машиной Азиза. Это меня взбесило, вы должны понять...
- И что же ты сделал?
- Поймал тачку. На это ушло минут десять, так что из виду я их потерял. И голову я потерял тоже. Начал названивать Азизу на сотовый –дохлый номер. Иногда Азиз умел прикинуться самой настоящей скотиной.
- Я сейчас расплачусь.

– Лучше купите мне еще пойла. Сегодня я на мели.

– Сдается мне, ты уже давно на мели.

А какая разница?.. В ту ночь я поехал к Рики. Меньше всего мне хотелось видеть Рики, но деваться было некуда. Просидел у него дня четыре или пять, не помню точно. Я бы и дольше просидел, только уж больно от него смердило, от Рики-морячка. Потом вернулся к себе и прослушал пустой автоответчик. Эта скотина так и не объявилась. Если бы я знал, чем все закончится...

– И ты больше не виделся с Мустаки? До его смерти?

– Почему? Виделся. И нес ним одним. В том самом кабаке, где мы обычно ужинали.

– В «Мираме»?

– Точно. У вас хорошая память. Они сидели за тем же столиком.

– Ги и мсье Мустаки?

– Была еще мадам. Вот уж кого я не ожидал встретить, так это мадам.

– Может, это была деловая встреча?

– В «Мираме»? Все свои дела Азиз обсуждал в «Арпеж», а он был человеком привычки. И потом, к чему бы им трещать о делах в присутствии любовника мадам? А Ги имел тогда официальный статус любовника, об этом все знали.

– Но ведь к тому времени Ги Кутарба уже

запустил свою парфюмерную линию... Стал третьим человеком в фирме.

— А-а... Вы об этом? Я же говорю — странный тип, этот Ги. Несколько лет тусовался на подиуме, о нем и вспоминали только тогда, когда хотели уесть мадам, и вдруг бац — парфюмер.

— Тебе это кажется подозрительным?

— Просто странным. И странным было то, что он так вцепился в Азиза.

— А мадам Сават не могла его шантажировать? И пристегнуть к этому мероприятию Ги?

— Шантажировать? С чего бы это?

— Мало ли причин для шантажа...

— Знаете, что я вам скажу, инспектор. Причин для шантажа всегда гораздо меньше, чем кажется. И уж тем более в модельном бизнесе. А Азиз занимался только этим. Идей он не воровал, ничего не присваивал, коллекции мадам оставались коллекциями мадам, ему было до лампочки.

— Дела у «Сават и Мустаки» в то время шли неважно.

— Если они и шли неважно, то Азиз меньше всего был в этом виноват. Это же мода, инспектор, все в ней быстро меняется. Появляются новые дома, исчезают старые. Вещь закономерная, как триппер у Рики-морячка.

— «Сават и Кутарба» звучит ничуть не хуже, чем «Сават и Мустаки», ты не находишь?

– Слушайте, инспектор, о чем мы тут вообще распинаемся? Азиза год как нет в живых. А фирма своего названия не изменила. Это человеку можно отсечь голову, а имени башку не отсечешь. Имя всегда остается, так-то.

– Но после гибели Мустаки положение исправилось, не так ли? Акции «Сават и Мустаки» резко поперли в гору...

– Мадам. Мадам выжала из его смерти все, что могла. Из смерти можно выдоить гораздо больше, чем из жизни. Если иметь клепку в голове.

– Но ведь и ты не растерялся, Ули. Ты тоже пристроился к вымени.

– Вот черт... Зовите меня Ретом. Вы имеете в виду эту книжонку? Вы и ее откопали?

– «Цвет индиго». 187 страниц. Цена три с половиной евро.

– Название придумал Рики-морячок.

– Постельные откровения об Азизе Мустаки. Редкостная похабщина.

– Я любил Азиза.

– Да. И теперь я даже знаю – как.

– Меня турнули из фирмы, в моих услугах больше никто не нуждался.

– Убийственный аргумент. Лучше бы ты написал о той своей кельнской кошке.

– Я хотел. Но Рики сказал – людям не нравится, когда убивают кошек. Людям нравится, когда

убивают людей. Это – самое интересное, что может с ними случиться.

– Мудрый человек – Энрике Пинеро. Я его недооценил.

– Хоть кто-то его недооценил. Обычно Рики переплачивают. А книжка все равно не пошла. Так что я остался при своих.

– В своем опусе ты упомянул обо всех. Даже о Кларке Гейбле. И только о Ги ни слова не нацарапал. Почему?

– Не захотел.

– Не захотел – и все?

– И все.

– Ясно.

– Нет, вам не ясно. В тот вечер, когда я увидел их троих в «Мираме»... Азиз и мадам о чем-то трындели, довольно живенько. А Ги молчал. Сидел по правую руку от мадам и молчал. Ни одного слова не вставил, хотя я довольно долго за ними наблюдал.

– Ты не подошел к ним?

– Нет. Мне показалось, что Азизу не понравится, если я подойду.

– И они тебя не заметили?

– Нет.

– И что было дальше?

Сначала я смотрел на мадам и Азиза. Не на этого же подонка пялиться. Тем более что физиономия у него была такая же, как и тогда, когда он стоял за

витриной в мотоциклетной куртке. Мне и одного раза хватило. Я уже говорил вам – если бы можно было влезть в Азиза, он бы в него влез. В точности, как я. Но было и другое.

– Что?

– Если бы можно было сожрать его – он бы сожрал. Как те креветки, что перед ними стояли.

– Ну у тебя и воображение, парень!

– Это еще не все, инспектор. Мне было хреново, за пять дней Азиз мне ни разу не позвонил, и это смахивало на отставку. Мне было так хреново, что я отправился в сортир, забить косяк. Не скажу, что после косяка особенно полегчало, но я решил не устраивать дерьмовых сцен. Сцен Азиз не любил. Так вот, где-то минут через пятнадцать в сортир вползла эта змея.

– Ги?

– Точно. Он пустил воду в раковине – видно для того, чтобы сполоснуть рожу. А когда он ее сполоснул и уставился на себя в зеркало... Это был не совсем он.

– То есть?

– Я не знаю, как это объяснить... Ги ведь брюнет, правда? Но мне почему-то он показался блондином. Точно, у него были белые волосы...

– А Кларком Гейблом он тебе не показался?

– Задницей чуял – не нужно было об этом говорить...

– Отчего? Валяй, рассказывай.

– Белые волосы. Не крашенные, как у Рики-морячка. Натуральные белые волосы. И подбородок стал резче. И глаза изменились. Это длилось недолго, каких-нибудь несколько секунд...

– А потом?

– Я помню, о чем подумал тогда. Если бы Азиз сох по баклажанам – то на месте башки у Ги красовался бы баклажан. Только Рики-морячок так умеет – быть таким, каким его хотят. Только Рики-морячок...

– И каким же?

– Мускулистой задницей. Художественно выполненной дыркой. Ничего другого от него не требуется... Я дал Ги в пятак, прямо там, он даже воду не успел закрыть. Ну и Ги мне тоже навесил... Та еще была сцена. Я сразу же свалил из «Мирама» – не очень-то мне хотелось, чтобы Азиз видел меня в такой плачевной ситуевине. Отправился к Рики-морячку зализывать раны. А через два дня узнал, что Азиза больше нет...

– И ты не рассказал следствию об этой стычке в сортире? Не рассказал о Ги?

– Чтобы меня посчитали ненормальным педиком? Нет уж, увольте. Вы ведь тоже считаете меня ненормальным.

– Глупо, конечно, советовать тебе отказаться от дури...

– Да уж, не самая хорошая идея. Не самая хорошая

идея вылить на себя полфлакона «Minoritaire».

– Не понял?

– Вы ведь этим одеколоном пользуетесь? Даже вы... Даже вы попались на крючок Ги. Меня от всего этого тошнит. А знаете, кто еще без ума от этого запаха?

– Кто?

– Рики-морячок...

МИРТ

...Квартира тоже досталась мне от Грековых.

За вполне сносную цену в пятьсот долларов я имею два уровня, два сортира, деревянную лестницу и шикарный вид на Залив с шестнадцатого этажа. Никакой мебели, кроме дивана, в квартире нет, но это мало заботит меня. Я не собираюсь оставаться здесь надолго.

Так, во всяком случае, я думал до сегодняшнего дня.

Теперь что-то неуловимо изменилось. И виной тому вовсе не Бланшар, и даже не Мари-Кристин – за две недели я худо-бедно примирился с ее смертью, хотя так до конца и не поверил в нее. Виной тому – сама чертова квартира, вступившая в сговор с парижским коротышкой. Поначалу полное отсутствие каких-либо вещей приводило меня в восторг, я разорился лишь на телевизор с видео (чтобы в тысячный раз убедиться в своей рабской зависимости от «Диллинджера») и на стереосистему (чтобы хоть в музыке почувствовать себя свободным).

Пустая съемная берлога резко отличается от моих апартаментов в Париже – хотя бы потому, что Анук никогда не была здесь. Ночные кошмары – эти верные псы Анук, которые так любят вылизывать миски за

мой счет, — тоже не появлялись. Каждый раз, когда они на какое-то время оставляют меня, мне кажется, что они подохли, околели, перегрызли друг друга — и больше никогда не вернутся.

Но они возвращаются.

И тогда самая большая иллюзия моей жизни — иллюзия невозвращения кошмаров — рассыпается во прах. Впрочем, я готов примириться и с кошмарами, лишь бы Анук появлялась в моей жизни. Хоть изредка. Каждый раз, когда она на какое-то время оставляет меня, мне кажется, что она вышла замуж, обзавелась туфлями на шпильках, наплодила сиамских близнецов — и больше никогда не вернется.

Но она возвращается.

И тогда самый главный страх моей жизни — страх потерять Анук — рассыпается во прах. Но ненадолго — с Анук ни в чем нельзя быть уверенным.

Теперь я не уверен и в этой, ничем не заполненной, квартире. Раньше я даже не подозревал, что пустоты, не забитые вещами, тут же оккупируют воспоминания. Возможно, эта мысль уже посещала меня — иначе как объяснить то, что мой парижский дом задыхается от предметов, мне по большому счету не нужных и никак со мной не связанных. Там и шагу не ступишь, чтобы не наткнуться на напольные вазы, переносные ширмы, воздушных змеев, морские раковины, африканские и венецианские маски, кресла-качалки, курительницы для благовоний,

неработающие игровые автоматы, светильники в виде бивней слонов и бивни слонов в чистом виде. Мне все равно, где покупать вещи, — на всех двенадцати блошинных рынках Сент-Оэн, в антикварных магазинах или на аукционе. Мне важно покупать их.

— Твоя страсть к вещам похожа на паранойю, — говорила мне Мари-Кристин.

— Какие тайны ты хочешь ими завалить? — говорила мне Анук.

Тайны. Уж они-то наверняка тебе известны, Анук, моя девочка.

Или это слепое подражание самой Анук? Или это слепое подражание рюкзаку Анук и ее зашитым карманам? Как всегда неудачное.

— Это большое искусство — уметь носить в карманах ненужные вещи. — Я так и вижу, как Анук сует в рот большой палец. По старой детской привычке.

Большое искусство, как всегда, проходит мимо меня.

Мимо меня, короля ароматов.

Их семь, этих ароматов, сочиненных мной. Два мужских и пять женских.

Два, которые я нашел совершенно случайно, и пять, которые я целенаправленно искал. Они принесли мне удачу, известность, деньги... Они полностью изменили мою жизнь — но почему мне так хочется забыть о них? Откреститься, отказаться,

стереть в памяти, распрощаться с ними навсегда. Не как с опостылевшими любовниками, не как с друзьями, которые предали, — как с соучастниками преступления.

Вряд ли оно когда-нибудь будет раскрыто, но существа дела это не меняет.

И я точно знаю, что забыть не получится. И если даже я извернусь и хотя бы на час, на день почувствую себя свободным — что-нибудь обязательно напомним о них: девушка, лижущая витрины где-нибудь на Риволи, парочка воркующих за чашкой кофе голубков (и почему только юные влюбленные так любят плескаться под струями одного и того же парфюма?), холеный чинуша из пятого округа... Из десяти человек, которые пользуются духами, обязательно найдется кто-то один, кто поливает себя именно моими.

В хронологическом порядке они выглядят так:

1. «Salamanca»
2. «Kothbiro»
3. «Minoritaire»
4. «Odji Maguado»
5. «C'est Moi»
6. «Qui?»
7. «Exodus»

«Salamanca» всегда была выбором свободных от предрассудков самочек, им ничего не стоит взять на бордаж любую постель. «C'est Moi» — с самого

начала предназначались для пристяжных кобыл от бизнеса, единственной мечтой которых остается сбросить под столом осточертевшие туфли и пошевелить пальцами ног. «Qui?» сражают наповал юных идиотов с мозгами размером с пуговицу от блузки. «Kothbiro» больше подойдет для адюльтера, а «Odji Maguado»...

«Odji Maguado» я посвятил Мари-Кристин.

Как же они нравились ей, бог мой! Ради «Odji Maguado» Мари-Кристин отступила от своего, казавшегося незыблемым, принципа: никогда не пользоваться духами. Мари-Кристин просто помешалась на «Odji Maguado»; в стиле «Odji Maguado» мы даже провели ночь – единственную за три последних года ночь вместе. Теперь-то я понимаю, что делать этого не стоило, – наши отношения (и без того далеко не безоблачные) испортились окончательно. Возможно, я сболтнул что-то лишнее – мы никогда не были так откровенны, как в ту ночь, ни до, ни после. Возможно, ей показалось, что я сболтнул лишнее. Возможно, так показалось мне самому. Но факт остается фактом – Мари-Кристин больше не вела со мной разговоров, которые касались создания ароматов, хотя до этого принимала в моих парфюмерных изысканиях самое живое участие. А дизайн флакона «C'est Moi» и вовсе принадлежал ей: несколько сфер, вложенных одна в другую, и колпачок в виде лепестка гималайского

мака.

Первый флакон – для тягучей, страстной и чуть горьковатой «Salamanca» – выглядел гораздо более эксцентричным, его придумал Ронни Бэрд. Удачливый павлин, мазила-мистификатор, самовлюбленный сукин сын, я всегда терпеть его не мог.

Мы встретились в тот самый день, когда я впервые потерял Анук после восьмилетней разлуки. В том самом букинистическом, где обитал «Ars Moriendi». Ронни Бэрд и был тем самым покупателем, для которого Бабетта отложила книгу. Я увидел его, как и предсказывала престарелая весталка, ровно через сорок пять минут: здесь павлин изменил себе, даже на открытие собственной выставки он опаздывал по меньшей мере на полчаса.

Почему за сорок пять минут я не предпринял никаких усилий, чтобы завладеть фолиантом? Ведь при желании я мог бы так запудрить мозги Бабетте, что она сама отдала бы мне книгу, предварительно завернув ее в подарочную упаковку и перевязав бантом. При желании я мог бы просто стянуть «Ars Moriendi» или – хуже того – отнять его силой: за то время, что я провел в магазинчике, нас никто не потревожил. Единственный посетитель и единственная продавщица – вот как это выглядело со стороны. На вялое изучение окрестностей прилавка ушло десять минут, затем (чтобы умаслить Бабетту) я

приобрел потертый блокнот с такими же потертыми пряжками и слегка тронутыми желтизной страницами. Бабетта тут же сообщила мне, что партия таких блокнотов разошлась среди писучих интеллектуалов, а один достался самой Франсуазе Саган, «а сами вы не пробовали писать, молодой человек?».

Кажется, я ничего не ответил на этот вопрос, я лишь улыбнулся Бабетте застенчивой улыбкой непризнанного гения. Этого оказалось достаточно, чтобы Бабетта почувствовала ко мне прилив материнской, хотя и слегка подпорченной намеком на инцест нежности.

— Мой парень тоже был писателем, — торжественно объявила она.

— Известным?

— Известным он стать не успел. Погиб при трагических обстоятельствах.

Круг трагических обстоятельств, исходя из личности Бабетты, вряд ли был таким уж широким: вождение автомобиля в пьяном виде, передоз, драка на почве неприятия экзистенциальных идей Алена Роб-Грийе, смерть в давке на концерте «Лэд Зеппелин»...

— Сочувствую...

— А знаете... Он был очень похож на вас...

Ну конечно, за давностью лет все трагически погибшие и безупречно молодые люди — опять же

исходя из личности Бабетты – становятся похожими на меня. В крайнем случае, на американского актера Джеймса Дина, тоже трагически погибшего и тоже безупречно молодого.

Почему я не предпринял никаких усилий, чтобы завладеть фолиантом? Неужели из-за безотчетного детского страха перед ним?..

Остаток времени был посвящен самой Бабетте, ее связи (литературной, только литературной!) с Дюрренматтом и Фришем, обожаю швейцарцев, а у вас есть подружка, молодой человек, кстати, как вас зовут?.. Назови я любое имя – оно бы тут же самым чудесным образом совпало с именем ее покойного дружка. Но имя я назвать не успел – нежный голос колокольчика над дверью сообщил о прибытии очередного клиента.

Им-то и оказался Ронни Бэрд.

Я не сразу узнал его, хотя и видел на нескольких презентациях его павлиньих выставок: Мари-Кристин, души не чаявшая в Ронни, таскала меня туда с завидным постоянством. Адская смесь клюшки для игры в гольф и квелога электронного тамагочи, владельца гарема и евнуха при нем – вот кем был Ронни Бэрд. Его приход сразу же сделал бессмысленным не только существование букинистического магазинчика Бабетты, но и само изобретение книгопечатания. А тисненые демократичной позолотой Сартр, Миллер и Гертруда

Стайн тотчас же пали ниц перед логотипом «Versace» на каблуках павлина.

Золото на логотипе было самым настоящим.

В отличие от самого Ронни – насквозь фальшивого крашеного блондина с бегающими глазками вуайериста-надомника.

– Книга? – надменным голосом произнес павлин.

– Конечно-конечно, – засуетилась Бабетта, тотчас же упавшая в моих глазах до нуля. Должно быть, Фриш и Дюрренматт не шли ни в какое сравнение с логотипом «Versace» на каблуках.

Чтобы не видеть позорного акта капитуляции и осквернения священных гробниц, я отвернулся.

– Завернуть вам ее? – откровенное пресмыкательство до этого вполне независимой Бабетты добило меня окончательно.

– Как вам будет угодно.

Пожелай только Ронни Бэрд – и Бабетта упаковала бы «Ars Moriendi» во что угодно: в раритетные плакаты Тулуз-Лотрека, в штандарты Карла Двенадцатого, в шлейф воспоминаний о шестьдесят восьмом, даже в свою собственную юбку. Но такую жертву павлин вряд ли бы оценил, и Бабетте пришлось довольствоваться самой обычной папиросной бумагой.

– Вы не оставите свой автограф, мсье? – заискивающим контральто пропела Бабетта.

– Автограф?

– Ну да... У нас уже есть автографы Кении Дорхэма, Энди Уорхолла, Майкла Фрэнкса и Аманды Лир – теперь хотелось бы получить и ваш...

«Что за бригада? Попечители твоей книготорговой богадельни?» – именно это было написано на лице Ронни, но на автограф он все-таки согласился. Спустя две минуты небрежные каракули (гибрид иероглифов и вавилонской клинописи с закорючкой на конце) заняли свое место на стене позади Бабетты. А еще спустя минуту мазила покинул магазинчик, унося с собой «Искусство умирания».

«Искусство умирания», по праву принадлежащее мне.

Мне и Анук, моей девочке.

Интересно, каким образом здесь вообще оказался Ронни Бэрд? До этого в своих многочисленных интервью он исповедовал полную свободу от культурного наследия какой бы то ни было эпохи, резво откликался на прозвище «анфан террибль», а из собственной дремучести соорудил умопомрачительную фишку. Случайно забрести в крохотный, лишенный всякого промоушена букинистический он не мог: случайно типы, подобные Ронни, появляются только на приеме в Букингэмском дворце и на собственных похоронах. И почему он выбрал именно «Ars Moriendi»? Или это тоже был не случайный выбор? Совсем не случайный, учитывая, что Ронни отложил книгу, чтобы потом вернуться за

ней. А если добавить к этому, что накануне вечером я выудил из рюкзака Анук его визитку...

— Вы знаете, кто это? — голос Бабетты все еще подрагивал от мимолетного соития с каракулями, начертанными лапой павлина.

— Понятия не имею.

— Это же Ронни Бэрд. Художник, очень знаменитый. Весь Париж о нем говорит. Его последняя выставка — настоящий культурный шок.

— Вы пали жертвой?

— Я была на ней два раза. И знаете... Он очень похож на моего парня...

Час от часу не легче. С другой стороны, послужной список Бабетты может занять не один блокнот имени Франсуазы Саган, даже если исключить из него Фриша и Дюрренматта.

— Того, который не успел стать известным писателем?

— Нет, другого. Который не успел стать известным джазменом.

— Он тоже трагически погиб?

— Нет, — Бабетта хихикнула, обнажив хорошо подогнанный каркас зубов. — То есть в каком-то смысле он действительно трагически погиб. Для меня и для джаза. Теперь он министр сельского хозяйства. Какая гадость...

Остаться в магазинчике больше не имело смысла, и я засобирался. Мои телодвижения не

остались незамеченными для Бабетты, и она сразу погрузилась.

— Уже уходите?

— Пожалуй...

— Так как насчет «Магической книги папы Гонориуса»? Очень редкое издание. И стоит неправдоподобно дешево, учитывая ее превосходное состояние и несомненную ценность для коллекционеров...

— В другой раз. В другой раз я непременно ее куплю. А как у вас появилась эта книга?

— Папа Гонориус?

— Да нет же... «Ars Moriendi». Искусство умирания.

Даром что на мне не было узких солнцезащитных очков — этого пропуска в ее расклешенную и затянутую широким поясом молодость; Бабетте хотелось удержать меня — хотя бы еще на несколько минут. Уплывший с Ронни Бэрдом «Ars Moriendi» — чем не предлог?

— О, это долгая история... Вы ведь торопитесь?

— Ничего, несколько минут у меня есть.

— Боюсь, что нескольких минут не хватит... Но мы бы могли посидеть где-нибудь за чашкой кофе. Поболтать...

Пару секунд я переваривал услышанное. Похоже, увядший букинистический лютик решил назначить мне свидание. Странная фантазия, учитывая

преклонный возраст Бабетты. Даже мое гипотетическое сходство с ее покойным бой-френдом этого не извиняет. Но ради «Ars Moriendi» я готов был встретиться с кем угодно.

— Обычно я закрываю магазин в шесть. — В самый последний момент Бабетта испугалась сама себя, должно быть, увидела собственное отражение в моих расширившихся зрачках. — И вы всегда можете найти меня здесь. Кроме воскресений, разумеется.

— Я обязательно загляну.

— Вы очень милый молодой человек. Милый и впечатлительный. Мне кажется, вы должны писать тонкие вещи. Работаете над романом, признавайтесь?

— Как вы угадали?

— О, я знаю толк в пишущих мальчишках. Они всегда сочиняют романы, даже если эти романы состоят из двух страниц. У вас странный акцент. Откуда вы?.. Подождите, я попробую угадать. Грек? Югослав? Испанец?..

Если Бабетту не остановить, она поднимет на ноги и без того беспокойный юг Европы.

— Вы почти угадали. Я из Страны Басков, — черт его знает, почему я сказал именно это.

— Я не могла ошибиться. Мой парень тоже был испанцем. Он бежал от Франко в шестьдесят пятом, — Бабетта осеклась и прикрыла рот ладонью. — О, боже... Никаких дат, в моем возрасте даты удручают, а вы такой молодой... И... вы так и не сказали, как

вас зовут.

– Не сказал? Кристобаль.

Никакого другого испанского имени мне в голову не пришло, только оно и вертелось на языке. Кристобаль Баленсьяга, никак иначе, великий модельер и философ моды, один из кумиров Мари-Кристин; она умела запудрить мне мозги своими кумирами, Мари-Кристин.

– ...Но вы можете называть меня Крис.

– О, нет, – в своем нелепом кокетстве Бабетта была просто неподражаема. – Кристобаль мне нравится куда больше. Вы заглянете ко мне еще как-нибудь, Кристобаль?

– Да. Конечно.

– Одиноким романтичный испанец в Париже... Начинающий писатель. Он просто нуждается в дружеской поддержке...

Дружеская поддержка, надо же!

– Я загляну.

Бедная Бабетта, ты даже не представляешь себе, как скоро это произойдет! Я и двух дней ждать не буду. Ни к чему не обязывающая чашка кофе в бистро, наверняка она будет чуть горчить от воспоминаний о твоих друзьях, на которых я так похож. Вряд ли ты расскажешь мне об «Ars Moriendi» сразу, после первого глотка. После первого глотка ты попросишь заказать тебе что-нибудь покрепче и придвинешь локоть к моему локтю, и накроешь мою

ладонь своей ладонью. Украдкой скосив глаза на посетителей и хозяина, протирающего бокалы. Жест слишком интимен и слишком красноречив, он не оставляет никаких сомнений: мы не мать и сын, не тетушка и племянник — нечто совсем другое, совсем другое. Кто-нибудь да обратит внимание на нас, неважно кто, пусть даже это будет скучающий польский работяга-нелегал за соседним столиком. И тебе будет совершенно наплевать, что он подумает: старая дура и жиголо или просто парочка извращенцев — главное, что он вообще подумает. О тебе. В обрамлении, в оперении, в контексте молодого мужчины. И рядом с этим молодым мужчиной можно рассуждать об искусстве умирания всего лишь как о книге, не больше.

Что ж, я готов. Готов на все, включая польского работягу-нелегала за соседним столиком. «*Ars Moriendi*» того стоит.

...Труднее всего оказалось отлепиться от букинистического магазинчика Бабетты — ведь сюда привела меня Анук, и здесь я мог бы получить ответы на многие вопросы. Возможно, я бы так и пасся поблизости, ожидая шести часов, — пока Бабетта еще не забыла имя «Кристобаль». Но неожиданно заворочавшийся шрам на затылке погнал меня домой. Нет, я не надеялся найти там Анук, хотя и оставил дверь открытой: Анук не была бы Анук, если бы вернулась.

Анук не была бы Анук, если бы хоть что-то в моем доме напомнило о ней. Все было как обычно, как и день, и пять, и месяц назад; все вещи стояли на своих местах, но какими же дурацкими они мне показались! Еще более дурацкими, чем вчера вечером. Вытянувшись на постели, на которой Анук провела прошлую ночь, я вспомнил об обеде с Мари-Кристин в «Ле Режанс». Исчезновение Анук делало обед бессмысленным, и я решил и вовсе задвинуть мысль о нем подальше. Мари-Кристин никогда не простит мне того, что я не удержал девчонку, которая могла бы стать лицом «Сават и Мустаки». И нужно знать мою первую и единственную женщину: она ненавидит, когда хоть что-то получается не так, как она задумала. Вчера Мари-Кристин была полна решимости заполучить Анук любой ценой, а я не просто сбил цену до минимума, я вообще отказался от торгов. И во всем происшедшем Мари-Кристин будет винить только меня. Если бы я только мог рассказать ей об Анук...

Но рассказать об Анук невозможно.

Убаюканный мыслью об этом, я решил заняться кассетой, оставленной Анук. Вряд ли это можно считать подарком, Анук никогда не снизойдет до подарка. Но зачем-то же она оставила проклятую кассету?

Ответа на этот вопрос я так и не нашел, хотя добросовестно прокрутил «Диллинджера» два раза.

Справедливости ради, и одного хватило бы с головой: меня начало тошнить от скуки уже на двадцатой минуте. Чтобы хоть чем-то развлечь себя в ожидании титра «Конец», я принялся гадать, кого же все-таки шлепнет из найденного в специях револьвера главный герой: себя, жену или Сабину – странную молодую женщину, то ли служанку, то ли приживалку, то ли просто соседку. Объективно жена была гораздо симпатичнее, чем носатая, короткостриженная Сабина, но как раз такие безмозглые симпатяжки и приедаются быстрее всего.

Я поставил на жену – и не проиграл.

А финал, в котором полулысый и оставшийся совершенно безнаказанным хрен уплывал в закат на роскошной яхте и при должности кока, неожиданно заставил меня вспомнить о негре из автобуса. Закат был таким же наглым и кричащим, как и его гавайская рубаха. Гавайская рубаха потянула за собой жилетку с меховым подбоем, мятую фетровую шляпу. И запах.

Но не запах муската, гашиша, фаст-фуда и дешевого гостиничного секса, которыми негр пометил салон автобуса, нет. А тот, который возник чуть позже и который заставил меня идти за чернокожим громилой несколько кварталов. Впрочем, утверждение, что я «вспомнил запах», было не совсем верным: я вспомнил лишь ощущение от него. Там, у Северного вокзала, у меня было слишком мало

времени, чтобы зафиксировать его точнее. Вот если бы его было чуть больше, если бы нигер не спугнул меня — мне наверняка удалось бы установить все компоненты запаха: ведь четыре предыдущих года я только тем и занимался, что собирал и классифицировал ароматы...

Мысль о запахе больше не давала мне покоя, она заслонила все другие мысли, даже потерянная Анука отступила на второй план, даже «*Ars Moriendi*» притих. Сопротивляться этой мысли было невозможно, от нее у меня подскочила температура, лоб покрылся испариной, а зубы принялись выстукивать что-то и вовсе невообразимое. Мокрый как мышь, я провел в полубреду несколько часов — без всякого видимого улучшения. Напротив, мне становилось все хуже, временами я впадал в странное забытие, в абсолютную, тотальную, всепоглощающую черноту; на ее фоне любой кошмар выглядел бы избавлением. В какой-то момент мне показалось, что у меня тысяча сердец: они бешено колотились в животе, пытались раскачать грудную клетку и взорвать череп, они облепили жердочку шрама и что-то шептали мне на разные голоса. Потом сердца сбились в кучу, и все стихло.

Потом...

Потом мне показалось, что я умираю. И сердце, ставшее единственным, отказывает мне. Оно и вправду остановилось, повисло в плотной тьме —

такое же черное.

Я не помнил, как выбрался из квартиры, как добрел до автобусной остановки и долго сидел, прислонившись разгоряченным шрамом к столбу указателя. В автобусе мне стало чуть полегче, в голове прояснилось – настолько, что название бара, о котором говорил чертов Нигер, – «Раколовка» – всплыло само собой. В любое другое время я не стал бы доверять гадюшнику с таким сомнительным именем, ничего хорошего ждать от него не приходилось. Так же, как и от района, в котором промышляла «Раколовка», – по сравнению с ним смурные, полууголовные, кишачие проститутками заведения на Сен-Дени выглядели филиалом монастыря кармелиток. В любое другое время я бы ни за что не отправился туда – в любое другое, но только не сейчас...

За Северным вокзалом я был уже в форме, а в двух кварталах от «Раколовки» недавнее недомогание показалось мне смешным. Но смеха поубавилось, едва лишь я приблизился к ней. Две грязные витрины бара почти не отсвечивали, а у входа околачивалась компашка черных парней. Компашка проводила меня сочувственными взглядами; причина же сочувствия выяснилась секундой позже, когда я толкнул входную дверь.

«Раколовка» была под завязку набита африканосами самых разных оттенков, но одинаково

хреново настроенных ко мне, единственному белому. В спертom воздухе бара плавал дым от сигарет, сигар и самокруток с марихуаной, а за стойкой скучал колоритный тип, отчаянно смахивавший на какого-то африканского царька. Правила приличия предписывали мне протиснуться к стойке и заказать что-нибудь покрепче. А потом вытащить из кармана рубахи сигарету, сигару или самокрутку с марихуаной и смачно затянуться. И уже напоследок спросить у царька за стойкой, где бы мне найти... Вот тут-то я и застопорился: свое имя нигер мне так и не назвал. С другой стороны, он сказал, что будет в «Раколовке» в районе девяти, а сейчас как раз перевалило за половину, самое время.

Залапанная сотнями пальцев, вытертая до блеска десятками локтей стойка оказалась абсолютно пустой, я торчал возле нее, как бельмо в глазу, не слишком впечатляющее начало.

– Рюмку пастиса¹², – неожиданно истончившимся голосом сказал я.

Царек и ухом не повел.

– Рюмку пастиса, – я попробовал изменить тембр, Никакой реакции.

Вряд ли что-нибудь изменилось, если бы даже я заказал запеченную на костре ящерицу или почки годовалого бычка зебу.

Вывод напрашивался сам собой: чужих здесь не любят, да еще с такими генетически выбеленными

харями. Если бы здесь была Анук, все обернулось бы совсем по-другому, Анук в мгновение ока приструнила бы всю эту свору. А что можно ожидать от трусливого сямского братца, который не то что обернуться, даже рукой двинуть не в состоянии — из страха перед возможными последствиями. Неизвестно, сколько я простоял, мозоля глаза царьку; минуты, искривляясь в сонных зеркалах его зрачков, приобретали очертания часов. Часы складывались в сутки, закат сменял рассвет, и я не единожды пожалел о своей вылазке в «Раколовку»: умереть на рю де Ла Гранж от разрыва сгнившего до черноты сердца было бы не в пример приятнее.

Странно, но никто так и не потревожил меня, никто не воткнул мне перо под ребра, никто не разнес пулей затылок, вот только в баре установилась неприятная тишина. Но стоило мне подумать, что она будет длиться вечно, как ее расколол чей-то вкрадчивый низкий голос.

– Эй, дружок!..

Голос прошелся по всему залу и мягко вспрыгнул мне на плечи, отчего они сразу налились свинцовой тяжестью.

Я обернулся.

Мой утренний негр сидел в дальнем углу «Раколовки», именно оттуда пришел голос, и именно оттуда до меня наконец-то дошла первая волна запаха. Она обдала меня легкими брызгами —

лакрица? жженный мед? — и заставила забыть обо всем на свете.

— Иди-ка сюда, дружок! — еще раз пророкотал Нигер, и я, как сомнамбула, двинулся к нему.

Притихший было зал «Раколовки» вновь оживился, наполнился гортанной речью: он потерял ко мне всякий интерес.

Место по правую руку от Нигера занимал еще один мутный тип, помельче и потщедушнее, но в такой же кричащей гавайской рубашке. Я мог видеть лишь его профиль: сплюснутый, размазанный по щекам нос, губы толщиной с палец и кадык, с успехом заменявший владельцу подбородок. Мутный тип не интересовал меня вовсе, да хоть бы и десяток их там сидело, мутных типов, плевать. Толстяк с вонючим огрызком сигары во рту — вот что было главным.

Пока я приближался, реинкарнация Бадди Гая мигнула глазом, и кто-то из услужливых черномазых сошек, отиравшихся поблизости, придвинул к столику третий стул. Для меня.

— Пришел-таки. Ну садись, — негр указал мне на только что приставленное посадочное место. — Садись, раз пришел.

— Привет, — я плюхнулся на стул.

— Смелый парень, — изрек негр, и неизвестно чего в его голосе было больше — одобрения или угрозы.

— Пришел, как условились, — продолжал гнуть свое

я.

Но слова были уже неважны. Запах, исходящий от негра, завладел мной целиком. Теперь он был гораздо явственнее, чем даже утром, у Северного вокзала. Теперь он был нестерпимым. Запах дразнил меня, кружил мне голову, ускользал и снова возвращался. Ноздри мои ни разу в жизни не вбирали такого тонкого, такого восхитительного аромата, немного тяжелого – но разве страсть бывает легкой? Лакрица и жженный мед – первые ощущения не обманули меня. Но кроме этого была еще масса оттенков, которая и придавала запаху неповторимость. Они-то и не давались мне, эти оттенки, они лгали напропалую и подменяли один другой. Как если бы аромат уже существовал и тонким облачком окутывал кожу.

Да, именно так.

Кожа Бадди Гая – вот что мешало мне. Для того чтобы понять суть запаха, Бадди Гая нужно было освежевать. От этой крамольной мысли, а более всего – от моей готовности к ней я на мгновение прикрыл глаза.

– Чего это с ним? – должно быть, в разговор встрял приятель моего Нигера. – Плохо ему, что ли?

– Видать, испугался собственной смелости, – тут же нашелся нигер. И утробно хохотнул. – А плохо ему еще будет.

Держать глаза закрытыми дольше не имело никакого смысла, да и я уже справился с

наваждением. Остался только ускользающий, но такой внятный аромат. И принадлежал он толстому вонючему негру, только он владел им, его тайной. Безраздельно.

— А чего это он так на тебя уставился? — не унимался мутный тип.

— А пусть смотрит. Всегда интересно взглянуть в zenки собственной смерти.

Зачарованный запахом, я не сразу уловил суть последней фразы Бадди Гая. Кажется, он угрожает мне, интересно, почему?..

— Значит, говоришь, тебе приятель присоветовал? — негр снова вперился в меня взглядом.

— Что? — не понял я.

— Тебе ведь приятель присоветовал ко мне обратиться?

— Нуда...

— Твой приятель. Морда со шрамом. Тома, да?

— Да.

Ничего хорошего за этим не последует: я понял это, как только произнес свое жалкое «да».

— Слышь, Тома, — слегка прищурился негр. — Он говорит, что он — твой приятель.

Только теперь спутник Нигера повернулся ко мне: нос его и правда оказался сплюснутым и размазанным по щекам, наружу торчали только вывороченные ноздри; с такими ноздрями можно закачивать в башку что угодно. Вагонами. Левая же,

до этого скрытая от меня щека мутного типа была обезображена огромным шрамом.

– Твой приятель, Тома...

– Приятель, – презрительно цыкнул зубом Тома. – Да я впервые его вижу. Знаю я, кто его приятели. Лягаши его приятели.

– Вы о чем? – загипнотизированный шрамом и слегка подавленный собственной утренней прозорливостью, я не сразу понял, что сакраментальное «лягаши» относится и ко мне.

– А о том, дружок... – Толстяк снова взял инициативу на себя. – Что рыло твое Тома не знакомо. И с чего бы это тебе было пасти меня, сосунок? А потом брехать, как собаке?

– С чего?

– А с того, что ты собака и есть. Легавая. Только уж больно глупая. Совсем уж там очумели, всякую шваль набирают...

До меня долетали лишь обрывки слов, основная их часть терялась в плотном облаке запаха. Лакрица, жженный мед, какая-то трава (может быть, шафран?), проклятье, нужно сосредоточиться, сосредоточиться... Неожиданно в облаке возник просвет, его вспорола легкая холодная тень: это плосконосый Тома достал нож и принялся вертеть им у меня перед лицом.

– Может, пометим его? – задал он риторический вопрос.

– Все бы тебе шкуру портить, – осадил его толстяк. – Успеется.

Но и перспектива близких контактов с финкой Тома оставила меня равнодушным. Лакрица, жженный мед, какой-то цветок (может быть, гиацинт?), проклятье...

– Нет, ты посмотри, как он на тебя пялится, собака! – не унимался обладатель шрама. – Он как будто сожрать тебя хочет.

– А может, я ему нравлюсь?

Хлипкий столик затрясся – это вонючка Бадди нагнулся ко мне и выпустил из пасти струю сигарного дыма. Теперь запах завладел мной целиком, забил все поры, пробрал до костей. Страсть, до сих пор спеленатая в запахе, как в коконе, выплеснулась наружу. Запретная, совсем недолго живущая и обретающая покой только в смерти – вот какой она была. Дорого бы я дал, чтобы хоть раз испытать подобное. И еще большую цену заплатил бы, чтобы никогда на это не нарываться...

– Нравлюсь, а? – издевательски шепнул негр мне на ухо.

– Да он сейчас в обморок хлопнется, – констатировал Тома.

– Впечатлительные пошли легавые, – в тон ему констатировала тень Бадди Гая. – Да ты не волнуйся, дружок. Мы просто потолкуем. Просто потолкуем – и все. Всегда полезно общуршать с новичками кое-

какие проблемки... Только здесь, пожалуй, будет шумновато, а?

Я молчал.

— Есть одно местечко, там нам никто не помешает. Там ты мне и расскажешь, с чего это ты вдруг так заинтересовался моей персоной...

Я молчал.

Негр истолковал это по-своему. Он слегка кивнул своему увечному подлипале, поднялся сам и приподнял со стула меня. Следом за нами из-за столика выскочил Тома. Так, все втроем, мы и направились к выходу. Никакой реакции на наш уход не последовало, даже африканский царек за стойкой не повернул головы.

— Ты ногами-то перебирай, дружок, — посоветовал мне негр. — Пока в состоянии. Я тебя волоочь на себе не намерен.

Выйдя из «Раколовки», мы прошли еще метров пятьдесят и свернули за угол. Там стоял раздолбанный «Ситроен», если и не ровесник Бадди, то уж точно ровесник Тома. Я не был готов к «Ситроену»; исходя из габаритов толстяка и количества перстней у него на пальцах, можно было рассчитывать по меньшей мере на кадиллак с аризонским номером.

— Обыщи его, — скомандовал Бадди.

Тома по-обезьяньи ловко ощупал меня и засопел:

— Ничего.

Негр кивнул и плюхнулся на водительское сиденье, отчего брюхо старой развалины едва не заскребло днищем по мостовой. Мы с Тома устроились сзади, причем плюгавый говнюк тотчас же приставил нож к моему боку.

— Э, да он трясется весь, — доложил Тома Нигеру. — Еще салон облюет. Или того хуже...

Нигер никак не отреагировал на это замечание, а спустя секунду «Ситроен», громыхая и фыркая, тронулся с места. И по мере того, как увеличивалась скорость, нарастала и концентрация запаха. Дышать становилось все труднее, а в аромате лакрицы и жженого меда появилось что-то отталкивающее. Как и в самой страсти, когда она берет тебя за горло, когда она овладевает тобой целиком: назойливый мотив песенки, от которой просто необходимо избавиться. Теперь, в крохотном салоне, основные ноты песенки отступили на второй план и прорисовалась цветочная гамма: гиацинт (это и вправду был гиацинт), жимолость, лотос и что-то еще... что-то еще...

— Если так и дальше будет продолжаться, мы его не довезем, — продолжал стенать Тома.

Ничего, парень на вид крепкий, — в зеркале заднего вида всплыли губы Бадди. — Хотя хрен знает, что там у него внутри...

— Посмотрим? — Финка плосконосого, легко преодолев сопротивление рубашечной ткани, заерзала

по моей коже. – А вдруг там клад зарыт?

– Разве что под тонной дерьма мы его отроем, – губы Бадди раздвинулись, выпуская на волю сигарный огрызок.

На дороге я почти не смотрел, но, судя по всему, «Ситроен» уже выбрался из лабиринта узких улиц, промахнул бульвар Орнано и теперь мчался по направлению к кольцевой. Именно мчался: казалось, негр выжимал из развалюхи все соки. И оставалось загадкой, как при такой скорости мы до сих пор не потеряли ни одного колеса.

– Опять ты гонишь, – Тома был явно недоволен прытью босса.

– Да ладно тебе, не хнычь. Слегка растрясем жирок, только и всего...

– Может, кому-то и надо трясти. А я предпочитаю делать это в другом месте. И другими способами...

Жженный мед, лакрица, кедр. Гиацинт, жимолость, лотос, цветок абрикоса. И что-то еще... Что-то еще...

Как перед нами оказался грузовик с лионскими номерами и почему я запомнил эти чертовы номера? Номера были единственным, что я запомнил, – номера, возникшие ниоткуда. Габаритные огни грузовика ярко горели, фары слепили глаза, кабина же, напротив, была скрыта во тьме. Чтобы избежать столкновения с этим маленьким Лас-Вегасом на колесах, негр резко вывернул руль, и «Ситроен» выскочил на тротуар. Все последующее произошло

почти мгновенно. Скрежет металла, треск разбивающегося стекла, зеленый мандарин, магнолия, ветивер, утробный вопль Тома, глухой удар и чернота перед глазами.

Зеленый мандарин, лотос, магнолия, цветок абрикоса...

Гиацинт, жимолость, ветивер...

Жженный мед, кедр и лакрица...

Я наконец-то увидел это. «Увидел», слова точнее просто невозможно было подобрать. Когда-то я уже испытывал нечто подобное: в нашем с Анук детстве, на чердаке, у ведра с чудесными чайными картинками. Все компоненты запаха проплыли передо мной именно в такой последовательности: зеленый мандарин, лотос, магнолия, цветок абрикоса. Абрикосовый цвет (именно он венчал первый аккорд) продержался совсем недолго, несколько секунд. Потом картинка сменилась, уступив место гиацинту, жимолости и ветиверу. Жимолость и гиацинт проникали друг в друга, и на их плотных лепестках лежала тень от корня ветивера. Тень удлинилась, очертания ее стали размытыми: на это потребовалось гораздо больше времени, чем на цветение абрикосовых деревьев. Но и это время закончилось. После чего вступили кедр, лакрица и жженный мед.

И боль в боку – резкая, обжигающая и тонкая, как трель утренней птицы.

Кажется, я потерял сознание.

А когда пришел в себя, запах исчез. Но это тревожило меня мало; гораздо меньше, чем стоны завалившегося мне на колени Тома. Они то спускались в нижний регистр, то поднимались до высот ультразвука и к тому же перемежались обрывками слов на непонятном мне языке, гортанном и чувственном. Бок болел, не переставая, но, судя по всему, моя боль не шла ни в какое сравнение с болью Тома. Искореженное водительское сиденье почти целиком въехало в несчастного плосконосого поганца, и от одной мысли, что у него могут быть раздроблены ноги, мне стало не по себе.

Бадди и вовсе не было в салоне, а от лобового стекла остались одни ошметки.

Все еще плохо соображая, я с трудом открыл дверцу и выбрался наружу.

Грузовик с лионскими номерами как сквозь землю провалился, но то, что я увидел спустя несколько секунд, заставило меня навсегда позабыть о нем. Открывшееся взгляду больше всего напоминало пейзаж после битвы. Бедолага «Ситроен», чудом увернувшийся от грузовика, нашел свой конец у фонарного столба: правая часть капота (именно на нее пришелся основной удар) была смята в лепешку, в то время как левая почти не пострадала.

Машинально сделав еще несколько шагов, я наткнулся на лужу крови, а потом — на Бадди, из которого эта кровь и вытекала.

Громила нигер был мертв.

Мертв. Мертвее не придумаешь. Очевидно, от удара о столб он вылетел через лобовое стекло и приземлился самым неудачным образом – на захваты автопогрузчика, стоявшего поблизости, у приземистого здания – то ли склада, то ли оптового магазина. Два стальных вилочных захвата – два из трех – пронзили Бадди, как кусок прогорклого масла. И вышли наружу, почти не попортив жилетки, разве что сделали ее меховой подбой темно-вишневым, редкий, глубокий цвет; Мари-Кристин, вот кто оценил бы его по достоинству.

Колени Бадди были согнуты, как будто он хотел преклонить их перед собственной смертью. И не успел. Да и смерть не стала церемониться с новообращенным, выглядел толстяк отвратительно: полуспущенные, изодранные брюки, одного ботинка нет и в помине, к тому же кожа на пятке оказалась потрескавшейся.

Я приблизился к мертвецу почти вплотную, ступни Бадди волновали меня даже больше, чем собственный бок. В широких, похожих на хирургические надрезы трещинах стояла кровь, при известной доле воображения можно было принять Нигера за разжиревшего черного Иисуса, еще не снятого со столь причудливого креста. Но вообразить, что всего лишь несколько минут назад от него исходил аромат лотоса и магнолии, было невозможно.

Запах покинул лже-Иисуса вместе с жизнью, теперь Бадди пах, как и положено пахнуть черному подонку, — мускатом, гашишем, фаст-фудом и дешевым гостиничным сексом, ничего больше, даже лужа крови не облагородила эту помойку.

Запах ушел, но теперь я знал, где искать его.

В моей собственной голове, вот где.

Слегка подпорченной аварией, слегка кружащейся, но достаточно крепкой, чтобы удержать подобную драгоценность. Я мог выманить запах в любой момент, ничего ему не суля. Что тут же и проделал, нисколько не смущаясь вонючей туши нигера. И жимолость, и жженный мед, и ветивер, — все оказалось на месте, ничего не потерялось, ничего, вплоть до самого распоследнего, самого крошечного цветка гиацинта. Обласкав запах ноздрями и снова загнав его под черепную коробку, я успокоился окончательно. Никуда ты не денешься, голубчик, паразитировать на вонючке Бадди — не самое большое счастье, я тебя понимаю, но со мной ты можешь остаться. Со мной все будет по-другому, я обещаю.

— Я обещаю, — я сказал это вслух и равнодушно раздавил окурок сигары, наконец-то покинувшей губы Нигера.

Так же равнодушно я слушал вопли Тома. Они не прекращались, но мысль о том, чтобы помочь меченому орангутангу, даже не пришла мне в голову, в конце концов, никто иной, как этот недоносок,

собирался спустить с меня шкуру. Да и саднящей болью в боку я, скорее всего, тоже был обязан ему. Удар о столб ни при чем, я дешево отделался, другое дело – финка Тома. Неизвестно, насколько глубоко она вошла.

Но об этом лучше не думать.

Единственное, что я могу сделать, – побыстрее убраться отсюда. Люди могут появиться здесь в любой момент; наверняка кто-то видел аварию и уже вызвал патруль, а французская жандармерия ждать себя не заставит.

И все-таки я ушел не сразу. Попрощаться со шрамом плосконого – именно это я и собирался сделать. Именно это я и сделал. Незадолго до аварии Тома слегка приспустил стекло, и теперь сквозь него темнела щека с бледным шрамом. Довольно изящный вензель, напоминающий латинскую «V». Легкий росчерк, галочка в графе – «дело сделано».

Увидев меня, Тома притих.

– Эй, ты... Помоги мне...

Нет, «V» была не столь совершенна, как могло показаться на первый взгляд. Что-то мешало ее целостному восприятию.

– Помоги, слышишь, собака... Помоги мне выбраться...

Маленький отросток, идущий от одного из двух стволов, как будто шрам не только утвердился на щеке Тома, но и выпустил маленький корешок.

– Так и будешь стоять? Помоги...

Я здорово ударился головой, никаких сомнений. Отросток прямо на моих глазах удлинился, превратился в довольно прочную перекладину и соединил обе части шрама. От почти фотографического сходства с «V» и следа не осталось. Теперь это...

– Неужели бросишь меня здесь, сволочь?.,
...теперь это больше напоминало перевернутую «A».

«Ars Moriendi», только без налета готики. Я здорово ударился головой. «Ars Moriendi», искусство умирания, но я знал точно – Тома не умрет. Я откуда-то знал это.

Осыпаемый проклятиями, я покинул место аварии, стараясь идти как можно быстрее. Боль в боку подгоняла меня, она тащила меня на поводке и лишь спустя несколько сот метров заставила остановиться. Присев на корточки у чахлого деревца, я проводил глазами машину «Police-Secours», вовремя они подоспели. Во всяком случае, теперь за судьбу Тома можно не волноваться. Кровоточащий бок – самое время подумать о нем. Вряд ли поблизости обнаружится аптека, а если и обнаружится, я, при самом благополучном раскладе, поцелую замок на двери, не пилить же на Елисейские поля, в круглосуточную. Вяло поразмыслив над ситуацией, я стянул с себя безнадежно испорченную рубаху, за ней

последовала футболка со срезанной этикеткой «Fendi», на бок, залитый кровью, лучше не смотреть. Так, не глядя на сочащуюся кровь, я проделал еще несколько нехитрых манипуляций: порвал футболку на полосы, зафлажковал рану собственными носками и, как мог, сделал себе перевязку. Не бог весть что, но до дома добраться можно.

...Я ввалился в квартиру ровно через час и, как подкошенный, упал в прихожей.

И лишь еще спустя полчаса нашел в себе силы, чтобы подняться. Порез не был глубоким, финка вошла в тело сантиметра на полтора, но боль от этого не становилась меньше. Я извел на рану весь имеющийся в наличии йод, предварительно продезинфицировав ее всем имеющимся в наличии виски. После чего оставалось заклеить ее пластырем.

И отрубиться до утра.

Напрасный труд, только идиот может рассчитывать на сон в моем положении. А если я и засну, неизвестно, что мне приснится. Бадди и его подручного я не боялся вовсе, даже два стальных ножа в спине у Нигера не произвели на меня должного впечатления. Шрам на щеке Тома, видоизменившийся прямо у меня на глазах, тоже можно было списать на последствия аварии. Оставалась тайна запаха, уж не ее ли разгадку я боюсь подсмотреть во сне?

Запах.

Он никуда не делся, он сидел на цепи и послушно подал голос по первому моему зову. Не очень-то я поверил такой отзывчивости, памятуя о его первом, толстомордом хозяине. Сейчас жженный мед на пару с ветивером лижут тебе руку, а завтра эту же руку и откусят. Все еще морщась от боли в левом боку, я достал блокнот, купленный в букинистическом Бабетты, и раскрыл его. Чем я хуже Франсуазы Саган, в самом деле?.. Нет, я не собирался описывать произошедшее, напротив, мне поскорее хотелось забыть и потрепанные ступни Бадди Гая, и гортанные вопли Тома. Занести в реестр все компоненты запаха – вот чего я хотел на самом деле. В моей первой тетради ароматы существовали отдельно друг от друга, строго пронумерованные и закрытые в вольерах страниц. Не особый любитель секса, я не давал спариваться и им. Быть может, зря, кто знает.

Но теперь все будет по-другому.

Блокнот на проверку оказался самым обычным ежедневником, датированным, однако, все тем же 1968. Вряд ли это могло послужить знаком, разве что для самой Бабетты, слившейся в экстазе с «Dillinger E'Morto», – мы с Анук родились гораздо позже. А книга, унесенная в изъеденном блохами-почитательницами клюве Ронни Бэрда, и вовсе не поддавалась никакой хронологии. Да и черт с ним, шестьдесят восьмой, так шестьдесят восьмой. Вот только до меня ежедневник уже кому-то

принадлежал. И этот кто-то старательно пометил его. На первой странице, в правом углу, я прочел:

Thierry Francois.

Интересно, кто такой этот Тьерри Франсуа и что он поделявает сейчас? Тогда, в шестьдесят восьмом, неизвестный мне Тьерри бурной деятельности не разводил. Да и вообще пребывал в анабиозе, если судить по нетронутому ежедневнику. А почерк Тьерри оказался чем-то похож на мой собственный, но не очертаниями букв, а манерой их написания: видимый нажим в начале слова сменяла некая апатия в его конце. Ну что ж, Тьерри Франсуа, Гай Кутарба приветствует тебя! И воспользуется твоей вещичкой, если ты не возражаешь. Некоторое время я все еще зависал над именем, а потом промахнул добрую треть ежедневника и остановился на сегодняшней дате.

13 мая.

13 мая 1968 года приходилось на понедельник, и это хоть отчасти объяснило плачевный финал тени Бадди Гая. И вызвало у меня грустную улыбку. Прямо под датой я записал в три строки:

Зеленый мандарин, лотос, магнолия, цветок абрикоса.

Гиацинт, жимолость, ветивер.

Жженный мед, кедр, лакрица.

И только потом заметил еще одну запись, сделанную тем же почерком, что и имя на первой странице, упор на первые буквы и полное

пренебрежение к последним:

Salamanca?..

Слово красовалось на примыкающей к «13 мая» странице, это был хвост 12 мая, самая верхняя строка, и мне потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, что Саламанка – это провинция в Испании и, кажется, город с тем же названием. Это единственное, что удастся выудить из недр памяти, подающим надежды интеллектуалом меня не назовешь. Уж не собирался ли Тьерри Франсуа отчалить в Испанию? В любом случае он уже давно сделал это, или не сделал, отложил до лучших времен, а потом и вовсе забил болт – кого волнуют события тридцатилетней давности?..

...Зачем я соврал Бабетте?

Я ведь не знаю ни слова по-испански, кроме «Hola»¹³, Испанию посещал лишь однажды, с коллекцией Мари-Кристин, и Мадрид прошел мимо меня, затерялся в черно-белом геометрическом орнаменте на джемперах. Зачем я соврал Бабетте? Один из ее многочисленных дружков был испанцем, она сама сказала мне об этом; испанцем, бежавшим от Франко. Наверняка прогрессивным молодым человеком левых взглядов, и верховным божеством в его тотеме числился Мао-Цзэ-Дун, отрастивший троцкистскую бороденку. Наверняка он нашептывал Бабетте что-то страстное, если не о мировой революции, то хотя бы о ее дивной правой груди, так похожей на мяч для игры в регби (левая, как и его собственные взгляды, вообще никаким сравнениям не поддается). Он нашептывал это, и нашептывал преимущественно на испанском. А Бабетта явно принадлежит к тем женщинам, которые никогда и ничего не забывают. И время от времени подкармливают воспоминания, чтобы они не захирели.

Зачем я соврал ей?

Но отступать было поздно, Кристобаль так Кристобаль, ворковать ей на ухо о ее же увядших прелестях я не собираюсь.

...Я появился в букинистическом за пять минут до закрытия. Целый день я провалялся в постели, попеременно прислушиваясь то к боли в боку, то к

собственным ноздрям, у которых бродил запах. Я все еще не мог поверить, что приручил его. Но факт оставался фактом: щенок, в шерсть которого были вплетены магнолия и лотос, привык ко мне. Оставалось только придумать кличку, конструкция из десяти слов (зеленый мандарин лотос магнолия цветочка брикоса гиацинта) выглядела чересчур громоздкой. По зрелом размышлении, можно было назвать его Бадди, но перед глазами тут же всплыли растрескавшиеся пятки нигера и дешевые перстни на толстых корявых пальцах. Нет, Бадди не подходил категорически, «Раколовка», этот филиал свободной от оков Африки, тоже не вызвала у меня энтузиазма. Оставался еще один вариант, датированный двенадцатым мая 1968 года.

«Саламанка».

Почему я остановился на выцветших чернильных мечтах Тьерри Франсуа (или это был постскрипtum к путешествию, такой же выцветший)? Просто потому, что Саламанка оказалась на соседней – воскресной – странице, а если хоть что-то находится рядом, идет стык в стык – на это стоит обратить внимание. Мне ли и, сиамскому братцу с зеркальным шрамом на затылке, не знать об этом? Жаль только, что Анук никогда не придерживалась подобной точки зрения...

Как бы то ни было, имя для запаха было найдено. И довольно легко прижилось. Теперь стоило мне

только произнести его про себя, как запах тут же принимался щекотать ноздри, хороший мальчик, ничего не скажешь.

К вечеру боль утихла, и я решил не откладывать свидания с Бабеттой в долгий ящик. Чем быстрее я встречусь с ней, тем быстрее получу информацию об «Ars Moriendi». И тем быстрее забуду свою вздорную попытку стать испанцем.

...Букинистический встретил меня той же гробовой тишиной, что и накануне, ни единого посетителя, какой волной сюда могло прибить Кении Дорхэма с Майклом Фрэнксом, не говоря уже о погремушке Энди Уорхолле и богемно-мосластой Аманде Лир, – уму непостижимо!.. Бабетта скучала за прилавком с книжкой Дюрренматта в руках. Что ж, старый конь борозды не испортит, настораживает только немецкое издание. «Дюрренматт» по-немецки я еще осилил, но само название книги так и осталось тайной. Хорошо еще, что Бабетте не пришло в голову вооружиться Гарсиа Лоркой! Кажется, он часто отдавал дань колоколам (к колокольчику на дверях букинистического это не относится).

И тем не менее колокольчик звякнул, и Бабетта оторвала глаза от книжки.

– Кристобаль, – проворковала она. – Вы пришли, Кристобаль!

– Hola, – небрежно бросил я.

Бабетта послала мне обворожительную улыбку,

лет тридцать назад за одну такую улыбку можно было бы без сожаления отдать весь Rive Gauche¹⁴ с гнойником Сорбонны, да еще и приплатить за это. В ходовой валюте шестьдесят восьмого.

— Hola, — тут же подхватила Бабетта. — Если хотите, мы можем говорить с вами на испанском.

Только этого не хватало, вот ведь чертова полиглотка!

— Нет, лучше на французском... Я практикуюсь в языке, и мне хотелось бы...

— О, — Бабетта перебила меня самым бесцеремонным образом. — Лучшего учителя, чем я, вы не найдете! А моему терпению может позавидовать и Христос...

Ссылка на Христа тотчас же выдает в Бабетте нераскаявшуюся грешницу. Хотелось бы верить, что ее мысли насчет затерянного в Париже простачка Кристобаля гораздо менее греховны.

— Что вы читаете? — поинтересовался я.

— Скорее перечитываю, — Бабетта как будто ждала этого вопроса. — Дюрренматт. «Судья и его палач».

Хорошее название, хотя оно ни о чем не говорит мне. Кроме того, что на свете существуют судьи и палачи. Ни на одну из этих ролей Анук не подходит.

— Хорошее название.

— У меня в запасе есть еще одно, и оно тоже вам понравится, Кристобаль. Если уж вам понравилось это.

Неужели «Ars Moriendi» будет отдан мне вот так, за здорово живешь, без чашки кофе, без коньяка и без свидетелей в лице польского работяги-нелегала?.. Но спустя секунду выясняется, что я раскатал губу напрасно.

– «Лифт на эшафот», Кристобаль.

– Тоже Дюрренматт?

– Луи Малль. У меня два билета во Французскую Синематеку, сеанс через час. Вы не составите мне компанию?

Два билета, ясно. Интересно, кому бы достался второй, если бы я не пришел?..

– Да, конечно.

– А перед сеансом можно будет где-нибудь посидеть.

– Да, конечно.

– Вы подождете меня на улице, Кристобаль? Желтый «Фольксваген-жук», он припаркован на противоположной стороне. Возьмите ключи.

«Жучок» на противоположной стороне улицы, я видел его, когда заходил в букинистический, подержанная малолитражка, такая же подержанная, как и сама Бабетта. О том, чтобы «где-нибудь посидеть» перед сеансом, не может быть и речи – пробки на улицах чудовищные. Так что в лучшем случае мы проведем это время в машине, у меня будет возможность изучить профиль Бабетты, до сих пор я не обращал на него внимания.

...В салоне пахнет залежавшимися марципанами, сухим бисквитом и, как ни странно, спермой. Запах нерезкий, больше похожий на воспоминание, вернее, на цепочку воспоминаний, звенья которой перепутались и соединены кое-как, в произвольном порядке. Неизвестно, что было раньше, – бабушкин бисквит (утешительный приз за сбитые детские коленки) или секс-игры на заднем сиденье. В ту пору, когда «жучок» едва вылутился из кокона и поскрипывал новыми протекторами. А может, марципаны следовали непосредственно за сексом, на том же заднем сиденье, кто знает?..

«Ralph» от Ральфа Лорена.

Это Бабетта, она уже заняла свое место за рулем. Точно такими же духами пользуется Николь, секретарша Мари-Кристин, в двадцать лет это простительно. В «Ральфе» есть все, что подменяет двадцатилетним жизненный опыт и делает их значительными в собственных глазах. Вот только причем здесь Бабетта?

– Меня зовут Линн, – сказала Бабетта, когда «Жучок» одолел несколько кварталов и свернул на бульвар Сен-Жермен.

Следующая реплика последовала, когда мы пересекли бульвар Распай.

– «Линн, русалка и немножко бонна». Вы читали «Монток» Фриша, Кристобаль?

Если Бабетта-Линн скажет сейчас, что

неизвестный мне «Монток» неизвестного мне Фриша навеян ее шиньоном, я нисколько не удивлюсь. На русалку Линн похожа мало, разве что на бонну с хорошими рекомендациями и хорошо развитой грудью, до краев наполненной просветительским молоком. И немецкими артиклями.

– Нет. Не читал.

– Я на вашем месте тоже бы не читала. Писатели не должны читать друг друга. Они должны читать женщин, сны, линии на ладонях, но только не друг друга.

– Это совет? – улыбаюсь я.

– Предостережение, – улыбается Линн, русалка и немножко бонна.

– Хорошая книга?

– Слишком откровенная, чтобы нравиться.

На лицо Линн набегает тень, как будто этот чертов «Монток» не что иное, как путешествие по изгибам ее тела, слишком откровенное, чтобы нравиться. Как будто в изгибах ее тела есть что-то такое, что она хотела бы утаить. Возможно, лет через тридцать, когда моя собственная молодость станет самой большой моей тайной, я и смогу понять Бабетту-Линн.

– Куда мы едем, Линн?

– Во дворец Шайо, это на площади Трокадеро. Вы когда-нибудь были в Синематеке, Кристобаль?

Я предпочитаю фильмы на видео, но рюкзак

Анук... Рюкзак, в котором не продохнуть от корешков билетов в кино. Возможно, что-то главное прошло мимо меня. Анук нравятся киношки, наверняка она уже посещала Синематеку, наверняка. Стоит мне подумать об этом, как шрам на затылке снова начинает гореть. Или я подумал об этом только потому, что шрам начал гореть?..

– Нет. Никогда.

– А я люблю там бывать. Покупаю абонемент на старые детективы.

– Старые?

– Старые для вас, – снова улыбается Линн. – Шестидесятые. Семидесятые. Давно забытые...

Неизвестно, к чему это относится, к самим детективам или ко времени их создания, уточнить Линн забыла. Или ей помешало такси, ловко нас подрезавшее.

– Вот скотина!.. – Линн совсем по-детски показывает средний палец таксисту. – Давно забытые, Кристобаль. И черно-белые. Детективы и должны быть черно-белыми.

– Вы полагаете?

– Конечно. – Ежедневное общение с книгами – черное на белом – не прошло для Линн бесследно. – Тогда неясно, какого цвета кровь, и детектив становится всего лишь загадкой, не более. Детской загадкой.

Иногда детские загадки бывают самыми

страшными. Интересно, знает ли об этом Линн?

– А этот ваш «Лифт на эшафот»?

– Это тоже детектив. И тоже черно-белый. С Жанной Моро, там она совсем молоденькая. Вам нравится Жанна Моро?

Очевидно, Линн имеет в виду молоденькую Жанну Моро, нравиться могут только молоденькие женщины. У меня же в памяти сразу всплывает почти старуха, давно махнувшая на себя рукой, я как-то видел ее на показе: морщины, по-мужски крупные и по-юношески застенчивые, «это Жанна Моро, актриса», сказала тогда Мари-Кристин.

– Не знаю, нравится ли...

– Ну конечно, – в голосе Линн звучит легкая укоризна. – Нравиться могут только молоденькие женщины. Ванесса Паради, да?

А вот и нет, Линн, вот и нет. Я равнодушен к молоденьким женщинам, равно как и к женщинам постарше, исключение составляет лишь Мари-Кристин, просто потому, что исключения из правил существуют всегда. Я равнодушен к молоденьким женщинам, Анук не в счет. Любые критерии теряют смысл, когда дело касается Анук.

– Нет, Линн. Мне не нравится Ванесса Паради.

– Вы чудный молодой человек, – Линн даже прибавляет скорость. – Говорить с вами – одно удовольствие. Хорошо, что вы появились.

– Вы обещали рассказать мне о книге. Об «Ars

Moriendi».

– Конечно, Кристобаль. После сеанса, хорошо? Поужинаем где-нибудь? Если вы не торопитесь...

– Я не тороплюсь.

Я ждал известий от «Ars Moriendi» долго, слишком долго, много лет. Так что пара часов никакой погоды не сделает.

...Зальчик, откуда должен стартовать «Лифт на эшафот», выглядит довольно уютно. Народу совсем немного, но и среди него попадаются интересные человеческие типы. Первая мысль, которая приходит в голову: вряд ли их можно встретить где-нибудь еще, кроме этой дурацкой синематеки. Лица без возраста, волосы без седины, а если седина и присутствует, то акцент делается именно на ней.

Все по-киношному преувеличенно.

Линн устраивается в кресле и кладет руку на подлокотник. Наши плечи почти соприкасаются, и это не очень нравится мне. И это не нравится Линн – именно потому, что между нами все-таки существует «почти». Оно включает в себя и разницу в тридцать – а то и больше – лет, о которой Линн хотелось бы забыть. Ей вообще хотелось бы забыть о возрасте, и дело тут не только во мне, но и в старых детективах: наверняка Линн ходит сюда, чтобы посмотреть на себя глазами их сюжетов, наверняка. Ведь сюжеты остались неизменными, а это иногда вселяет несбыточную надежду в сердце.

Линн молчит.

Я тоже молчу, до начала сеанса осталось несколько минут, начинать разговор бессмысленно. Чтобы не пялиться в пространство перед собой, я принимаюсь исподтишка рассматривать руку Линн, лежащую на подлокотнике. Когда-то она была красивой, никаких сомнений, теперь же ей остается утешать себя ухоженностью ногтей и бесцветным лаком. Теперь суставы уплотнились, фаланги размякли, а пигментные пятна и вовсе ничем не заретушируешь. На безымянном пальце Линн посверкивает одинокое кольцо, почему я не обратил на него внимания раньше, оно того стоит, честное слово!

Кольцо кажется почти квадратным, старинное серебро с какими-то насечками, довольно сдержанное, никакого сравнения с позолоченными дешевками Бадди.

Кольцо царствует на руке, ревниво царствует, никаких других колец представить рядом невозможно. Я стараюсь разглядеть надпись на передней, выдающейся вперед стенке, но ничего не получается. Для того чтобы прочесть ее, мне пришлось бы поднести руку Линн к своему лицу. А это может быть неправильно истолковано, хотя поднести к лицу руку Линн хочется неудержимо. Меня спасает вспыхнувший экран, сеанс начался.

Но никакого черно-белого «Лифта на эшафот» нет

и в помине. Я вижу перед собой мелькающие цветочные пятна, а музыка на титрах кажется знакомой. Я слышал ее совсем недавно, один из тех мотивчиков, которые невозможно воспроизвести, но которые прочно застревают в голове. Вокализ, мужской и женский, что-то легкомысленное, в короткой юбчонке, в подстреленных брючатах, проклятье!..

«Dillinger E'Morto»!

Этого просто не может быть, говорю я себе. И тут же вспоминаю, что «Диллинджер» значился в афишке Французской Синематеки, которую я изучал в букинистическом. Быть может, Линн просто спутала залы?

— Мы попали на тот сеанс? — осторожно интересуюсь я у Линн.

— Ну конечно, Кристобаль, — таким же осторожным шепотом отвечает мне Линн.

— Это и есть «Лифт на эшафот»?

— Конечно. Что-то не так?

Лучше бы мне заткнуться, не хватало еще не ко времени выскочить с «Диллинджером», Линн наверняка примет меня за сумасшедшего. То, что происходит сейчас со мной, — еще большее сумасшествие, к тому же начинает ныть залепленный пластырем бок, и нестерпимо хочется почесать левую щеку, как раз в том месте, где прижился шрам у плосконого Тома. Прижился и пустил корни. Мой

же собственный шрам снова заворочался под волосами.

Хорошо, что его никто не видит. Даже я сам. Я составил о нем представление, исходя из шрама Анук, но кто может поручиться, что Анук и здесь не обвела меня вокруг пальца?

– Нет-нет, все в порядке...

Линн, не отрываясь, смотрит на экран.

Я и сам хотел бы смотреть на экран с таким же вниманием, но меня подташнивает от одного только вида Мишеля Пикколи или как там его. В какой-то момент наши с Линн плечи смыкаются – и это тот самый момент, когда изображение на несколько минут становится черно-белым: документальные кадры с гангстером Диллинджером. Диллинджер и его смерть. Диллинджер и его кровь, неясно, какого она цвета, все именно так, как предсказывала Линн. Если неясно, какого цвета кровь, то ее вообще можно сбросить со счетов.

Диллинджер выглядит красавчиком и держится молодцом, трудно представить, что это лицо ушло в небытие в конце двадцатых, для таких лиц не существует времени. А уж на съемку «фас-профиль» в полицейском участке им и вовсе наплевать. Я вдруг ловлю себя на мысли, что завидую лицу Диллинджера. В нем есть что-то такое, чего никогда не будет в моем собственном. Что-то такое, что обязательно понравилось бы Анук. Я знаю это точно,

безнадежно точно, недаром мы с Анук провели девять месяцев в одном животе, затылок к затылку.

Шрам продолжает гореть.

Диллинджера снова сменяет Мишель Пикколи, и меня снова начинает тошнить. Лучше закрыть глаза, чтобы не видеть, как лысоватый буржуа, пунктуально сверяясь с поваренной книгой, готовит себе мясо. И я закрываю глаза, сосредотачиваясь на запахе «Саламанки», еще днем у меня это получалось – и довольно неплохо. Во Французской Синематеке что-то не срабатывает.

Нет, запах и сейчас во мне, он никуда не ушел, я знаю это точно. Но что-то мешает ему выйти наружу, приблизиться к ноздрям, интересно, чего он испугался?..

– Ну как киношка? – слышу я шепот позади себя, Бог мой, ради этого шепота можно было бы совершить не только культпоход в Синематеку с Линн, но и отправиться в Кению с Бадди Гаем и Тома. В Кению, Танзанию, Буркина-Фасо, в Аризону или в Гарлем, названия принципиального значения не имеют.

Шепот принадлежит Анук.

Ботинки тоже принадлежат Анук, она устроилась позади нас и забросила ноги на спинку ближайшего ко мне пустого сиденья. Ботинки почти касаются моего лица, я вижу тупые сбитые носы, но рисунок подошв выглядит неповрежденным, можно даже

различить надпись «Camelot», света с экрана вполне достаточно.

— Привет, — шепотом отвечаю я, с трудом подавляя желание прижаться щекой к ботинкам Анук. — Откуда ты знаешь, что я...

— Хочешь поп-корна?

Удержаться от искушения повернуть голову невозможно. Ведро с воздушной кукурузой скрывает свитер Анук и часть подбородка, хорошо видны лишь нос и глаза, света с экрана вполне достаточно. Прежде чем утонуть в них, прежде чем в них захлебнуться, я вдруг замечаю, что они на секунду потеряли цвет. Так долго преследовавший меня фиалковый цвет, ни на какой пленке, даже самой чувствительной, его не зафиксируешь. Глаза Анук теряют цвет, но лишь на секунду; лишь на секунду они становятся черно-белыми. Секунды явно недостаточно, чтобы разглядеть в зрачках молоденькую Жанну Моро, но вполне достаточно, чтобы понять: это — молоденькая Жанна Моро, никто иной.

Линн не спутала залы.

Все дело во мне. И в Анук. Интересно, как ей удалось повернуть все это? Как ей удалось поймать меня на крючок «Диллинджера», ну почему я все время забываю, что с Анук нужно держать ухо востро? Киношка — ее поле, но мы и так всегда играем на ее полях, заросших болиголовом, а теперь еще — и киношка. Кипа билетов в рюкзаке, «Batofar»,

«Accatone», «L'Arlequin», «L'Entrepot», «Le Balzac», «Le Champro», «Le Grand Rex»¹⁵, я должен был сообразить, что к чему, Анук всегда дает фору. Анук всегда оставляет шанс.

Мой единственный шанс увидеть хоть что-нибудь, кроме «Диллинджера», – прилепиться к зрачкам Анук. И тогда «молоденькая Жанна Моро» не пройдет мимо меня. И молоденькая Миу-Миу не пройдет мимо меня. И молоденькая Изабель Аджани. И Мирей Дарк, тоже молоденькая. Впрочем, пусть проходят, в гробу я всех их видел.

– Соленый или сладкий? – спрашиваю я. Задавать этот вопрос бессмысленно, Анук обязательно выберет что-нибудь третье.

– Никакой. Полное дерьмо этот поп-корн. Хочешь?..

– Хочу.

Мой единственный шанс соприкоснуться с рукой Анук – сунуть свою руку в ведро с лущеной кукурузой, может быть, мне повезет.

Мне не везет.

Рука Анук, как всегда, ускользает. Я хватаю пальцами лишь горсть поп-корна, апофеоз американской гастрономической мысли, ничего не скажешь.

– Ну как киношка? – снова интересуется Анук.

– Так себе, – осторожничаю я. Признаться Анук в близких контактах с «Диллинджером» выше моих

сил. — Не люблю смотреть детективы. Особенно черно-белые.

— Тогда смотри на свою девушку, она у тебя симпатичная.

Я готов сквозь землю провалиться, пробить башкой пол в зальчике Французской Синематеки, да еще прихватить с собой пару кресел и, безусловно, Линн, бес меня попутал связаться с престарелой обольстительницей. «Лифт на эшафот» — это как раз мой случай, дверцы уже распахнуты, осталось только войти в кабину и нажать кнопку нужного этажа. Позавчера — Мари-Кристин, сегодня — «русалка и немножко бонна», что подумает обо мне Анук? Ты совсем не в себе, бедный мой сиамский братец.

— Действительно симпатичная, — в голосе Анук не слышится ни иронии, ни насмешки, странно.

С трудом оторвавшись от ботинок Анук, я скашиваю глаза на руку Линн, она все еще на подлокотнике, она лежит там с начала сеанса. Она все еще на подлокотнике, но что-то неуловимо изменилось. Совсем незначительная деталь, совсем незначительная, — как в примитивном психологическом практикуме, которым так любят баловать себя журналы для бедных домохозяек, — «найди десять отличий».

На безымянном пальце Линн больше нет кольца.

Отличие номер один — на безымянном пальце Линн больше нет кольца.

Отличие номер два – это не рука Линн.

Отличие номер три – это не Линн.

Если это не Линн – тогда почему я не заметил, как она ушла? Она не могла уйти, все это время наши плечи соприкасались, я бы почувствовал малейшее движение, наши плечи почти соприкасаются и сейчас. Она не могла уйти – так же как рука на подлокотнике не может принадлежать той Линн, которая затащила меня в Синематеку. Это рука молодой девушки, хотя ногти уже не выглядят такими ухоженными, они могут себе это позволить. Теперь.

Мне нужно успокоиться. Или окончательно поверить в то, что я сошел с ума, а к этому я явно не готов. В пользу версии «я сошел с ума» говорит одежда девушки. Точно такая же была на Линн: белая блузка с открытым воротом, кашемировая кофта теплых тонов и черная юбка солнце-клеш, Линн все еще поддерживает почти затухший вечный огонь шестьдесят восьмого. Она – единственная, кто его поддерживает. Есть еще бусы, крупный необработанный янтарь. Единственное предназначение янтаря (так мне казалось еще час назад) – замаскировать морщины на шее Линн.

Теперь мне так не кажется.

Шея девушки, сидящей рядом со мной («мне нужно успокоиться» – это не Линн; «я сошел с ума» – это Линн), почти совершенна, она кажется взятой напрокат у Ингеборг Густаффсон, ведущей модели

«Сават и Мустаки», терпеть не могу эту суку.

Я сошел с ума.

Прическа девушки, сидящей рядом со мной, тоже кажется взятой напрокат – но теперь уже у самой Линн, Линн часовой давности. Конечно, час назад волосы были не такими пышными, не такими блестящими, но это – та самая «бабетта».

Я сошел с ума.

Света с экрана вполне достаточно, он обволакивает профиль девушки: чистая линия невысокого лба (лоб у Линн часовой давности был гораздо выше); слегка вздернутый маленький носик, пухлые губы (губы у Линн часовой давности вовсе не были такими пухлыми); мне нужно успокоиться.

Мне нужно успокоиться.

– Что случилось, Кристобаль?..

Девушка поворачивается ко мне, проклятье, ей лет двадцать, никак не больше, теперь она кажется мне дочерью Линн, сходство не вызывает сомнений. Так же, как не вызывала сомнений поддельная фотография нашего с Анук отца, оказавшаяся впоследствии фотографией американского актера Монтгомери Клифта.

– Что-то не так?..

Ничего особенного не случилось, малышка Линн, я просто сошел с ума.

Смотреть на юную Линн нестерпимо. Анук, вот кто приведет меня в чувство. В крайнем случае,

ботинки Анук, они все еще заброшены на спинку соседнего со мной сиденья. С Анук все выглядит естественным, более того – единственно возможным.

На ботинки Анук налипла трава и лепестки цветов, а по правому – ближнему ко мне – тупому носу «Камелотов» ползет улитка. Я вижу влажный след, который она оставляет после себя, света с экрана вполне достаточно.

– Стоит только найти лягушку, и все сразу встанет на свои места.

Голос Анук убаюкивает меня, это тоже выход – замереть, заснуть, пусть мне приснится юная Линн без кольца на пальце. И я даже не вспомню о старой Линн – с кольцом.

– Причем здесь лягушка, Анук?

– Лягушки жрут слизняков, – меланхолично говорит Анук. – Терпеть не могу слизняков.

Анук не делает ровным счетом ничего, чтобы стряхнуть улитку с ботинка, и слизняк благополучно перебирается на левый нос «каamelота», украшенного виноградным листом. В то дождливое лето на винограднике было полно улиток, они прятались на внутренней стороне листьев, они свисали гроздьями, в темноте гроздь улиток можно было принять за гроздь винограда. Так говорила Анук, а мне оставалось только верить ей: я никогда не ходил на виноградник после захода солнца. Во всяком случае, в то дождливое лето.

Но лягушки не жрут слизняков.

– Лягушки не жрут слизняков, Анук...

– Жрут.

Убеди меня в этом, Анук. Никаких особых аргументов не требуется. Просто положи мне ладонь на затылок, там, где шрам, – просто положи, и я поверю во что угодно. В то, что лягушки жрут слизняков, в то, что рядом со мной сидит двадцатилетняя Линн; в то, что фильм, который идет сейчас, и есть «Лифт на эшафот». И в то, что «Жанна Моро, актриса» была когда-то «молоденькой Жанной Моро».

Это ведь не составит для тебя труда, Анук. Просто положи ладонь.

– Это неважно, Гай, – голос Анук прячется в шелесте поп-корна, так же, как улитки из нашего детства прятались на внутренней стороне виноградных листьев. – Это неважно. Стоит только найти лягушку, и все сразу встанет на свои места.

Иди ты к черту, Анук, моя девочка.

«Терпеть не могу слизняков», – уж не ко мне ли это относится?.. Иди ты к черту.

Я поворачиваю голову в сторону Линн, юной Линн. Линн поглощена фильмом, зная бы, кому она так сопереживает. В моем фильме сопереживать некому, разве что спящей дуре-блондинке, жене Мишеля Пикколи, или как там его. Но сопереживать спящим – последнее дело. Чтобы им ни приснилось –

это всего лишь сон. Интересно, как выглядит смерть, если она приходит к тебе во сне?.. Наверняка это что-то несущественное, что-то такое, о чем сразу забываешь. Или делаешь вид, что забыл. Волчок, бывший когда-то предсердием часов, подойдет для этого как нельзя лучше.

Анук не снилась мне ни разу, хотя я постоянно думаю о ней. Мне снились ее сны, это да. Но сама Анук никогда не утруждала себя личным присутствием. Даже Французской Синематеке в этом отношении повезло больше, единственный вывод, который можно сделать, – Анук сюда захаживает. Покупает поп-корн (монеты из рюкзака для этих целей не подходят, но вполне возможно, что Анук расплачивается именно ими; если уж Линн выглядит двадцатилетней, то почему бы какому-нибудь песо не прикинуться франком – в руках Анук?).

Анук покупает поп-корн и устраивается на любом ряду. И забрасывает ноги на спинку сиденья – точно так же, как сейчас.

Едва подумав об этом, я вдруг понимаю, что Анук за моей спиной больше нет. И я, как всегда, оказываюсь к этому не готов. Не очень-то вежливо оставлять женщину, с которой пришел в кино, прямо посреди сеанса, но – если дело касается Анук – ни о какой вежливости и речи быть не может. И речи быть не может, чтобы извиниться перед типом в кургузом пиджаке и футболке, которому я едва не отдал

ноги. Тип оккупировал крайнее в ряду кресло, кургузый пиджак выдает в нем любителя «jazz afro-latino», а футболка – страсть к сиесте в гостиничном номере без кондиционера. И к женщинам с универсальным именем «Мария». Под ногами у меня то и дело слышится хруст: улитки, ничего другого мне в голову не приходит.

Анук нигде нет.

Все как обычно.

Анук нигде нет, но и возвращаться к Диллинджеру не хочется. Я выкуриваю сигарету в туалете, обдавая дымом собственное отражение в зеркале. Ничего нового я в нем не нахожу, Анук не может изменить меня, как Линн или монеты из рюкзака, я ей не по зубам, бедный сиамский братец. Но торжество длится недолго, кто знает, какие сюрпризы может преподнести Анук, с ней ни в чем нельзя быть уверенным. Почти раздавленный этой мыслью, я плетусь обратно в зал и застаю Мишеля Пикколи в тот самый момент, когда он пытается сунуть дуло раскрашенного револьверчика себе в рот. Знаем мы эти штучки, пуля, которую ты собираешься выпустить в себя, обязательно прикончит кого-нибудь другого.

Я предупредителен с типом в кургузом пиджаке (афро-латинский джаз может согреть душу кому угодно); пардон, мсье, мне нужно пройти на свое место. Тип цыкает зубом и извлекает из закопченных недр трахеи странное звуковое сочетание, что-то

похожее на «kothbiro», – в жизни не слышал такого слова: ни в осуждение, ни в оправдание. Возможно, женщины с универсальным именем «Мария» разбираются в подобных – странных – звуковых сочетаниях лучше меня.

Еще более предупредителен я с Линн, но не с двадцатилетней, а с той, которая привезла меня во дворец Шайо. Двадцатилетняя Линн исчезла, вместо нее я снова вижу Бабетту из букинистического, единственное предназначение бус из янтаря – скрывать морщины на ее шее.

Я благодарен постаревшей Линн за то, что наваждение закончилось, – и в знак благодарности легонько жму ее руку. Линн отвечает таким же легким пожатием, ничего, кроме сожаления, в нем нет. Сожаления о давно ушедшей молодости, о безветренном дне где-нибудь в окрестностях Сен-Мало или Довиля, интересно, что поделывает сейчас корзина для пикника, которая сопровождала Линн в окрестности Сен-Мало или Довиля?.. Ни один вымпел на спасательной вышке не вздрогнет, ни одна песчинка не сдвинется с места, солнце повисло в зените, – молодость всегда кажется одним безветренным длинным днем.

Сеанс окончен.

– Вам понравился фильм, Кристобаль?

– Очень, – вдохновенно вру я.

– Я рада.

Но никакой особой радости на лице Линн незаметно. Напротив, она явно чем-то обеспокоена.

— Что-нибудь случилось, Линн?

— Кольцо... Я потеряла кольцо.

Я перевожу взгляд с расстроенного лица Линн на ее расстроенную руку — туда, где совсем недавно обитало кольцо. Теперь на безымянном пальце остался лишь след от него: светлая полоска кожи.

— Вот черт, — я пожимаю плечами. — Давайте его поищем. Как оно выглядит?

Жалкие уловки, я прекрасно знаю, как выглядит кольцо.

— Белое серебро, — Линн готова хлопнуться в обморок. — На передней стенке — гравировка. Символы по бокам...

Битых полчаса я ползаю под креслами, то и дело натыкаясь на высохшие ноги Линн. Полчаса вполне достаточный срок, чтобы прояснилась история кольца. Оно было подарено Линн много лет назад, в день помолвки. Впрочем, Линн не совсем уверена, что это был день помолвки, но то, что день был безветренным, — за это Линн может поручиться. Линн не говорит, кто подарил ей кольцо, — явно не погибший писатель и не здравствующий министр-джазмен, и даже не испанец, бежавший от Франко. Самые важные имена никогда не произносятся вслух.

Кольца нигде нет.

— Мне нужно привыкнуть к этому, — убитым

голосом говорит Линн.

– К чему?

– К тому, что больше я его не увижу. Я тридцать лет не снимала его с пальца...

Теперь полоска на безымянном пальце Линн является мне в новом свете: все эти три десятилетия кожа под кольцом была защищена от старения, она так и осталась молодой. Бедная Линн.

– Давайте поищем еще, Линн...

– Бесполезно.

Линн падает в кресло в конце ряда (это то самое кресло, с которого я слышал афро-латинское кофейное «kothbîro») – и закрывает глаза.

– Не расстраивайтесь, Линн.

– Вы не понимаете...

– Ну хотите, я подарю вам другое кольцо?

– Какой вы милый, Кристобаль... Милый мальчик...

– Нет, правда.

Линн смотрит на меня с интересом. Именно – с интересом, ни о каком кокетстве и речи не идет. Еще несколько секунд – и она произнесет фразу на испанском, я ощущаю это физически. Бесцветные (почти как лак на ногтях) губы Линн темнеют, на пергаментные щеки всходит смуглый румянец, даже янтарь на шее выглядит иначе, чем мгновение назад: отблеск безветренного дня коснулся и его. Сейчас Линн скажет фразу на испанском, полную значения

фразу на испанском – и мне нечего будет ответить.

Я попался.

Фраза следует незамедлительно, но обращена она не ко мне, скорее – к светлой полоске на пальце. И это не испанский, как я предполагал. Это не испанский, это самый обыкновенный французский; значительным его делают темные, покрывшиеся коркой губы Линн:

– Слава богу. Наконец-то все закончилось. Наконец-то...

– Вы о чем?

– Давно нужно было от него избавиться. Но я не могла... Не могла... Все эти тридцать лет – не могла.

– Мне показалось вы очень дорожите этим кольцом.

– Я его ненавижу. – Ненависти на лице Линн нети в помине.

– Но...

– Давайте больше не будем об этом. Ни слова о кольце. И вот еще что – отметим это событие? – Кровь отхлынула от щек Линн, теперь на них явственно видны склеротические прожилки.

Линн стремительно стареет, сейчас она выглядит даже старше, чем в нашу первую встречу в букинистическом. Как будто демоны прошлого, вечно молодые демоны, так долго терзавшие ее, покинули Линн, унесли ее душу в корзине для пикника. А отправиться за ними в Довиль или Сен-Мало у Линн

не хватит пороху.

– Отметим это событие?

– Какое событие, Линн?

– Это знак, Кристобаль. Понимаете, знак. И это как-то связано с вами, с вашим появлением.

– Глупости, Линн...

– В любом случае я вам благодарна...

Мы больше не говорим о кольце. Линн преувеличенно весела, пару историй, которые уложились в отрезок от Трокадеро до музея Орсэ (Линн почему-то выбрала именно этот маршрут), можно назвать пикантными, они подходят для завтрака после первой, проведенной вместе ночи: «Ты любишь омлет по-креольски?» – «Обожаю, только побольше сладкого перца»; так вот, секс стоя, в душевой кабинке, имеет один существенный недостаток, нельзя курить, но он умудрялся курить даже в душевой кабинке, и сигарета всегда оставалась сухой, представь себе... с этой сухой сигаретой он напоминал мне самурая... Вернее, его сигарета напоминала мне самурая...

– Почему самурая, Линн? – спрашиваю я.

– Это так просто, Кристобаль, так просто. Самурай может остаться сухим во время сильного дождя – если хорошо владеет мечом. Мечом можно отражать дождевые капли, разве вы не знаете?

– Теперь знаю. – Линн с ее рассуждениями о самураях и сексе в душевой кабинке – пойманная в

сеть склеротических прожилок Линн выглядит довольно забавно.

— Иногда я думаю, что главное предназначение меча — отражать дождевые капли.

— Вы полагаете? — с историей самурайства я незнаком, но и верить Линн на слово не стоит, особенно после метаморфоз с ее лицом на сеансе во Французской Синематеке.

— Главное предназначение всегда скрыто от глаз, — хихикает Линн.

Не очень-то я доверяю слову «всегда». Анук всегда исчезает, но это не мешает мне надеяться, что когда-нибудь, рано или поздно, я проснусь чуть раньше, чем она выскользнет из комнаты.

— Главное предназначение вашего друга состояло в том, чтобы курить в душевой кабинке?

— Он курил постоянно, — в голосе Линн появляются странные нотки; кажется, эта часть прошлого до сих пор вызывает у нее удивление. — Он был просто помешан на куреве, сам делал самокрутки, без всяких там машинок. И хранил табак везде, в самых непредсказуемых местах.

Интересно, что подразумевает Линн под «непредсказуемыми местами»? Не сливной же бачок в туалете, ей-богу. И какое мне вообще дело до курящего друга Линн?

— Можно было открыть холодильник и наткнуться там на табак. На те сорта, которые ему не особенно

нравились.

– А те, которые нравились?

Те, которые нравились, он засовывал в корешки книг. Книг он не читал, но знал о них все. Был в курсе всего, что происходит под обложкой. Подозреваю, что сюжеты доставались ему в подарок, – от выкуренных самокруток. Он сам их делал, эти самокрутки... Пойдите, я уже говорила вам о них...

Самая подходящая кандидатура для манипуляций с табаком – трагически погибший приятель Линн, впечатлительный приятель Линн, не успевший стать известным писателем. Но писателей мало интересуют чужие сюжеты. Во всяком случае, те, которые нельзя безнаказанно украсть. Испанцев-леваков тоже не интересуют, не говоря уже о джазменах и министрах сельского хозяйства. Быть может, курящий друг Линн и есть тот парень, который подарил ей кольцо?.. Кольцо с безымянного пальца по-прежнему занимает меня, странно.

PARIS LOUNGE: TRANSCONTINENTAL¹⁶

— Стало быть, это и есть ваша пропавшая подруга, госпожа Масацуга?

— Да. На фото она справа. О-Сими Томомори. Вся эта история угнетает меня, господин...

— Бланшар. Дидье Бланшар.

— У французов такие дивные имена...

— Разве? Кстати, вы отлично говорите по-французски.

— Французский — моя страсть. С самого детства. И я уже около двух с половиной лет во Франции. Изучаю французскую литературу в Сорбонне. Я аспирантка.

— Это вы делали снимки?

— Да.

— Здесь стоит дата — четырнадцатое мая. Четырнадцатое мая прошлого года. Я понимаю, прошло слишком много времени...

— Слишком много... Но у меня отличная память.

— Тогда, может быть, вы вспомните точно... Когда исчезла ваша подруга?

— Двадцать второго... Да, двадцать второго мая. Я хорошо запомнила. В тот день она все-таки выкроила

для меня несколько часов. Мы собирались в галерею Же-де-Пом. Я хотела показать ей Сезара и Дебре, О-Сцми всегда интересовалась творчеством современных художников.

— Вы не уточните, что означает «выкроила несколько часов», госпожа Масацуга?

— Если честно, О-Сими было не до меня.

— Вот как?

— У нее был бурный роман. Я относилась к этому с пониманием. О-Сими заслуживала романа.

— Заслуживала?

— Я знаю О-Сими много лет. Ей не очень-то везло с мужчинами. Она слишком много работала. И слишком много мечтала. У нее не оставалось времени, чтобы по-настоящему распробовать мужчин на вкус.

— Распробовать на вкус? У вас широкие европейские взгляды, госпожа Масацуга.

— Я изучаю французскую литературу. И вы можете называть меня Омацу.

— Расскажите мне о вашей подруге... госпожа Омацу.

— Омацу. Просто Омацу. Ненавижу формальности... О-Сими работала корректором в одном небольшом издательстве в Токио. Нигде никогда не бывала. Мне с трудом удалось вытащить ее в Париж...

— Она остановилась у вас?

– Нет. Я предлагала ей остановиться у меня, но она сказала, что в гостинице ей будет удобнее. И что ей не хочется меня стеснять.

– В какой гостинице она снимала номер?

– «Ламартин Опера». Не бог весть что, конечно... О-Сими всегда была экономна.

– Но если бы она остановилась у вас, она бы сэкономила еще больше?

– Вероятно.

– Сколько вы не виделись? До того как ваша подруга приехала в Париж?

– Около полутора лет. Но мы переписывались по электронной почте. О-Сими любила писать длинные письма.

– И вас не удивило, что после столь долгой разлуки она предпочла второсортный отель вашему гостеприимству?

– Честно говоря, нет.

– Это было как-то связано с ее романом?

– Не думаю. Дело в том, что с тем молодым человеком О-Сими познакомилась уже здесь, в Париже.

– Но она все-таки остановилась в отеле?

– Ей хотелось почувствовать себя свободной. А Париж к этому располагает, как ни один другой город. Не так ли, господин Бланшар?

– Смотря о какой свободе идет речь...

– Вы ведь прекрасно меня поняли. Ей хотелось

оторваться. Пуститься во все тяжкие, как сказал бы один парижанин, мой близкий друг.

— Ваши взгляды еще шире, чем я думал, госпожа Масацуг... Омацу.

— Моя специализация — французский бульварный роман. А это накладывает отпечаток на образ мыслей, согласитесь.

— Да. Это многое объясняет. Значит, вы должны были встретиться двадцать второго мая?

— О-Сими позвонила мне на сотовый. Накануне, двадцать первого вечером. Назначила встречу и сказала, что должна сообщить что-то очень важное.

— Что именно?

— Она так и не уточнила. Но я догадывалась, что она имеет в виду. Думаю, это касалось ее романа.

— Собиралась сообщить вам, что выходит замуж?

— Знаете, господин Бланшар, я бы не удивилась и этому. Но, возможно, речь шла просто об обручении. Обручиться — это так по-хорошему сентиментально. Ни один брак с этим не сравнится. Брак — вещь циничная.

— То есть вы бы не удивились такой скоропалительности?

— Этот город сводит с ума. А именно легкого безумия О-Сими всегда не хватало. Она была чересчур правильной, чересчур робкой, чересчур зажатой. Серой мышью, как сказал бы один парижанин, мой близкий друг.

- Издержки воспитания?
- Скорее, черты характера. О-Сими всегда проигрывала. О, она умела элегантно, со вкусом проигрывать. А это – большое искусство.
- В чем же оно выражалось?
- Вкус у нас всегда совпадал...
- Вкус к проигрышу?
- Мне нравится французский юмор... Юмор – единственное, чего не хватает японцам для господства над миром. Но я имела в виду мужчин. Нам с О-Сими всегда нравились одни и те же мужчины. И эти мужчины всегда выбирали меня. Бедняжка О-Сими оставалась не у дел. Иногда до смешного доходило: она знакомит меня со своим парнем, а такие события случались с завидной периодичностью... Так вот, она знакомит меня со своим парнем, а через полчаса он уже просит мой телефон.
- И это не мешало вам быть подругами?
- Нисколько. Это ведь происходило не только со мной, но и с другими ее приятельницами. О-Сими всегда оказывалась третьей лишней. В результате она бросила экспериментировать вовсе.
- С приятельницами?
- Боюсь, что и с мужчинами тоже. К тому же вы знаете современных мужчин, господин Бланшар. От женщин им нужно только одно. Спаривание и немного Пруста, как говорит один парижанин, мой близкий друг.

– Почему же именно Пруста?

– Пруста можно заменить на комиксы о Барбарелле, или на Джекки Коллинз, или на кулинарную книгу, это дела не меняет. Ключевое слово здесь – спаривание.

– Выглядит очень уж пессимистично.

– Вот и О-Сими так считала. После каждого неудачного знакомства она покупала себе новые туфли. И никаких истерик. Достойный выход из ситуации, как вы считаете? Это я и называю – элегантно проиграть.

– Значит, с туфлями у нее никаких проблем не было?

– Никаких. Думаю, их запасов хватило бы на все ее издательство.

– Как-то это не вяжется с тем, что вы о ней рассказываете. Робкая, зажатая... Откуда тогда столько неудачных попыток понравиться? Ключевое слово здесь – попытка.

– Смотря что называть попытками и смотря что называть связями. Одиночество шлифует воображение. Даже если мужчина просто придерживал перед ней двери в метро, О-Сими могла посчитать это приглашением к путешествию. Хотя я допускаю, что за те два года, что мы не виделись, она могла измениться. Или все-таки решилась приехать, для того чтобы измениться. Нет, меня совсем не удивило, что она остановилась в гостинице. Совсем.

– Госпожа Томомори хоть что-нибудь рассказывала вам о своем... м-м-м... избраннике?

– Я видела его. Такой не может не понравиться. Высокий, темноволосый, мужественное лицо. Настоящий матадор. Неудивительно, что О-Сими влюбилась с первого взгляда...

– Так вы были представлены друг другу?

– Собственно, я была свидетельницей их знакомства. Я первая положила на него глаз. Если бы не О-Сими, я бы сама с ним... закрутила, как говорит один парижанин...

– Ваш близкий друг.

– Да. О-Сими заметила этого парня секундой позже. Она так и вцепилась мне в руку... Как после этого не осталось синяков – ума не приложу.

– И что же вы сделали потом? Расскажите-ка мне об этой встрече поподробнее.

– Кажется, это был второй день ее пребывания в Париже. Или третий, сейчас уже не вспомню точно... Я затащила ее на экскурсию по Сене. Маленькие кораблики, мне они очень нравятся. О-Сими поначалу была не в восторге от этой идеи, к тому же мы столкнулись с группой туристов из Йокогамы. Стоило уезжать из Японии, чтобы проводить время в обществе соотечественников?.. Но этот парень... Высокие брюнеты с длинными волосами выглядят так многообещающе.

– Да. Пожалуй.

– О-о... Кажется, я сказала глупость... Затона... компактных шатенов всегда можно положиться.

– Не будем отвлекаться на персоналии... госпожа Омацу. Вы познакомились с этим молодым человеком?

– О-Сими попросила его сняться вместе с ней. Никогда не видела ее такой решительной. Она моментально нашла предлог для знакомства.

– Невинные женские хитрости?

– Что-то вроде того. Вы проницательны. Я бы назвала это развлечениями женщин. Есть такие чудесные японские ширмы – «Развлечения женщин». Вы, конечно, не знакомы с традиционным японским искусством...

– Увы.

– Бидзин-га¹⁷. Но европейские художники нравятся мне гораздо больше...

– И молодой человек согласился сняться?

– Конечно. Он здесь на всех снимках. Мимо такого не пройдешь, не правда ли?

– Гм...

– Он был очень терпелив. Я отщелкала почти целую пленку.

– Фотографии довольно любопытные, если учесть, что ваша подруга и этот парень даже не были знакомы. На снимках они выглядят... выглядят...

– Интимно?

– Ну, скажем, как хорошие приятели.

- Он был очень галантен.
- Что было потом?
- Несколько минут отчаяния. Он был очень галантен, но особого интереса не проявил. Если бы не тот случай, все бы так ничем и не закончилось.
- Какой случай?
- С одним сумасшедшим на мосту. Мы как раз подплывали к Понт-Нефу. И какой-то самоубийца намеревался прыгнуть вниз. Он стоял довольно долго, как будто раздумывал. И тогда молодой человек попросил у О-Сими фотоаппарат.
- Зачем?
- Сначала я подумала, что он хочет сфотографировать мост и самоубийцу на нем. Иногда люди бывают бесцеремонны со смертью... Особенно европейцы. «Виды смерти заменяют нам юкими»¹⁸, как говорит один парижанин, мой близкий друг.
- Вы так часто о нем упоминаете...
- Он тоже занимается изучением бульварной литературы. Только японской.
- Мы остановились на том, что молодой человек попросил у вашей подруги фотоаппарат. Он сфотографировал происходящее на мосту?
- В том-то и дело, что нет. Когда я получила пленку из проявки – это ведь был мой фотоаппарат, «Никон»... Там были только те снимки, которые сделала я.
- Зачем же он тогда взял фотоаппарат?

— Быть может, хотел рассмотреть сцену возможного самоубийства поближе... У «Никона» отличная оптика.

— И чем все закончилось?

— Слава богу, ничего трагического не произошло. Безумец опомнился и спрыгнул с парапета на мост. Кстати, молодой человек показался мне слегка разочарованным.

— Он расстроился из-за того, что самоубийство не состоялось?

— Возможно. Но здесь существуют нюансы, господин Бланшар. Это было разочарование мужчины, которому женщина отказала в близости. Ключевое слово здесь — близость. Близость, а не разочарование. Я бы еще добавила — плохо скрытая ярость. Короче, так выглядят все мужчины, когда им... крутят динамо.

— Как сказал бы один парижанин, ваш близкий друг.

— Именно.

— Вы намекнули, что если бы не инцидент на Понт-Нефе, то никакого знакомства не произошло.

— Да. Пока мы глазели на этого идиота, О-Сими, возможно, что-то решила для себя. И когда парень вернул фотоаппарат и поблагодарил ее по-японски...

— А он поблагодарил ее по-японски?

— Он просто повторил запомнившееся ему слово. Аригато. Думаю, О-Сими посчитала это хорошим

знаком. Она назвала ему свое имя. А он назвал свое.

– И как же он представился?

– Кристобаль.

– Кристобаль?

– Вижу, вы удивлены... Кристобаль, испанец, который живет в Париже. Недаром он показался мне похожим на матадора...

– Значит, Кристобаль, испанец.

– Что-то не так?

– Нет, ничего. Продолжайте.

– Думаю, разговорник умилил его еще больше...

– Какой разговорник?

– О-Сими совсем не говорит по-французски. Несколько общих фраз, не более. Она носила с собой разговорник.

– А зачем ей нужен был разговорник? Вы-то ведь прекрасно знаете французский...

– Это же так просто, господин Бланшар. Во-первых, я сопровождала ее не всегда. А во-вторых... Если на улице подвернется какой-нибудь симпатяга? Проще всего завязать с ним знакомство при помощи разговорника, не так ли? Задать какой-нибудь вопрос. Ну кто сможет устоять и не помочь хорошенькой японке? Именно такая языковая беспомощность и умиляет. Я сама неоднократно это проделывала... Когда хотела с кем-нибудь познакомиться.

– Развлечения женщин?

– Невинные женские хитрости.

- Это вы подсунули ей идею с разговорником?
- Т-сс... Мне так хотелось изменить жизнь О-Сими. Разве можно меня в этом винить?
- Следовательно, знакомство состоялось?
- Ну конечно.
- Вы слышали, о чем они говорили?
- Что-то очень незначительное. О чем говорят люди в первые минуты знакомства? Да, именно тогда он и сказал, что он испанец и что живет в Париже.
- А ваша подруга?
- Что она в Париже впервые и ничего здесь не знает. И что ее интересуют достопримечательности...
- Да уж... Достопримечательности. Дальше достопримечательностей дело не пошло?
- Она представила нас друг другу. Так и сказала: «Это моя подруга Омацу».
- Зачем? Ведь у нее, насколько я понял, уже имелся печальный опыт представлений.
- Не знаю... Может быть, именно поэтому. Она попыталась еще раз испытать судьбу. И, кажется, ей повезло.
- Повезло... То есть этот Кристобаль не проявил к вам никакого интереса?
- Я держала скрещенные пальцы за спиной.
- Она назначила ему встречу?
- Это было бы не совсем прилично. С точки зрения О-Сими, разумеется. Она сообщила лишь, в каком отеле остановилась. Мужчине всегда нужно

оставлять право на выбор...

– Вы продолжили вечер втроем?

– Конечно же нет. Мы расстались, как только экскурсия закончилась. Тем более что Кристобаль был не один.

– Не один?

– С ним была пожилая женщина... Она есть на одной из фотографий... Случайно попала в объектив. Подождите, сейчас я найду снимок... Вот. Вот он. Это та самая женщина. Не очень-то она была довольна нашим общением. Да, она определенно была недовольна, старая кошелка...

– Простите?

О-о... Не обращайтесь внимания, господин Бланшар. Издержки изучения французской бульварной литературы... Потом, когда мы познакомились, Кристобаль даже назвал ее имя. Сейчас... О-Сими сказала: «Это моя подруга Омацу». Он тоже отрекомендовал ее подругой. Нет... Не вспомню...

– Может быть, Линн?

– Линн? Я не совсем уверена, но, по-моему, Линн. Да, Линн... Вы и это знаете?

– Да.

– Вы нашли его? Нашли Кристобаля?

– Уж кого мы точно не найдем, так это Кристобаля.

– Вы подозреваете, что он... причастен?

– Свои подозрения я выскажу вам чуть позже... Значит, вы утверждаете, что между О-Сими Томомори и этим... Кристобалем вспыхнул роман?

– На следующий день мы с О-Сими отправились в «Галери Томи», прикупить кое-что из гардероба. Это была моя идея, в критических ситуациях шопинг заменяет женщине петтинг. А ремешок для часов идет по цене французского поцелуя... как говорит один парижанин, мой близкий друг. О-Сими весь остаток вечера выглядела грустной, не очень-то она верила в затею с романтическим знакомством...

– И как, приобрели ремешок для часов?

– До ремешка дело не дошло. Пара блузок, пара модных журналов и кашемировый шарф. О-Сими все порывалась купить себе туфли, я с трудом ее отговорила. Потом мы выпили кофе и расстались. У меня была деловая встреча.

– А ваша подруга?

– Кажется, она отправилась в гостиницу. Мы договорились встретиться вечером, я должна была заехать за ней в шесть. А в пять она позвонила и сказала, что встреча отменяется, что испанец был в гостинице и оставил ей записку.

– Записку?

– Он назначил ей свидание.

– Где?

– У площади Конкорд. Записку я видела сама, О-Сими показывала ее мне.

– Зачем?

– Она была восхищена почерком. Смуглый и страстный, именно так она выразилась. Ключевое слово здесь – страстный. Ей не хватало страстности в японских мужчинах, она считала их чересчур прагматичными.

– Смуглый и страстный, тьфу ты... Как поэтично. Кстати, записку обнаружили среди других ее вещей... Вы не знаете, кто такая Кейко... Тама... Тами... вот черт...

– Кейко Тамэёси?

– Да. У японцев довольно сложные фамилии...

– Европейцев они раздражают, знаю. А Кейко – еще одна наша токийская подруга. Кейко преподает историю в средней школе, она единственная, с кем О-Сими дружна в Токио. А почему вы спросили о Кейко?

– Видите ли... Кроме записки было еще и письмо, адресованное Кейко Тамэ... Адресованное Кейко и почему-то не отправленное. Скорее всего, ваша подруга его не дописала. Хотя и тех семи листов было бы вполне достаточно, на мой взгляд.

– Она любила писать длинные письма... Что же в нем было?

– Хм... Думаю, ваш близкий друг оценил бы его по достоинству.

– Что вы хотите этим сказать?

– Поскольку вы женщина широких европейских

ВЗГЛЯДОВ...

– Не смущайтесь, господин Бланшар.

– Короче, ключевое слово в нем – э-э-э... спаривание. Пруст, правда не упоминался.

– О-Сими подробно описывала свои отношения с этим красавчиком Кристобалем?

– Я бы сказал – в деталях.

– Ну что ж, О-Сими хотела романа в духе Эммануэль. Его она и получила. Я нисколько не удивлена. Тем более что и мне она поведала некоторые пикантные подробности. Я не удивлена.

– Значит, вы виделись в промежутке между пятнадцатым и двадцать вторым мая?

– Всего лишь один раз. Я принесла ей фотографии... О-Сими говорила только о нем. О том, что они встретились и теперь почти не расстаются. О том, что он фантастический мужчина, что работает моделью. Что...

– Продолжайте.

– Знаете, о чем я сейчас подумала? Кроме того, что он модель, ничего экстраординарного я из разговора не вынесла. Все остальное относилось скорее к эмоциональной сфере. Ну и к экскурсу в анатомию...

– Вас это удивляет?

– Нисколько. Я и сама бывала влюблена и вела себя точно так же. Вспомнила... О-Сими намекнула, что он собирается уйти с подиума и организовать

собственный бизнес. Это шло в рекламном блоке «какой он цельный человек». И было еще что-то о его детстве.

— Интересно.

— Ничего интересного. Все крамольные детские тайны похожи друг на друга. Да и взрослые тоже, уж поверьте специалисту по бульварной литературе...

— Ну да. У каждого есть свой Рики-морячок...

— Не поняла?

— Это так, к слову...

— Хорошая фраза, вы не подарите ее любознательной аспирантке, господин Бланшар?

— Конечно.

— И еще насчет фраз. О-Сими не знала французского.

Но одну фразу она в ту нашу встречу произнесла безупречно. Я бы даже сказала — с лихостью.

— Какую же?

— *Lespins, ma fille, sont couverts d'aiguilles*¹⁹.

— Что бы она могла означать?

— Понятия не имею. Может, только то, что означает? Наверняка, ее обучил этой фразе молодой человек. В качестве языковой практики...

— Вернемся к двадцать второму мая. Как я понял, на встречу она не пришла?

— Я прождала ее битых полтора часа. Потом вернулась к себе, начала названивать О-Сими в гостиницу. Номер не отвечал. Никто не снял трубку

ни вечером, ни ночью, ни на следующее утро.

– Вы забеспокоились?

– Поначалу нет. В конце концов, любовь и создана для того, чтобы освободить человека от всех предыдущих обязательств. Я была в этой проклятой «Ламартин Опера», и мне сообщили, что в гостинице она не появлялась несколько дней. Я подумала тогда, что О-Сими укатила куда-нибудь со своим испанцем. Может быть, даже к нему на родину, вдохновиться корридой и святой Девой Фуэнсантой...

– И вам не показалось странным, что она не поставила вас в известность о своей гипотетической поездке?

– Это как раз не было странным. Станным было то, что она не прислала мне ни одного письма. Кажется, я говорила – О-Сими обожала писать письма. Так ей легче было общаться с миром...

– Именно вы сообщили в полицию об исчезновении О-Сими Томомори?

– Да. Ничего другого мне не оставалось. У нее был обратный билет до Токио на двадцать седьмое мая. Я сама заказывала этот билет, он до сих пор у меня. И гостиница тоже была проплачена до двадцать седьмого. В полиции мне сказали, что будут держать в курсе. И вызовут, как только обстоятельства дела прояснятся. Долго же пришлось ждать... Я так понимаю – теперь они прояснились?

– Более-менее...

- Ее нашли?
- Думаю, что да.
- Она... жива?
- У меня неутешительные новости, Омацу.
- Так я и предполагала. Ну конечно же... За полтора года – ни одного письма... Я... Я должна опознать тело?
- Боюсь, что тело опознать вряд ли удастся... Слишком долго оно пролежало в земле. Но кое-какие предметы туалета сохранились... Взгляните-ка на эти снимки.
- Боже мой... Пресвятая Богородица...
- А я думал, что все японцы – буддисты...
- Синтоисты. Ноя – христианка... Боже... Это серьги О-Сими.
- Вы уверены?
- Ну конечно же. Мы с Кейко подарили ей эти серьги на двадцатитрехлетие. Их ни с чем не спутаешь, серебро, очень тонкая работа. Ступни Будды с семью символами его божественной мудрости.
- Честно говоря, я их толком и не рассмотрел.
- Очень тонкая работа. Раковина, корона, бриллиантовый скипетр, рыба, цветочная ваза, свастика и колесо Закона. Мы заплатили за них шестьдесят три доллара.
- Приличная сумма... Вот еще снимки...
- А это что?

Наиболее сохранившаяся части куртки. Ткань, к сожалению, выглядит не лучшим образом, но может, вам удастся...

— Боюсь, что нет... даже цвет определить невозможно. Нет.

— Тогда вот эти. Туфли и сумочка.

— Так... Коричневая замша, застежка в виде львиной головы... Я помню эту сумочку. И туфли тоже. Мы вместе их покупали, еще в Токио, перед моим отъездом... Сколько же лет прошло... Она очень их любила, эти туфли. Память о несостоявшейся лав-стори с одним проходимцем из Осаки. Втирал ей очки, что работает на якудзу, а сам оказался водителем автобуса...

— Очень хорошо. Вам нужно будет письменно подтвердить свои показания, госпожа Омацу. Их приобщат к делу.

— Конечно. Скажите... Убийца найден?

— Мы работаем в этом направлении.

— Но вы ведь кого-то подозреваете?.. Неужели испанца?

— Он никак не проявлялся впоследствии? Ну, может быть, искал вашу подругу, мало ли...

— Нет. Никогда. Я вам больше скажу... Я сама пыталась его найти.

— Каким образом?

— По законам бульварного романа. Вы же знаете, жизнь развивается по законам бульварного романа.

Единственное, что я знала о нем, — это то, что его зовут Кристобаль и он работает моделью. Одно время я не пропускала ни одного модного показа в Париже, все надеялась его там встретить.

— Не встретили?

— Увы. Правда, меня и хватило ненадолго.

— Вы бросили поиски?

Я просто перестала на них... циклиться. Законы бульварного романа, господин Бланшар. Герои в нем прикованы друг к другу цепью случайностей. Все мало-мальски значимые события тоже происходят по воле случая. Так что мне оставалось надеяться только на случайность. На то, что если я и встречу его, то это станет неожиданностью для нас обоих.

— А на речном кораблике вы больше не плавали?

— Почему же... Любовалась набережными раз пять-шесть. Без всякой надежды, впрочем.

— Законы жанра не сработали?

— Вы прелесть. Не сработали. Очевидно, я не героиня бульварного романа. Или он — не герой...

— А вот эта вещь вам знакома?

— Кольцо?

— Тоже серебро.

— Нет, я никогда не видела у О-Сими такого кольца. Кольца она не любила, так же как и браслеты. Она никогда не стала бы носить кольцо...

— Кольцо было обнаружено у нее в сумочке. Очень, нужно сказать, примечательное колечко.

– Я не видела его. Скажите, как она... погибла?

– По данным экспертизы, смерть наступила предположительно от проникающего пулевого ранения в затылочную часть головы. Возможно, были и другие повреждения, но по остаткам мягких тканей установить это не удалось. В сумочке, которую вы опознали, кроме кольца не было ничего существенного – немного мелочи, несколько крупных купюр, носовой платок и японо-французский разговорник. Собственно, благодаря этому разговорнику... Вам нехорошо, госпожа Омацу?

– Нет-нет, ничего. Все в порядке. Продолжайте.

Благодаря этому разговорнику возникло предположение, что жертва преступления – японка. А поскольку ничего более-менее ценного из сумочки не пропало... И украшения были нетронуты... Вряд ли это было ограбление.

– Я понимаю... Бедняжка О-Сими...

– Вы никогда не слышали имя Ги Кутарба?

– Нет... Хотя, подождите... Оно кажется мне знакомым. Ги Кутарба... Я откуда-то знаю его, определенно. Не могу вспомнить...

– Ну хорошо. Скажите, вы передали вашей подруге все фотографии, которые сделали в тот вечер?

– Все. За исключением нескольких непроявленных. Пара-тройка фотографий не получились, так обычно и бывает. И еще одну я

оставила у себя. На память... Как в воду глядела...

– Негативы у вас сохранились?

– Наверняка.

– Их придется изъять. Я оставлю вам расписку.

– Конечно.

– И вот еще что. Сейчас я покажу вам снимки нескольких человек...

– Секундочку, господин Бланшар... Вот, взгляните. Как все просто, боже мой... Я идиотка, я круглая дура... всего-то и надо было...

– Что это?

– Духи. «Odji Maguado». Всего-то и надо было заглянуть в собственную сумку. Видите – «Odji Maguado», а чуть ниже – «Guy Cutarba». Парфюмерная фирма Ги Кутарба. Вот почему имя показалось таким знакомым. Я ношу его в сумке больше месяца.

– Вы купили эти духи?

– Всего лишь подарок моего близкого друга.

– Специалиста по японскому одноразовому чтиву?

Его. Сама бы я не решилась на столь провокационный запах... Я редко ими пользуюсь, даже несмотря на широту взглядов. Но они очень нравятся моему другу. Он считает, что вся бульварная литература, вне зависимости от страны изготовления, пахнет именно так.

– Как?

– Все мы немного шлюхи, господин Бланшар. Вы

и я не исключение. Все мы немного шлюхи или хотим ими казаться время от времени. В минуты душевных откровений... Это существенно облегчает жизнь.

— Спорный тезис... Посмотрите, может быть, вы узнаете кого-нибудь на фотографиях...

— Это... подозреваемые?

— Можно сказать и так. Смотрите внимательнее.

— Господи... Вот эта... Кристобаль!.. Ну, конечно, это он... Откуда у вас...

— Никакой он не Кристобаль, госпожа Омацу. И никакого отношения к Испании не имеет...

— Но зачем ему...

— Он несколько лет живет в Париже. И действительно одно время работал моделью. Это правда. Единственная правда.

— Тогда кто же он?

— То самое имя, которое вы носите в сумочке больше месяца. Ги Кутарба.

БАЗИЛИК

– ...Это он подарил вам кольцо, Линн?

Линн хмурится, как если бы я сказал непристойность или сделал двусмысленный жест рукой; на фоне музея Орсэ (бывший вокзал, бывший театр, бывший аукционный дом) это выглядит особенно впечатляюще. Бато Муш, речной трамвайчик, впечатляет гораздо меньше; скорее, он может вызвать удивление – неужели Линн решила прокатиться со мной по Сене?..

– Вы когда-нибудь видели Париж с речной глади, Кристобаль?

– Стоит посмотреть?

– Это красиво. Очень. *Esta perfecto*, мальчик мой, *esta perfecto*²⁰ ...

Я улыбаюсь и на всякий случай киваю головой – Линн все-таки сумела втиснуть испанскую фразу, ввернуть, ввинтить, воткнуть в ничего не значащий разговор. Уловить смысл фразы несложно, и я соглашаюсь на Париж с речной глади: только бы Линн не перешла на беглый испанский. Такой же беглый, как и ее друг-левак, смотавший удочки от Франко.

– Это он подарил вам кольцо, Линн? – Вечерний Париж и вправду восхитителен.

Esta perfecto.

– Он дарил мне цветы.

Цветы, эка невидаль. Для человека, который вдыхал сюжеты книг вместе с сигаретным дымом, цветы – такая же банальность, как Париж с речной глади. В районе музея Орсэ. Esta perfecto, но уже давно стало общим местом.

– И знаете что, Кристобаль? Они никогда не вяли. Никогда. Можете себе представить?

Представить себе подоконник в квартире Линн не составляет труда: пинцет для выщипывания бровей, высохший тюбик тонального крема, пачка неоплаченных счетов, туристические проспекты с видами Французской Полинезии (авиабилет в Полинезию так и остался невыкупленным, кожа стареющей Линн слишком уязвима для полинезийского солнца); тюбик тонального крема... впрочем, на него я уже натыкался... и – цветочные горшки.

Много цветочных горшков с растениями. Такими же уязвимыми, как и кожа стареющей Линн, еще один повод не выкупать билет в Полинезию.

– ...Они никогда не вяли.

– Удивительно.

– Это были самые обыкновенные цветы. Розы со срезанными стеблями. Они должны были завянуть на третий день. Максимум – на четвертый. Но они стоят до сих пор. Такие же, как тогда. Я не могу с ними

расстаться. Тридцать лет я не могу с ними расстаться.

– Удивительно.

– Я боюсь их. Хотите на них посмотреть?

– Сегодня?

Розы, которые не вянут три десятилетия – если это, конечно, не мистификация со стороны Линн, – вещь и вправду удивительная. Но не настолько, чтобы сигануть с борта Бато Муш, вплавь добраться до берега, выжать носки и рубаху и отправиться глазеть на них.

– Не обязательно сегодня, Кристобаль. Совсем необязательно. Когда речь идет о тридцати годах, пара дней значения не имеет.

– Вы приглашаете меня в гости?

– Если вы не против... Я хорошо готовлю паэлью. *Raella valensiana*...

Паэлья. Интересно, что такое паэлья? Судя по застенчиво-торжествующему лицу Линн, омлет покреольски вовсе не является ее главным кулинарным достижением. Судя по самому слову – это нечто испанское. Такое же непоправимо-испанское, как дуэнья, коррида или кастаньеты. Или фламенко, которое не нравится Мари-Кристин. Стук сбитых каблучков и накрахмаленные нижние юбки танцовщиц всегда вызывали в ней глухое раздражение своей этнографической прямолинейностью. А Линн вполне могла бы сойти за дуэнью.

– У вас ведь найдется еще один свободный вечер

для старой парижанки, Кристобаль?

– Конечно, Линн.

Кроме нас с Линн на палубе Бато Муш толчется с десяток туристов-азиатов, то ли японцев, то ли корейцев. Они с ног до головы обвешаны аппаратурой: видеокамеры, легко помещающиеся в руке, профессиональные «Никоны» и «Кэноны»; дула их объективов нацелены друг на друга, реже – на анфиладу мостов и залитые огнем набережные. Париж интересует азиатов лишь в контексте себя самих, с тем же успехом можно фотографироваться на фоне кухонной плиты или навесного шкафчика в прихожей. Приоткрытая, затянутая бумагой дверь на террасу (напольные вазы по обеим сторонам) тоже подойдет. Миниатюрная девушка – ростом несколько не выше напольной вазы – просит меня сняться с ней. Устоять против азиатской улыбки – неопределенной, кисло-сладкой, как соус к рыбе в китайском ресторанчике, – невозможно, и я соглашаюсь. Мы будем забавно смотреться вместе, когда пленку проявят: я почти вдвое выше девушки, ей ничего не стоит спрятаться под навесом моего подбородка – от дождя, от снега, от чего угодно. Но ни дождя, ни снега не предвидится, Париж в мае – *esta perfectio*, Линн права. Интересно, какую историю придумает обо мне девушка? Должно быть, что-нибудь возвышенно-романтическое, исходя из количества снимков и мизансцен, которые придумываются по

ходу, все с той же неопределенной улыбкой. Что-то такое, что заслуживает внимания; что-то такое, во что – по прошествии времени – поверить легче всего.

«Мой парижский друг», вот как будет называться эта история. В этой истории я обрасту привычками, о которых и понятия не имею, и уж точно в ней никогда не будет Анук. На секунду я ловлю себя на мысли, что отдал бы все, что угодно, – лишь бы эта история оказалась правдой. Забыть об Анук навсегда, перестать думать о ней – это было бы великолепно.

Esta perfecto.

Но испугаться столь малодушной мыслишки я не успеваю, она уходит так же внезапно, как и пришла, ее заслоняет другая мысль, открывшаяся мне еще в отрочестве: Анук не нужна верность, а предательства она и вовсе счастливо не заметит.

Линн ревнует меня к маленькой азиатке, верхняя пуговица на блузке явно об этом свидетельствует: Линн то расстегивает ее, то запирает наглухо. Нет, на мистификацию Линн не способна, десятилетиями неувядающие розы и правда существуют.

«Аригато»²¹, – говорит мне девушка напоследок, фотосессия закончена.

Я возвращаюсь к Линн, она наконец-то оставила в покое блузку.

– Простите, Линн...

– Ничего, это просто молодость, – на улыбку Линн жалко смотреть. – Интересно, какую историю она

придумает о вас, Кристобаль?

— Кто? — вопрос Линн застает меня врасплох.

— Эта японка.

— А она японка?

— Она поблагодарила вас по-японски. И она обязательно придумает о вас историю. Я, во всяком случае, именно так бы и поступила.

— Я просто сфотографировался с девушкой, Линн.

— Она извела на вас целую пленку. У меня в глазах рябило от вспышек.

— Но...

Пальцы Линн неожиданно касаются моего подбородка, только этого не хватало!

— Вы слишком красивы, Кристобаль. Слишком. А у красивых мужчин существует один недостаток: непонятно, что с ними делать. Лучше всего никогда не вступать с ними в контакт. Лучше всего держать их в клетке воспоминаний. И лгать себе, что у вас с ними когда-то был роман, это делает жизнь не такой бессмысленной. И это примиряет со старостью, Кристобаль.

— И много у вас таких клеток, Линн?

— Мои мужчины вовсе не были так красивы. Так что со старостью я пока не смирилась.

В голосе Линн звучит легкая сумасшедшинка — и это, как ни странно, действует на меня успокаивающе: юное лицо Бабетты в кинозале вовсе не плод моего воображения и не детские шутки Анук; Линн все еще

не решается примириться с собой нынешней, только и всего.

— Вы обещали рассказать мне о книге, Линн...

— Да-да, я помню. — Мой подбородок больше не интересуется Линн. Теперь она смотрит на темную, в цветных разводах, воду.

А я... Я кажусь себе мелким воришкой на велосипеде: бельевая прищепка на правой брючине, вытертая красная куртка а la Джеймс Дин — прямо на голое тело, расстегнутая до половины. Все подчинено единственной цели: половчее вырвать сумку из рук зазевавшихся дамочек у края тротуара, предпочтение отдается пухлым ридикюлям с облупленными уголками, sacs avec courroie²² или sacs a main²³ Но иногда везет и просто с sac²⁴ — в том случае если украшенные бисером кошельки покоятся сверху, на шпинате или брюссельской капусте; на то, чтобы завладеть ими, уходит секунды три от силы, а потом — мелькание велосипедных спиц и о-о-oh, bella ciao, bella ciao!..²⁵ В двух кварталах от места происшествия посредством нехитрых манипуляций (всего-то и надо, что вывернуть рукава наизнанку) красная куртка а la Джеймс Дин превращается в черную, а la Леонардо Ди Каприо. А бабло из кошелька перекочевывает в задний карман брюк.

Я, мелкий воришка на велосипеде, пытаюсь вырвать тайну из рук Линн — не мытьем так катаньем.

Тайну «Ars Moriendi», которая покоится на шпинате и брюссельской капусте ее воспоминаний. Что будет потом — знаем мы оба. Мелькание спиц — и... *Bella ciao, bella ciao!*

— Я люблю парижские мосты, Кристобаль... А вы?

Никогда не задумывался о парижских мостах, для подобных мыслей я слишком прагматичен. О парижских мостах моей Бабетте лучше бы поговорить с Мари-Кристин; Мирабо, Гренель и Бир-Хаким — ее любимые, им была посвящена прошлогодняя коллекция *haute couture*: преобладающий цвет — фисташка и карамель, длинные волосы лучше не расчесывать, бриться тоже необязательно, романтики-самоубийцы предпочитают галстучные булавки и Бир-Хаким. Самоубийцы-философы — грубую шерсть и Мирабо.

Понт-Нэф²⁶ Мари-Кристин недолюбливает, Понт-Неф уже давно растащен на цитаты, так считает Мари-Кристин, черно-белые, цветные, кинематографические, фотографические, литературные, *fashion*. Не повезло и Альме²⁷ — его репутация в глазах Мари-Кристин безнадежно подпорчена гибелью принцессы Дианы; свечи на ветру и стихийно возникающие мемориалы Мари-Кристин тоже недолюбливает.

— Парижские мосты, да... *Esta perfecto*, — я смутно надеюсь, что мой испанский не выдаст меня.

– Esta perfecto, – подхватывает Линн. – Fantastico! Maravilloso!²⁸

Обилие восклицательных знаков свидетельствует об экспансивности испанского дружка Линн, не более.

Должно быть, все эти восклицательные знаки относились к самой Линн, той, двадцатилетней. Должно быть, я не первый, кого Линн катает на речном трамвайчике, к тому же о конечной цели путешествия можно догадаться, и она – не что иное, как общее место. Совсем скоро Бато Муш обогнет Ситэ²⁹ и остров Сен-Луи и вплотную приблизится к мосту Марии, именно под ним принято закрывать глаза и загадывать самое сокровенное желание, Линн непременно скажет мне об этом. А потом спросит – есть ли сокровенное желание у меня.

Еще бы, Линн.

Каштаны не только цветут, но и болеют раком.

Линн говорит мне об этом именно тогда, когда мост Марии наконец-то попадает в поле нашего зрения. В Париже полно каштанов, следовательно, и процент раковых заболеваний среди них гораздо выше, чем где-нибудь в Роттердаме или Франкфурте.

– Надо же, – столь прискорбное известие не вызывает у меня никакого энтузиазма. – Надо же, как удивительно.

– Представьте себе. Я сама читала об этом. Мой испанец тоже умер от рака, совсем молодым.

Молодым для меня нынешней, конечно, не для вас. Ему только-то тридцать три исполнилось... Он не знал, что умирает.

— Бедняга, — ничего более оригинального мне в голову не приходит.

Испанец не знал, что умирает, и в этом он ничем не отличается от каштанов, от каштанового неведения о собственной судьбе; я даже могу представить себе, как он умер — свалился на землю с глухим стуком, время вышло, и оболочка треснула, раскололась на две половины.

— Именно так я и сказала себе тогда — «бедняга», — Линн улыбается. — Но знаете, Кристобаль, его смерть поразила меня даже меньше, чем та статья... В которой говорилось, что и каштаны болеют раком. Она до сих пор у меня сохранилась, я вам покажу.

— Верю вам на слово, — я почти физически ощущаю, как мой голос затягивает под мост: он меняет тембр и становится гулким. У Линн осталась секунд тридцать, чтобы поведать мне о мосте Марии.

Она укладывается в пятнадцать.

— Загадайте желание, Кристобаль, — шепчет мне Линн. — Под этим мостом принято загадывать желания. У вас ведь есть сокровенное желание?

— Еще бы, Линн.

— Загадайте, оно обязательно сбудется,

Анук.

Все мои желания связаны с Анук, жаль только, что

никакому осмыслению они не поддаются. Это похоже на восточный узор: все элементы орнамента ясны, но общий смысл ускользает. Я уже видел подобный узор, я специально заходил в маленькую лавчонку в Бельвиле (кальяны, специи, арабская чеканка) – чтобы на него посмотреть. Узор, как привязанный, сидел на руках хозяина лавчонки («Али, сахиб³⁰, меня зовут Али») – самая необычная татуировка из всех, что мне когда-либо приходилось наблюдать. Вытатуированными оказались не только кисти рук, но и ладони, и пальцы – с внешней и внутренней стороны. Али сказал мне, что помнит эту татуировку столько, сколько живет, она была всегда. Истории Али так же лукавы, как и сам хозяин, время от времени их нужно подкармливать. Проданные кальяны или чеканка развязывают Али язык; теперь я знаю, что узор видоизменяется, некоторые его части исчезают, зато появляются новые. О том, что зашифровано в них, Али не имеет понятия, возможно, это неизвестная сура из Корана. Возможно, что-то иное.

– ...Вы загадали, Кристобаль?

– Да.

– Я тоже, – Линн берет меня за руку, пальцы ее холодны как лед. – Я тоже загадала. Последний раз я была здесь лет двадцать назад, мостом Марии нельзя злоупотреблять. И главное – не ошибиться в желании, Кристобаль. Люди так часто ошибаются в желаниях...

– Вы тоже?

– О, нет. Теперь – нет.

Говорить об этом – все равно что идти по тонкому льду; по тонкому льду пальцев Линн – в любой момент можешь оказаться в полынье. Поэтому-то я благоразумно помалкиваю – вплоть до Понт-Неф, от моста Марии его отделяют еще четыре моста и такое же благоразумное молчание Линн. Японцы – совсем другое дело, их птичий клекот разбивается о своды мостов, а фотовспышки царапают каменную кладку. Хотя девушка, с которой я фотографировался, так же молчалива, как и мы с Линн, она все еще держится поблизости; при других обстоятельствах ее целомудренное внимание польстило бы мне. Оно продлится недолго, совсем недолго, я знаю, – примерно столько звучат некоторые композиции из саундтрека к фильму «Amores Perros»³¹.

0:34, 0:56, 1:58.

Я не что иное, как бонус к саундтреку. Время моего звучания еще короче.

Японцев явно что-то беспокоит. Все они (за исключением девушки) сгрудились на носу Бато Муш, фотоаппараты щелкают непрерывно, видеокамеры намертво прилипли к лицам.

– О, боже, – шепчет Линн. – Только не это. Только не это!

– Что случилось, Линн? Что с вами?

– Не со мной, Кристобаль... Вы видите?

То, что я мог бы увидеть, мало волнует меня. А вот то, что я чувствую, занимает мое воображение куда больше. Я снова ощущаю запах. Это не сидящий у меня в ноздрях запах «Саламанки», нет. Запах идет извне, от Понт-Нефа, растащенного на цитаты. Мост назойливо лезет в глаза, до него метров пятьдесят, не больше, весь окружающий пейзаж заволокло мостом.

Стрела запаха выпущена с парапета, но что-то мешает ей пронзить меня навывлет; она лишь царапает кожу затупленным наконечником. Черт возьми, это мог быть роскошный букет, отдельные аккорды звучат довольно убедительно, но...

Целостной картины не складывается.

И дело тут вовсе не во мне, дело в самом запахе. Он несовершенен, хотя у него были все шансы стать совершенным.

Какая из нот фальшивит, или фальшивят все сразу — понять невозможно. Такой же невозможной, нереальной кажется фигура на парапете. Еще один урод, решивший свести счеты с жизнью. Будь он философом — он выбрал бы Мирабо, будь он романтиком — он выбрал бы Бир-Хаким, но уж никак не Понт-Неф, для самоубийства это слишком банально.

Слишком фальшиво.

Слишком пошло.

Слишком пошло кончать с собой на глазах у прогулочного корабля, набитого япошками. К тому же

таким незатейливым способом. Албанцы, пачками тонущие по весне в озере Шкодер, – вот кто оценил бы этот акт по достоинству. Албанцев всегда тянут на дно собственные карманы, набитые героином, контрабандным золотом и письмами двоюродных братьев из Триеста. Золото оставляет желать лучшего, двоюродные братья-сутенеры держат в стойле сомнительных шлюх, и только за качество героина можно поручиться.

На албанца стоящий на парапете не похож, но в его силуэте есть что-то знакомое. Так, по крайней мере, кажется мне. И этот запах...

– Не волнуйтесь, Линн, – бросаю я и тут же переключаюсь на девушку. – Вы бы не могли одолжить мне свой фотоаппарат?

Французского она не знает, но жесты мои достаточно красноречивы – так что не понять вопрос невозможно. И спустя несколько секунд «Никон» девушки оказывается в моих руках. Обращаться с техникой подобного класса меня научил Гаэтано Брага, фотограф, лет десять проработавший с Мари-Кристин. Так же, как и меня, его воротит от ведущей модели «Сават и Мустаки» Ингеборг Густаффсон, на этой почве мы и сошлись. Разница состоит лишь в том, что я предпочитаю не афишировать свою ненависть к заносчивой шведке, темпераментный же Брага может позволить себе ненавидеть ее в открытую. Брага может позволить себе все – вплоть

до сочинения инструментальных пьес в духе другого Гаэтано (и тоже – Браги), автора незамысловатого пляжного мотивчика «Rio Ancho». Но самое большее, на что способен Брага-фотограф, – это лакать сангрию из морских раковин. Сангрия в морских раковинах – его конек. Фишка, трогательная в своей нелепости. Сангрию и вином-то назвать нельзя, так, слегка перебродивший и подслащенный сок. Гаэтано не разбирается в вине (что противостоит природе для португальца), но разбирается в раковинах (что противостоит природе для фотографа). Его студия напоминает морской берег после отлива, так густо она усеяна раковинами.

Брага скучает по морю в окрестностях Албуфейры, откуда он родом. Я узнал об этом совершенно случайно и вовсе не от него, Гаэтано предпочитает не распространяться о своих родных местах. Я тоже предпочитаю не распространяться, на этой почве мы и сошлись. Есть и еще одно обстоятельство – нож, унесенный Анук из нашего с ней дома, нож, который я видел совсем недавно; на рукояти ножа тоже были раковины, но Гаэтано вовсе не обязательно знать об этом, я никогда никому не рассказывал о семейной реликвии, фотограф – не исключение. Обычно я потягиваю сангрию в студии у Браги в первый понедельник месяца – из негласно закрепленной за мной раковины «Труба Тритона». На латыни это звучит *Charonia Tritonis*, так мне

понадобилось четыре понедельника, чтобы от зубов непринужденно отскакивало – *Charonia Tritonis*.

Брага говорит только о раковинах и об Ингеборг Густаффсон, которую ненавидит. Ненависть Гаэтано так же причудлива, как и его раковины, все эти «*Lambis caracata*» и «*Conus betulinus*», да и нежно шипящий змеиноглазый Португальский отлично для нее приспособлен, ничего не скажешь.

Фотосессии Ингеборг превосходны.

Гаэтано всякий раз по-детски удивляется этому, клянется, что никогда больше не будет снимать «хренову пиранью-альбиноса», и – снимает, снимает, снимает...

– ...Что вы делаете, Кристобаль?

– Не волнуйтесь Линн. – В истории любого уважающего себя моста всегда найдется глава о самоубийцах, но сегодня она вряд ли будет дополнена новым абзацем. Я знаю это точно. – Не волнуйтесь. Ничего страшного не случится.

...Объектив «Никона» приближает парাপет и парня, стоящего на нем. Силуэт парня, картинно подсвеченный фонарем, назойливо лезет в глаза, если этот безумец и хотел привлечь к себе внимание, он, несомненно, добился своего... Черт возьми, это же Ронни Бэрд! Павлин-сюрреалист, окольцованный персональными выставками, от которых сходит с ума весь Париж, даже Линн попалась. Впрочем, сейчас Ронни меньше всего похож на павлина, скорее – на

енота, одного из двух, тех самых, что стояли в бейсболках на крыше небоскреба – сюжета глупее не придумаешь. Хотя оба припадочных бэрдовских енота были проданы за кругленькую сумму кому-то из совета директоров концерна «Ситроен».

Ронни не хватает только бейсболки. И – мужества, чтобы сделать шаг вперед, я знаю это точно.

Все дело в запахе. Он по-прежнему силен и по-прежнему фальшивит.

Есть и еще кое-что, вернее – кое-кто.

Кто-то.

Этот «кто-то» находится сейчас рядом с Ронни, и для ангела-хранителя он слишком безучастен. Представить себе ангела-хранителя Ронни – если таковой вообще имеется – не так уж сложно. Ленивец с завшивленными крыльями, отстойный тип, которому совершенно наплевать на подопечную душу. Гитарные баллады Трэйси Чапмэн, детские считалочки и вонь от горячей помойки возбуждают ленивца не в пример сильнее. А может, это вовсе и не ангел-хранитель Ронни, даже скорее всего. Ни одному ангелу не придет в голову так стричь волосы.

Так стричь волосы может только Анук.

Анук.

Я давно узнал ее, но все еще не в состоянии поверить в очевидное: именно Анук сидит сейчас на парашюте рядом с Ронни Бэрдом, не выказывая никаких признаков беспокойства. Я вижу только ее

затылок, совершенно безразличный к происходящему; затылок себе на уме. Ни один из самых нерадивых ангелов-хранителей не сравнится с Анук в ее тотальном наплевательстве на всех и вся. Вряд ли Анук вообще верит в ангелов, для нее они – всего лишь нелегальные иммигранты, подрабатывающие на автозаправках и сортировке овощей.

Чувство, которое овладевает мной, можно назвать ревностью – проклятье, мне ли не знать, что в контексте Анук ревность бессмысленна. Так же бессмысленна, как и жалкая попытка Ронни Бэрда спрыгнуть с парапета, сто к одному, тысяча к одному, миллион – этого не произойдет.

Во всяком случае – сегодня.

Трамвайчик ныряет под мост, на пару с моей холодеющей ревностью – как раз в тот самый момент, когда окрестности Понт-Нефа оглашает вой полицейских сирен: очевидно, кто-то из зевак уже успел вызвать на место предполагаемого самоубийства легкомысленную французскую жандармерию.

Оборачиваться я не собираюсь, много чести, да и запах исчезает так же внезапно, как и появился. Оборачиваться я не собираюсь – и все же оборачиваюсь.

Испуганная задница Ронни все еще маячит, трясется над парапетом, вот только Анук больше нет. Ее нет ни рядом с Бэрдом, ни в отдалении, она

благополучно выскочила из круга. Из мертвой зоны, которую очерчивает вокруг себя самоубийство. И чем решительнее, чем бесповоротнее попытка покончить с собой, тем безупречней выглядит круг.

Но на круг мертвая зона не тянет, в лучшем случае я назвал бы ее эллипсом. На самой границе эллипса толчется с десятков полускрытых расстоянием случайных свидетелей; но никто из них не предпринимает попытки подойти к Ронни: слишком уж высока ставка на самоубийство. Сентиментальные придурки, они не знают того, что знаю я. И что мог бы знать любой, стоило бы ему хоть немного изучить... Нет, не мазню Ронни, не эпатажные откровения в таблоидах – всего лишь его туфли. С золотым логотипом «Versace» на каблуках. Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять: Ронни Бэрд – шулер.

Вот и сейчас он передергивает карты – и едва наметившаяся трагедия превращается в фарс. Ронни подпрыгивает – но вовсе не для того, чтобы сигануть с моста. Ронни подпрыгивает, как заправский акробат, и становится на руки. Несколько секунд он болтает в воздухе ногами, затем делает колесо и соскакивает с парашюта. И под жиденькие, сбитые толку аплодисменты исчезает из поля зрения.

– Видите, Линн, ничего страшного не произошло, – говорю я Линн.

Я и не заметил, что она крепко держит меня за

локоть. Она держала меня за локоть все это время. О том, чтобы сказать Линн, кто же на самом деле стоял на парапете Понт-Неф, не может быть и речи. Особенно после автографа, оставленного Бэрдом в букинистическом.

— Это была просто шутка, Линн. Молодой человек развлекался. Такие нынче развлечения у молодых людей.

— Шутка, — эхом повторяет Линн. И недоверчиво улыбается.

— Именно.

Я улыбаюсь своей спутнице гораздо более убедительно: и без того симпатичная речная прогулка в обществе симпатичнейших японцев оказалась украшенной пикантным происшествием. Осталось только освободиться от цепких пальцев Линн, на сегодняшний вечер сюрпризов от них достаточно. Но Линн вовсе не горит желанием расстаться с моим локтем.

— Значит, именно так развлекаются теперь молодые люди?

— И так — тоже.

— А вы? Как развлекаетесь вы, Кристобаль? — голос Линн полон грустного любопытства. И ее «как» можно заменить на что угодно. И отнести ко всему, что касается меня.

— Совсем по-другому, Линн. Совсем, — мое «совсем» тоже можно заменить. На что угодно. И

отнести ко всему, что не касается Линн.

– Вы расскажете мне, Кристобаль? Как-нибудь...

– Как-нибудь – обязательно...

Фотоаппарат японки все еще у меня. Однако девушка не торопится забрать его, она поглощена изучением небольшой брошюры карманного формата, скорее всего – это что-то вроде разговорника. Поймав мой взгляд, девушка краснеет. Света достаточно лишь для того, чтобы почувствовать это, а никак не увидеть. Почувствовать или вообразить. В любом случае повод избавиться (хотя бы на несколько минут) от не в меру возбужденной и не в меру многозначительной Линн найден.

– Я сейчас, – бросаю я Линн и направляюсь к японке.

Впрочем, «направляюсь» – слишком громко сказано, расстояние между нами и до этого не составляло больше пяти шагов, а теперь и вовсе сократилось до минимума.

– Аригато, – вместе с «Никоном» я возвращаю девушке и ее полное скрытого очарования азиатское словцо.

Она краснеет еще больше; будь на ней кимоно, японка обязательно бы прикрыла лицо широким рукавом. Как это делали красотишки из чайных домов, несколько таких красоток навсегда осело в гостиной Мари-Кристин. Они составляют композиционное ядро двух гравюр, удачно оттеняющих светильник в

нише между окнами. Мари-Кристин утверждает, что обе гравюры принадлежат Утамаро³², и всякий раз удивляется, что я не выказываю никакого восхищения по этому поводу.

Сейчас я, пожалуй бы, восхитился. Но не гравюрами в гостиной Мари-Кристин, а почти фотографическим сходством девушки и чайных красоток двухвековой давности. И самая обыкновенная туристическая униформа (джинсы, футболка на выпуск и легкая куртка) лишь подчеркивает сходство. Объяснить этот феномен не представляется возможным.

— Меня зовут О-Сими, — неожиданно говорит девушка.

Именно «О-Сими», а не «Осими» как можно было предположить. Чтобы избежать неточности в трактовке, О-Сими даже проводит в воздухе воображаемое тире. При этом кисть ее руки причудливо изгибается, а пальцы, до этого собранные в щепоть, брызжут во все стороны. Теперь они напоминают полураскрывшиеся лепестки цветка. Или — птицу. Интересно, «цветок», как это звучит по-японски? А.птица?.. Из всех названий экзотических цветов мне известна лишь орхидея, с птицами и того хуже: ничего, кроме павлина и лирохвостов, в голову не приходит. Но павлиньи перья уже зарезервированы Ронни Бэрдом, а лирохвосты... Лирохвосты склевывают ягоды на винограднике моего с Анук

детства. И лучше туда не соваться.

– Меня зовут О-Сими. А вас? – Брошюрка в руках девушки действительно оказалась разговорником.

Если бы со мной не было Линн, я бы назвал свое настоящее имя, запомнить короткое «Ги» куда легче, чем пафосное «Кристобаль», к тому же – японке, к тому же – окруженной чужой рекой, только блики на воде интернациональны. Если бы со мной не было Линн!.. Но Линн совсем рядом, а вода хорошо проводит звуки, наш короткий обмен репликами – не исключение. Плевать я хотел на Линн, но за ее спиной маячит столь желанный «*Ars Moriendi*»...

– Кристобаль. Это испанское имя. Кристобаль.

– Испанское? – О-Сими выглядит несколько разочарованной: версия «мой парижский друг» рушится прямо на глазах. А ей бы очень не хотелось этого. Очень.

Я живу в Париже, – это одна из двух фраз на английском, которые я произношу с неподражаемым лондонским акцентом. Вторая представляет собой сленговый вариант и без того непечатного «отсоси удохлого козла», но вряд ли она вызовет прилив энтузиазма у карманной японки.

– Вы говорите по-английски? – оживляется О-Сими.

– Нет. Ноу. Нет.

Я не говорю по-английски, как и положено «парижскому другу», я такой же туземец для О-Сими,

как и она для меня, в этом-то и состоит главная прелесть. И пока мы оба упиваемся этим, рядом с О-Сими появляется еще одна японка, столь же миниатюрная. Она что-то шепчет на ухо девушке и тихонько хихикает. О-Сими отвечает ей таким же тихим хихиканьем.

– Моя подруга Омацу, – замечает О-Сими спустя пару минут (минута ушла на то, чтобы свериться с разговорником).

В присутствии Омацу О-Сими теряет добрую половину своего туземного обаяния, теперь о гравюрах Утамаро можно забыть, а вспомнить разве что о плоских японских анимэ. Подобные мультяхи не вызывают у меня ничего, кроме отвращения, вот и сейчас я начинаю злиться. Отсосите удохлого козла, крошки!..

– Моя подруга Линн, – я все еще не в состоянии справиться с неожиданной злостью.

Интересно, слышала ли это Линн?

– Ваша подруга? – О-Сими наконец-то перестает хихикать.

– Да. Йес. Да.

Теперь уже за моей спиной раздается короткий смешок. Это Линн, она все слышала. Плевать я хотел на Линн, единственное мое желание – чтобы чертова Омацу отлепилась от О-Сими. Кто бы мог подумать, что за каких-нибудь пять минут я стану таким неистовым поклонником японской гравюры.

Поклонником, не терпящим ни малейшего посягательства на красоту линий. Мари-Кристин убила не один вечер на мое окультуривание – и не достигла никакого результата, «как это по-русски – кичиться своим варварством, Ги». И вот теперь я готов поверить, что в иерархии художественных ценностей Утамаро играючи оставит за флагом не только запасники Лувра и граффити в свинг-клубах, но и комикс об инспекторе Гаджете.

О-Сими снова роется в разговорнике.

Вряд ли он иллюстрирован гравюрами, самое большое откровение, которое можно из него извлечь, – «Будьте любезны, прикройте окно, здесь дует». Но странное дело, сердце мое вдруг начинает биться медленнее. Кровь тоже замедляет свой бег, теперь она ползет по венам со скоростью улитки: той самой, которую я видел в Синематеке, на ботинке Анук. Кровь замедляет свой бег, густеет и превращается в нечто желеобразное. Так и есть, вены мои заполнены улитками, картинка настолько реальна, что я на секунду прикрываю глаза. Проклятые слизняки множатся, наползают друг на друга, их раковины (почему-то напомнившие мне «Charonia Tritonis») угрожающе хрустят.

Крэк.

Крэк, крэк, крэк. Я явственно слышу хруст.

Я все еще жив, стенки сосудов не взломаны, как яичная скорлупа, – следовательно, хруст идет извне.

Крэк, крэк, крэк.

Это Линн. Она хрустит пальцами, не в силах помешать ни мне, ни О-Сими, ни разговорнику. Интересно, что за мысли проносятся сейчас в ее голове? Что молодость вероломна, как и положено молодости. А старость бессильна, как и положено старости. Что во фразе «Будьте любезны, прикройте окно, здесь дует» – стоит только О-Сими произнести ее – гораздо больше смысла, чем во всех сентенциях Линн, чем во всех ее воспоминаниях. Бедняжка.

– Я первый раз в Париже, – О-Сими говорит это едва ли не по складам.

Голоса ее почти не слышно из-за хрустящих суставов Бабетты, спасает лишь артикуляция, четкая и почтительная одновременно.

– Я первый раз в Париже...

– Да.

– Я ничего не знаю здесь.

Омацу все еще отирается поблизости – на правах близкой подруги, – но О-Сими предпочитает говорить о себе в единственном числе, она чутко уловила мою неприязнь к японской анимации. Настоящая маленькая гейша, привыкшая угождать клиенту. Чего бы ей это ни стоило.

– Вы бы не могли порекомендовать мне э-э... достопримечательности?

«Порекомендовать» и «достопримечательности» дается О-Сими с трудом. Куда легче поманить меня и

ткнуть указательным пальцем в разговорник. В неверном свете, который исходит от бликов на воде, я вижу стайку иероглифов. Они давно бы взлетели с листа, если бы не унылая цепь латиницы, окопавшаяся по соседству; только цепь их и удерживает.

«Extraction d'une poussiere d'oeil en bas».

«Удалить соринку с нижнего века».

Просьба (если это действительно просьба) выглядит несколько экстравагантно. Учитывая совсем не европейский разрез глаз японки и наше не столь близкое знакомство. В конце концов, для подобных просьб существует Омацу. Но удивиться я не успеваю. Скругленный ноготь О-Сими ползет вниз и останавливается на заголовке:

«Al'Hotel»³³

За последние несколько лет я перевидал массу отелей, но запомнился только первый. В нем я занимался любовью с Мари-Кристин – тоже впервые. Это был единственный отель, в котором я занимался любовью. Остальные были лишь местом для ночлега, не более. А тот, первый... Я почти физически ощущаю, как щелкает ноготь О-Сими. Единственный щелчок отправляет меня в прошлое, я оказываюсь в нем за секунду до поцелуя с Мари-Кристин. Тогда она попросила меня именно об этом – удалить соринку с нижнего века.

Extraction d'une poussiere d'oeil en bas.

Невинная хитрость влюбленной женщины, но откуда об этом может знать случайно встреченная мной японка?..

Гравюры.

Гравюры в гостиной Мари-Кристин. Я видел их столько раз, что напрочь забыл, что же конкретно на них изображено. Чайные красотки – да. Чайные красотки с налетом эротизма – да, хотя ничего фривольного в гравюрах не просматривается. А в названиях – и подавно. «Зеркало» (та, что справа от светильника) и «Ширма» (та, что слева). Кажется, так. А может быть, «У зеркала» и «За ширмой» – скорее всего; название и есть сюжет.

Девушка, стоящая за ширмой, не просто похожа на О-Сими, это и есть О-Сими, вот в чем крылась причина фотографического сходства. О-Сими с поправкой на два века. О-Сими с поправкой на прикрытый широким рукавом подбородок. Мне никогда не хватало воображения, чтобы представить, за кем же наблюдает стилизованная *femme de chamber*³⁴ с гравюры, но теперь... Теперь я вполне могу допустить, что объект ее интереса – я и Мари-Кристин. Я и Мари-Кристин с поправкой на два века. Я и Мари-Кристин с поправкой на размер груди (Мари-Кристин), безволосый подбородок (я сам), на суженные глаза (мы оба). Все истории повторяются, а уж истории страстей – тем более...

– Отель «Ламартин Опера», – щебечет О-Сими,

И слыхом и таким не слыхал.

– Я живу в отеле «Ламартин Опера». Номер двенадцать.

Нуда, как я сразу не догадался! Мари-Кристин в моих объятьях больше не интересуется О-Сими. За два века наша с Мари-Кристин страсть поистаскалась, обветшала, как рукава кимоно. И О-Сими сменила его – на джинсы, легкую куртку и футболку навыпуск. В кармане куртки легко умещается разговорник, а в задний карман джинсов можно сунуть ключ от номера в неведомой мне «Ламартин Опера».

Если, конечно, О-Сими не сдает его портье.

– Завтрак в девять утра. Я никогда не пропускаю завтрак.

Она никогда не пропускает завтраков, даже если это завтраки в гостинице, србатывает корпоративное азиатское мышление. А японцы за границей – тоже своего рода корпорация. И ключ от номера О-Сими все-таки сдает.

Но любому ключу, хотя бы и гостиничному, всегда найдется альтернатива. Например, табличка «Не беспокоить».

– ...Писатели всегда лгут. А в книгах – особенно...

Я не перебиваю Линн. Не соглашаюсь и не отрицаю все, сказанное ей, – просто не перебиваю.

Иногда я впадаю в странное забытие, топчусь на узкой полоске между сном и реальностью, что вполне объяснимо: ночью я привык спать. Париж с его ночными прелестями нисколько не изменил меня, а работа в «Сават и Мустаки» вымуштровала до абсурда. Модельный бизнес — всего лишь разновидность графика, в котором здоровому восьмичасовому сну отведено место в призовой тройке: красная ломаная на диаграмме, самая выразительная. Впрочем, мой сон трудно назвать здоровым, с появлением Анук ко мне вернулись все мои кошмары. Неизвестно, насколько все затянется, так что ночь с Линн можно считать передышкой.

Ночь с Линн.

Моя ночь с Линн тоже балансирует на грани реальности, ее квартира оказалась вовсе не такой, какой я представлял ее себе; никакими цветочными горшками и пинцетом для выщипывания бровей на подоконнике здесь не пахнет. Квартирой в общепринятом смысле — и подавно. Жилище Линн скорее напоминает паутину в забытом углу забытой библиотеки. Или щупальца спрута, где каждая присоска — всего лишь очередной ящик каталога: Джойс-Диккенс-Доде-Чарльз-Буковски-интересно-какой-идиот-сунул-Буковски-не-в-ту-стопку?..

Линн обитает в том самом букинистическом, владелицей которого является. Это не просто жилые комнаты над магазином, это — естественное его

продолжение. Вернее, не совсем естественное. Прямо над зальчиком с книгами расположены четыре крохотных галереи: они идут от углов и смыкаются в центре, образуя площадку. Я бы сравнил их с навесными мостами, ориентированными по сторонам света. Площадка же представляет собой маленький холл с парой кресел, диваном и круглым столиком посередине.

Розы и правда существуют, Линн не соврала.

Никогда не видел такого количества живых цветов. Их десятки, может быть – сотни, все красные, без оттенков и полутонов, с едва распустившимися тугими бутонами. Они стоят прямо на полу, в самых обыкновенных стеклянных банках, Линн не очень-то заботилась об эстетике.

Линн вообще мало о чем заботится: «выдержанная мадера», которую мы пьем вот уже несколько часов, смахивает на портвешок из моей северной юности; кофе, который мы пили в самом начале, ощутимо отдавал желудями. И я искренне надеюсь, что до обещанной Линн *paella valensiana* дело так и не дойдет.

– Писатели всегда лгут. А в книгах – особенно. Чем больше писатель – тем больше ложь, Кристобаль.

Галерейки над магазином что-то неуловимо напоминают – виденное, но забытое?.., огрызок набережной в Дьеппе?.. К счастью, эта мысль посещает меня лишь тогда, когда Линн не ходит по

ним, за последние три четверти часа она ни разу не присела. И здорово надралась, хотя я ни разу не видел, чтобы она подливала себе в бокал, с которым не расстается. За последние три четверти часа Линн так и не приблизилась ко мне. В ее передвижениях по галереям есть какая-то система, но понять ее невозможно. Такой же невозможной кажется мне и пустая болтовня Линн. Все эти воспоминания о порванных рубашках шестьдесят восьмого, о разбитых подбородках шестьдесят восьмого, о надписях на сорбоннских стенах – «Bourgeois, vous n'avez rien compris»³⁵; о косяке с марихуаной, выкуренном Линн за полтора года до разбитых подбородков (ее не вставило, надо же!); о сумке, которую Линн забыла в метро в августе семидесятого, – ничего особенного в ней не было, так, зубная нить со вкусом мяты, мундштук от тромбона, ароматические палочки «cannabis», – ничего особенного в ней не было, но Линн до сих пор жаль... Еще дольше Линн топчется на лобстерах. Как-то ее испанец приволок целую сетку живых лобстеров, по его утверждению – подарок от команданте Фиделя, тогда это было модно – любить Фиделя и ненавидеть империализм. Несколько часов лобстеры пролежали в мойке, ни Линн, ни испанец не знали, как к ним подступить. И под каким соусом готовить – под имбирным или ананасовым, сторонники команданте (опять же по утверждению испанца) предпочитали имбирный.

Линн же всем лобстерам и сторонникам команданте предпочитала занятия любовью. И они с испанцем отправились заниматься любовью, а лобстеры вылезли из мойки и расползлись по кухне. И целый вечер Линн и ее испанец потратили на то, чтобы загнать лобстеров обратно.

Линн не помнит год, но точно помнит дату появления лобстеров в мойке – девятое сентября, вы не поверите, Кристобаль, но кровь у лобстеров – голубая!..

Я знаю всю правду о лобстерах, улыбается Линн.

И это звучит как «я знаю всю правду о любви».

Время от времени Линн трясет головой, и мне начинает казаться: еще секунда, и она выдернет шпильку из волос, и шиньон «Бабетта», а вместе с ним и магия шестидесятых перестанут существовать. Но ничего подобного Линн не делает. И мне остается лишь утешаться ничего незначащими, но забавными фактами, которые владелица букинистического ловко нанизывает на зубную нить воспоминаний. С привкусом мяты, как же иначе. Так, от Линн я узнаю, что:

Национальный оркестр Монако больше, чем его армия;

В казино Лас-Вегаса нет часов;

Единственное домашнее животное, которое не упоминается в Библии, – кошка;

У улитки двадцать пять тысяч зубов;

Единственные животные, занимающиеся сексом ради удовольствия, — люди и дельфины;

Белокурые бороды растут быстрее, чем темные;

Домашняя пыль на семьдесят процентов состоит из сброшенной кожи;

В фильме Камерона «Титаник» наиболее часто произносимое слово — «роза».

Розы в стеклянных банках не обсуждаются, во всяком случае, Линн ни разу о них не обмолвилась. Розы не обсуждаются, но с ними явно что-то происходит. Однотонного красного больше нет — я, сидящий в этом проклятом цветнике, могу утверждать это.

Розы раздражают меня, так же как и болтовня Линн.

Но есть и еще что-то, в чем я не хочу признаться даже себе. От безобидных на вид цветов исходит опасность. Я осознаю это в тот самый момент, когда мадера в моем бокале, до того нежно-медовая, становится алой.

Шутки освещения, Анук умерла бы со смеху.

Шутки освещения, вернее — его странности. И как только я не заметил их с самого начала? И галереи, и пятачок в центре пронизаны мягким ровным сиянием, но определить, откуда оно идет, невозможно. Нет ни ламп дневного света, ни бра на стенах; нет торшеров, люстр, плафонов, китайских фонариков; нет ночников с наброшенными на них шелковыми платками — ноу-

хау первых морщин и тантрического секса. Это неожиданное открытие заставляет меня вертеть головой в разные стороны, а потом я и вовсе задираю ее вверх.

Купол, вот оно что.

Купол вместо потолка. Свет проникает именно через него. Купол или сфера, что совсем уже невероятно, я хорошо помню, как выглядит здание снаружи; сегодня (вот черт, уже вчера) я провел возле него немало времени. Самый обыкновенный дом, каких в Париже понатыкано сотнями, пять или шесть этажей. Букинистический занимает первый, квартира Линн — прямо над магазином, следовательно, прибавляем еще один. Тогда куда делись оставшиеся и причем здесь купол? Или сфера...

— А кто живет наверху, Линн?

Линн выгуливает воспоминания метрах в пятнадцати от меня, не самое оптимальное расстояние для вопросов; рассудив, что могу оказаться так и не услышанным, я почти кричу.

Кретин. Она прекрасно меня слышит.

— В каком смысле?..

Ее жизненное пространство продолжает самым изощренным образом издеваться надо мной, все происходит почти так же, как в долгоиграющем сериале «Завтрак с Discovery», на который я время от времени натыкаюсь, путешествуя по телеканалам. Ну да, все эти захватывающие неокрепший

обывательский дух микро– и макросъемки, полет пули или, к примеру, личная жизнь капли молока, она всегда заканчивается грехопадением. Голос Линн тоже живет своей жизнью. Во всяком случае, я вижу, как он приближается ко мне, именно – вижу. Легкая, почти неуловимая тень разрезает воздух подобно пуле, подобно капле (я так и не успеваю сообразить, на что похожа тень – на жука-носорога, жука-скарабея или на погремушку со змеиного хвоста) – и вот уже голос Линн раскачивается в моей ушной раковине, как в гамаке.

Рассудив, что может оказаться так и не услышанной, Линн почти шепчет:

- В каком смысле, Кристобаль?
- Наверху, над вами... Кто живет над вами?
- А-а... Люди без воображения. Люди без воображения, но какое нам до них дело, милый мой?..
- Нуда... Никакого, Линн.

Старая сука. Теперь-то я точно знаю, что не получу ответа ни на один свой вопрос, даже если Линн приблизится ко мне на расстояние выкуренной до фильтра сигареты.

- А раньше? Что здесь было раньше?
- Здесь всегда было полно книг, Кристобаль. Здесь всегда был букинистический.

Здесь всегда был букинистический, вне всякого сомнения. Он был здесь еще до того, как люди изобрели книгопечатание, а Иисус исцелил слепого,

смешав прах и слюну, а Айседора Дункан ввела в моду босоножки.

— А вы сами, Линн? Как давно вы здесь?

— С тех самых пор, как американцы высадились на Луне.

Понятия не имею, когда американцы высадились на Луне, может быть, они и не высаживались вовсе.

— А-а... Ясно.

— Ничего вам не ясно, — тут же уличает меня лениво раскачивающийся в гамаке шепот Линн. — Вы ведь этого не знаете...

Киты и борцы сумо тоже не знают этого, но до них Линн не добраться. Остаюсь я, наивный дурачок в цветнике и с бокалом мадеры в руках.

— Пожалуй, мне пора, Линн... Спасибо за вечер.

— Вы обиделись? Напрасно... А я хотела рассказать вам о книге. Об «Ars Moriendi». Вы ведь здесь из-за нее?

Линн больше не нашептывает мне на ухо, более того, — ее последняя фраза едва различима. И это уже не шутки освещения, на которые можно было спихнуть изменившее цвет вино. Это само пространство букинистического играет со мной в странную игру. То, что происходит с розами, заставляет меня забыть даже о светящемся куполе над головой. Стебли, еще секунду назад живые и упругие, сохнут прямо на глазах.

И — сплетаются друг с другом.

Я вижу, как омертвевшие плети цветов образуют такой же мертвый узор. Мертвый – и потому совершенный. Что-то подобное уже было в моей жизни, или в моих кошмарах; все предметы, находящиеся здесь, всего лишь воспоминания, пусть и чудовищно искривленные. Все, от дурацких галереек до дурацких роз.

Линн – исключение, но и за это я не могу поручиться.

Изгородь из стеблей становится все гуще, теперь она обступает меня со всех сторон, щерится острыми шипами: им ничего не стоит впиться в тело, насквозь проткнуть ладони, ступни и запястья, выудить из-под век закатившиеся туда глазные яблоки. Очередной кошмар, говорю я себе, очередной кошмар, только и всего, и сейчас в просвете между не успевшими срастись стеблями появится чье-то мертвое лицо. Мертвое – и потому совершенное.

Тук-тук, я задержусь ненадолго, ты ведь не против, Гай?..

Но реальность (я все-таки не сплю, я все еще в букинистическом) оказывается причудливее кошмара: изгородь кишит насекомыми, совсем крохотными и побольше, с лоснящимися панцирями, с жесткими подкрыльями, с нежным юношеским пушком на лапках, есть даже пара кузнечиков-кобылок, есть даже медведки – с раздвоенным хвостом, похожим на садовый секатор. Насекомые лезут из всех щелей, но

не разбегаются в разные стороны, как можно было бы предположить, нет. Напротив, сливаются в один поток и...

И приближаются ко мне.

Они приближаются, я чувствую ритм их движения, подобрать к нему музыкальную канву – не вопрос, «Let's do it» Эллы Фицджеральд или что-то вроде того. Главное – чтобы ударные были приглушены и уравновешены вкрадчивыми фортепьянными клавишами. Мои же собственные страхи ни приглушить, ни уравновесить не Удастся.

Я – легкая добыча. Я и пальцем не пошевелю, чтобы избавиться от проклятых жуков, хотите сожрать меня, что ж, let's do it. Я – легкая добыча.

Интересно, видит ли меня сейчас Линн?

Кузнечики-кобылки уж точно видят. Один из них путается у меня в волосах, как в траве, остальные затерялись в складках одежды, облепили плечи, щекочут шею. Странно, но ничего отталкивающего в этих прохладных, почти невесомых прикосновениях нет. Странно и то, что возня насекомых напоминает мне поцелуй Мари-Кристин на заре нашего с ней романа. Мари-Кристин обожала шарить языком в моем ухе, «поцелуй женщины-паука», вот как это называлось. Легкое приятное жжение, нечто подобное я испытываю и сейчас. Очевидно, какая-то тварь уже забралась вовнутрь, так и оглохнуть недолго.

Так и оглохнуть недолго, отстраненно думаю я, не делая, однако, никаких попыток вытащить насекомое из уха.

– ...Забавная вещь, Кристобаль... Девичья фамилия матери Базза Олдрина, одного из астронавтов, побывавших на Луне, была Мун³⁶. Ну разве не прелесть?!

Я не оглох, это снова Линн. Снова ее голос. Я не оглох и не сошел с ума, хотя все предпосылки к этому имеются. Насекомые, совсем крохотные и побольше; с лоснящимися панцирями, с жесткими подкрыльями, с нежным юношеским пушком на лапках, даже пара

кузнечиков-кобылок, даже медведки с раздвоенным хвостом, похожим на садовый секатор, – не что иное, как составляющие дурацкой фразы про неизвестного мне Базза Олдрина. Все они копошатся сейчас в моем ухе, ну да, их нет ни на стеблях, ни на одежде; интересно, сколько десятков (или сотен) жуков может вместить человеческое ухо?

Линн, вот кто знает это наверняка.

То, чего не знает Линн: никакой я не Кристобаль, начинающий писатель; единственное слово, которое я могу без напряжения произнести по-испански – «Hola», вчера вечером я едва не погиб в автокатастрофе, американцы никогда не были на Луне, моя любовница старше меня на двадцать лет, у меня есть сестра-близнец по имени Анук. Мои ночные кошмары носят то же имя.

– ...У Олдрина было прозвище – «непоседа»,

Представить собственное ухо не составляет никакого труда: это тоннель, вопреки всем законам анатомии. Тоннель, забитый насекомыми, я уже видел с десятков похожих – в Австрии и Швейцарии, а в одном даже застрял на два часа, ощущение не из приятных, бедные жуки.

– А у вас было прозвище, Кристобаль?

Молчать дальше просто неприлично, это может обидеть хозяйку и она уж точно никогда не расскажет мне об «Ars Moriendi». Я готов раскрыть рот, но что-то явно мешает мне. Что-то поднимающееся из

гортани. Никаких особых неудобств это «что-то» не создает, ему просто смертельно хочется вырваться на волю, только и всего.

— У вас было прозвище?

— Нет.

Мое «нет» выползает на свет божий в образе стрекозы-пожарника (были еще и речники, и бомбардиры, но эта — пожарник, из-за красного брюшка). Пожарник трещит крыльями и, слетев с губ, взмывает к куполу. Достойный ответ любительнице черно-белых детективов и ее жукам, остается надеяться, что он достигнет Линн (настигнет Линн?) в первозданном виде.

Линн не удивится, я знаю это точно.

Мне бы тоже пора перестать удивляться происходящему. И не обращать внимания на толкотню и шуршание на языке, уж не личинки ли они там откладывают?..

— А как вы прозвали меня, Кристобаль? Вы ведь наверняка как-то меня прозвали.

— Никак.

— Бросьте, Кристобаль. Книга вам так и не досталась, было от чего прийти в уныние. — Линн издевается надо мной, определенно.

— Она предназначалась другому. Тому, кто пришел раньше. Было бы странно, если бы вы продали ее мне, а не этому художнику.

— Ронни Бэрду.

– Да.

– И вы проторчали здесь целый час, вы все-таки дождались...

– Сорок пять минут, – поправляю я Линн.

– Сорок пять минут. Времени вполне достаточно, чтобы придумать мне какое-нибудь обидное прозвище.

– Зачем? Вы не виноваты, Линн. Книга предназначалась другому.

– «Предназначалась» – очень точное слово... Писатель должен быть точным в выборе слов, вы делаете успехи, Кристобаль. Ничего случайного. Вы ведь появились в моем магазине совсем не случайно. Я права?

– Нет, – я выпускаю вверх, к куполу, еще одного пожарника. Уж не знаю, которого по счету.

Нужно положить этому конец, а заодно и избавиться от наседающих на меня сухих розовых стеблей. Для начала я пытаюсь плеснуть в них остатками мадеры:дохлый номер, жидкость увязла в бокале и никак не реагирует на все мои телодвижения. Она кажется приклеенной к стенкам, хотя я пил из бокала совсем недавно, каких-нибудь десять минут назад, и мадера исправно стекала мне в глотку. Правда, и цвета она была другого.

Чтобы убедиться в тщетности своих усилий, а заодно и закрыть тему с чертовой мадерой, я сую палец в бокал. Ничего сверхъестественного не

происходит, и палец не встречает никакого сопротивления, жидкость как жидкость – есть от чего прийти в уныние, Линн права.

Но никакого уныния я не испытываю. Никакого уныния, скорее – ярость. Выплеснуть вино из бокала не получается ни со второй, ни с третьей попытки, это и приводит меня к мысли, что между изгородью из сухих стеблей и вином (в его нынешнем состоянии) существует связь.

Между вином, розами, кузнечиками-кобылками и куполом, невесть как вздувшемся в самом сердце вполне обычного дома. Неизвестно, существует ли связь с самой Линн и если да – не кровосмесительной ли она является?

Кровосмесительная.

Почему именно это слово вертится у меня на языке? Именно это словосочетание – «кровосмесительная связь». «Кровное родство» подошло бы больше. Слишком много красного. Да. Вокруг слишком много красного. Красные перья кузнечиков-кобылок, красное брюшко стрекоз, псевдомадера, я стал часто думать о крови, ведь только у лобстеров она голубая.

Если верить Линн.

Я не верю Линн, и зачем только я позволил затащить себя в этот чертов букинистический? Я не верю Линн, хотя она ни разу не солгала мне. Напротив, это я, я лгал ей с самого начала. Но

сокрушаться поздно, назад ничего не отыграешь.

Жидкость в бокале (я все еще продолжаю называть ее мадерой — по инерции) вспухает. Я замечаю это в самый последний момент: огромный пузырь, больше похожий на выброс болотного газа, он вот-вот лопнет. Но не пузырь пугает меня, хотя само по себе зрелище не из приятных. Не пузырь, а то, что находится под ним: неясные, смутные очертания чьего-то лица. Это не лицо из моих ночных кошмаров, я бы обязательно вспомнил его, их не так уж много — лиц, которые я видел во сне, и десятка не наберется, включая покойную фотомоделю Лилу и Мари-Кристин. Это не лицо Анук, она и в кошмарах ускользает от меня. Ничего похожего, но...

Лучше бы это была Лиля, пусть даже и с перерезанным горлом. Мари-Кристин, обе японки — О-Сими и Омацу, обе Линн — молодая и старая, кто угодно; моя трусость омерзительна мне самому, пот заливает глаза, а физиономия под вспухшим пузырем принадлежит мальчишке. Ему лет шесть-семь, не больше, ничего отталкивающего в чертах нет, мальчишку можно назвать симпатягой, херувимчиком, беспроегрышный вариант для семейного каталога одежды. Я никогда не видел его раньше, никогда не сталкивался с ним, дети вообще вызывают во мне глухое раздражение. Все вместе и каждый в отдельности.

Но только не этот мальчишка.

Я боюсь его – определенно, боюсь.

Впрочем, чувство страха – не единственное. Есть и еще кое-что. С самого дна моей не на шутку перепуганной души поднимается мутная волна знания. Знания, совершенно не нужного мне. Способного превратить мою (и не только мою) жизнь в ад и сделать ночные кошмары единственной средой обитания. Это знание забивает рот тучами песка, мелкими камнями, студенистыми обрывками мыслей, самая невинная из которых выглядит так: этот мальчишка – я сам.

Почему бы и нет, пленка моего детства безнадежно засвечена, о нем не сохранилось ни единого документального свидетельства. Ни единого фото, кроме поддельной фотографии нашего с Анук отца, оказавшейся впоследствии фотографией американского актера Монтгомери Клифта. Монтгомери Клифту повезло – он остался на плаву, выкарабкался, выжил, счастливо избежал участи семейного альбома рода Кутарба. То, что альбом существовал, не вызывает у меня никаких сомнений. Я даже помню место, где он лежал, – верхний ящик комода в дедовой комнате. Ящик всегда запирался на ключ, а ключ всегда висел у деда на поясе: рядом с табачным кисетом и чехлом для трубки. Каким образом альбом исчез из запертого ящика, осталось загадкой. Для всех, кроме меня.

Анук.

Анук — вот кто выудил альбом, вот кто уничтожил его. Анук всегда была невыносима мысль, что она кому-то обязана. Даже своим появлением на свет. Из-за этого она и разделалась с альбомом, а заодно — и со всеми своими родственниками, уж не знаю, сколько их там было. Со всеми, кто так или иначе оказался причастен к ее рождению, к нашему рождению. Со всеми, в ком жила частичка еще не рожденной Анук. Эта частичка могла прикинуться чем угодно — пылью на ботинках, Царапиной на лбу, темным контуром под ногтями — то ли кровь, то ли земля, неясно; род Кутарба всегда существовал в узком пространстве между бойней и виноградником. Анук не нравилось ни то ни другое, но именно здесь, в узком пространстве между бойней и виноградником, как я подозреваю, и нашел свое последнее пристанище наш семейный альбом. Иногда мне кажется — я вижу эту картину: заваленный комьями земли бархатный переплет, черви, жрущие тонкую плоть фотографий; бледные корешки, прорастающие сквозь ретушь глаз. Чьи это глаза — я не знаю, быть может — шестнадцатилетней девчонки, нашей с Анук матери. В такие минуты — в те минуты, когда я думаю об этом, — мои собственные зрачки начинают ныть от боли, как будто чертовы корешки прокалывают, пронзают навылет и их. По семейной легенде у нас с матерью были одинаковые глаза, и в этом мое единственное преимущество перед Анук, которое и

преимуществом-то никаким не является. Полузабытые семейные легенды — все, что мне остается, утешение для дурачков. Я и сам их не помню, разве что про нож и про то, что наша бабка (умершая задолго до нашего рождения) носила белье из парашютной ткани. Парашют был трофейным и принадлежал сбитому немецкому летчику и долгое время провалялся в сундуке под чердачным окном, пока бабке — в ту пору совсем юной — не пришла в голову счастливая мысль пустить плотный, слегка пожелтевший шелк на белье. Трусики (всегда одного и того же фасона) и комбинации (тут бабка проявляла завидную фантазию) свели с ума нашего деда — в ту пору совсем юного. Из последнего необработанного куска было скроено свадебное платье, именно в нем бабка и отправилась к венцу, именно в нем она и сказала свое тихое «да», не имеющее ничего общего с провокационно-эротическими комбинациями. И с шуршащими трусиками — наверняка грубый летный шелк натирал кожу, но ради парня с бойни стоило потерпеть. Много позже, уже подростком, я наконец-то увидел это платье. Рукава три четверти, уйма аккуратно сметанных вытачек, несколько булавок в подоле; открытый, испещренный мелкими проколами ворот (скорее всего, бабка украшала его живыми цветами), такие же проколы на талии плюс несколько невнятных расплывчатых пятен, не очень, впрочем, заметных. То ли кровь, то ли земля; в моих

подростковых сентиментальных фантазиях дед подхватывал бабку и долго кружил по комнате, прежде чем упасть с ней в постель, отсюда и следы.

Руки у деда всегда были темными.

В моих взрослых сентиментальных фантазиях на них время от времени проступает сукровица, результат долгой работы на бойне. Сукровица всегда с чем-нибудь смешана: табачные крошки, личинки виноградной тли, перышко крапивника (этими маленькими птицами была наполнена пиниевая роща за поселком). В моих взрослых сентиментальных фантазиях смерть деда выглядит самым естественным продолжением жизни, переход в нее длится годами, он почти незаметен. Сначала смерть поражает щиколотки и колени, кожа на них приобретает землистый оттенок, а потом и вовсе становится землей. Текущую по жилам кровь сменяет дождевая вода, сердце тоже видоизменяется: вместо маловразумительного, наполненного требухой мешка в груди у деда оседает крошечная мельница, она-то и качает воду. Возможно, это та самая мельница, которую мы с Анук смастерили в наше первое дождливое лето из щепок, жестянки и лопастей от старого вентилятора. Постоянно циркулирующая вода делает свое дело, не сразу, но делает: дедовы кости сыреют, покрываются тонким слоем коры и выпускают первые побеги. Именно они, а еще больше — живущие под корой насекомые привлекают птиц.

Ничем другим объяснить появление в доме крапивников я не могу. За полгода до моего отъезда из поселка крапивники повадились прилетать из пиниевой рощи, садиться деду на плечи и что-то выклеивать в них. Тогда я не придавал этому особого значения, но сейчас, в моих взрослых сентиментальных фантазиях, крапивники оказываются намертво связанными с дедом.

Намертво — хотя я не видел деда мертвым.

Никто не видел деда мертвым.

И никто не видел его уходящим из поселка. Дверь дома заперта, но заперта изнутри, на засов, а всегда распахнутые настежь окна закрыты. В присутствии двух понятых — старого, слепого на один глаз Автандила и дочери школьной директрисы толстухи Мириам — поселковый милиционер Ваха взламывает дверь. Беглый осмотр веранды и кухни ничего не дает, и Вахе остается лишь констатировать, что земля в заброшенных цветочных горшках на веранде пересохла. А вино из недопитого, стоящего на столе стакана забродило и превратилось в уксус. Пока Ваха и Автандил топчутся у спальни, предчувствуя недоброе, толстуха Мириам прячет в широкой юбке нераспечатанную коробку печенья, из тех, что я ежемесячно присылал деду.

Входить в спальню вместе со всеми она отказывается. Не потому, что боится, а потому, что печенье интересует ее гораздо больше.

То, что видят в спальне Ваха и Автандил, не поддается разумному объяснению. Она полна птиц, тех самых крапивников. Птицы повсюду – на старом комоде, на ночнике у кровати, на спинках самой кровати.

Птицы повсюду, и они молчат, ни единой, самой простенькой трели, ни единого шороха крыла. Несколько секунд мужчины и крапивники разглядывают друг друга. И только короткий вскрик Мириам (она все-таки подошла к двери спальни) приводит обе стороны в чувство. С громким писком крапивники срываются с мест, все сразу, десятки маленьких летающих торпед. Дверной проем слишком узок для такого количества птиц, они бьются о косяки, о невидящий глаз Автандила, форменную фуражку Вахи, они бьются о роскошный бюст Мириам – предмет вожделений мужской половины поселка. Спустя мгновение комната пуста, о том, что крапивники были здесь, напоминают только несколько птичьих телец на полу: столкновение с косяками и жаркой грудью дочери директрисы стоило им жизни.

Дальнейшая судьба стаи неизвестна, что же на самом деле случилось с дедом – тоже. Позабыв о печенье, Мириам причитает над погибшими птицами, ах вы, бедняжки; мужчины же сосредотачиваются на кровати. Кровать засыпана землей и странного вида кореньями, напоминающими непомерно раздувшийся

корень мандрагоры. Там же Ваха находит самодельную игрушечную мельницу, а Мириам – свадебное платье. Высохшие побеги обвивают платье (оно испачкано землей и птичьим пометом), и теперь уже Мириам причитает не над птицами, а над струящимся когда-то молочным шелком, ах ты бедняжка, какой красивый, и зачем нужно было поганить такую шикарную вещь? Причитания Мириам выглядят абстрактными, любовь к чистому искусству, не более, одного взгляда на платье достаточно, чтобы понять: Мириам не влезет в него ни при каких условиях, даже голову в ворот просунуть не удастся.

Дальнейшая судьба платья неизвестна, так же, как и судьба самодельной игрушечной мельницы, так же, как и судьба Мириам. До Вахи доходили слухи, что толстуха, бежавшая от войны в Турцию, промышляет танцем живота в одном из духанчиков Измира, но поручиться за их истинность он не смог. Коренья, в которые превратились кости деда, – дело другое. Коренья унес старый Автандил, чтобы впоследствии приготовить из них настойку от артрита. Весь поселок, до того как его накрыла война и стало не до артритов, бегал к Автандилу за этой чудодейственной настойкой. Попутно оказалось, что она помогает и от болей в пояснице, и от красной волчанки, и еще от десятка напастей, а если смешать ее с золой и приложить к ране – рана затянется за несколько часов.

Я не видел деда мертвым.

А обо всем происшедшем рассказал мне Ваха, перебравшийся с юга на север и сменивший милицейский околыш на кепку торговца мандаринами. Мы столкнулись с ним случайно, в забегаловке у Василеостровского рынка, спустя полтора года после описываемых событий. В подтверждение своих слов Ваха даже показал мне короткий шрам на лбу, след от клюва крапивника, но я бы поверил ему и без этого. Анук – вот кто научил меня верить в самые невероятные вещи. К тому же крапивники приносят счастье, а Ваха выглядел вполне счастливым.

Больше мы не виделись, но теперь, во всяком случае, я знал: деда нет в живых. Я знал это и раньше, и смерть его оказалась именно такой, какой я представлял себе, не хуже и не лучше всех остальных смертей в семействе Кутарба. Женщины в нем всегда умирали от родов, мужчины – от одиночества: одинокие всадники на войне, одинокие владельцы виноградников, одинокие забойщики скота, единственное белое пятно – наш с Анук отец, пришлый человек, имени которого я никогда не узнаю.

Быть может, он и вправду был похож на Монтгомери Клифта.

Мне бы хотелось дружить со змеями. Или с волками, но со змеями все-таки больше.

Желание такое же несбыточное, как и желание быть нужным Анук, откуда оно идет — непонятно. Мой отец был змееловом? Никаких сведений об этом не существует, с тем же успехом он мог быть карточным шулером, карманным воришкой, продавцом лотерейных билетов или просто бродягой. Как бы то ни было, места в семейном альбоме, уничтоженном Анук, ему не нашлось.

И не поэтому ли Анук уничтожила альбом?

Вряд ли, никаких родственных чувств она не испытывала, даже к деду, который вырастил ее, даже к брату, который рос вместе с ней. Что уж говорить о Монтгомери Клифте? Еще в юности, добравшись до кинотеатров и видеокассет, я пересмотрел все фильмы с его участием: и «Красную реку», и «Неприкаянных», и «Молодых львов». Такой человек никогда бы не опустился до продажи лотерейных билетов, но представить его в роли бродяги не составило особого труда.

С тех пор как Анук уничтожила альбом, мне остается только представлять. И все семейное дерево рода Кутар-ба, и каждую его ветвь в отдельности. Когда-то самое обыкновенное (дуб, вяз, пиния, стреноженная виноградной лозой), оно вдруг выбросило экзотический цветок по имени Анук. Я — не в счет, я всегда был подлеском, лишенным соков. Анук — другое дело.

Анук всегда знала то, чего не знаю я. И делала все,

чтобы я никогда ничего не узнал. В этом-то и было ее преимущество. В этом-то и заключается тайна гибели альбома. Анук не нужно было гадать, какими именно были жившие до нас; те, из семени которых проросла парочка близнецов. Анук видела их, так, как видят звезды южной ночью. Наверняка они не очень понравились ей, наверняка она предпочла бы совсем другое и совсем других; она предпочла бы появиться на свет из расколотой керамической фигурки ацтекского божества, из дельфиньего брюха, из трубки, выбитой о каблук. Или из ушной раковины обыкновенной домашней кошки – неважно, тем более что кошки в нашем доме отродясь не водилось. Важно, что у Анук всегда был выбор – помнить или забыть.

Забыть увиденные когда-то лица гораздо проще, чем помнить о том, что ты никогда не видел их.

Она не оставила мне выбора.

Его нет и сейчас, в букинистическом магазинчике Линн.

Неужели лицо мальчишки, которое я вижу в проклятом бокале с мадерой, – это мое собственное лицо? Пока я думаю об этом, лицо меняется, с размаху перескакивая год, два, десяток лет. Слава богу, хоть какая-то определенность. Молодой человек, ему лет двадцать – именно в двадцать я познакомился с Мари-Кристин – ему лет двадцать, и это не я.

Ничего похожего.

Во всяком случае, я никогда не выглядел откровенным психопатом. Он тоже не выглядит психопатом, но и от херувима мало что осталось. Да и какой херувим согласился бы на нудную должность клерка? Вот на кого смахивает парень – типичный клерк, менеджер среднего звена, единственное достоинство которого заключается в умении открывать пивные крышки зубами. Ему всегда достаются холодные гамбургеры, выдохшаяся кока-кола и просроченный абонемент в бассейн, а все его любовные связи заканчиваются триппером.

Сукин сын.

Сиди на жопе ровно, сукин сын.

Я почти успокаиваюсь, я готов рассмеяться собственным страхам (надо же, как меня скрутила ночь в логове престарелой Бабетты!), я успокаиваюсь в тот самый момент, когда лицо меняется еще раз. И что-то внутри подсказывает мне: это изменение последнее.

Нет, он по-прежнему клерк, и ему по-прежнему не больше двадцати. Со всеми его гамбургерами, трипперами и пивными крышками. Со спортивной газетой, которую он успевает пробежать глазами, стоя на эскалаторе в метро; с недостроенной моделью бомбардировщика Б-52 (масштаб 1:100), с постером Синди Кроуфорд в сортире, с постером Бритни Спирс над обеденным столом, с каким-нибудь туповатым

хобби вроде коллекционирования ручных кофейных мельниц. Он по-прежнему клерк, все еще клерк, но это дневная его сторона, о которой знают все.

Есть еще ночная сторона.

Беспросветно темная, о ее существовании подозревают немногие. А если и видят ее, то это последнее, что они видят в жизни. Спортивная газета оказывается порванной в клочья, недостроенная модель бомбардировщика Б-52 (масштаб 1:100)— сломанной о колено, у бумажных Бритни и Синди выколоты глаза (для этого сгодилась самая обыкновенная отвертка), ручные кофейные мельницы разобраны до последнего винтика. Охота началась. И всего-то и надо, что сменить галстук на свитер с глухим воротом, а туфли на мокасины, нож — слишком примитивное оружие, к тому же он не влезает в карман, так что лучше складной опасной бритвы ничего и быть не может. О, эта опасная бритва, ежедневное бритье превращается с ней в бои без правил, но разве об этом помнишь, оказавшись на ночной стороне? Она и есть пропуск на ночную сторону, билет в один конец. На ночной стороне она ни разу не подвела, а легкие порезы от бритья — всего лишь ревность к дневной стороне; главное предназначение всегда скрыто от глаз, так, кажется, говорила Линн.

Этот парень — убийца.

Я знаю точно — этот парень убийца. Он отражается

во мне, как в зрачке жертвы, я и есть зрачок жертвы, на затухающей сетчатке запечатлелось все, до малейшей детали: рот парня, сведенный болью и наслаждением, провалы вместо скул, провалы вместо глаз, легкие порезы от бритья. Он бреется той же бритвой, которой убивает, вот оно что!.. Острая боль в горле заставляет меня отшатнуться и разжать пальцы. Бокал с мадерой или бокал с убийцей – так будет вернее – падает и разбивается.

Наваждение закончилось.

Наваждение закончилось, и это касается не только бокала. Никакой изгороди из стеблей, от сотен насекомых не осталось и следа, маленький холл на пересечении галерей выглядит именно так, как выглядел в самом начале ночи: те же пара кресел, диван и столик посередине. Те же безобидные розы в безобидных банках, никогда не видел такого количества живых цветов.

– Что случилось, Кристобаль? – голос Линн окончательно приводит меня в чувство.

– Я разбил бокал. Я очень неловок.

– Глупости. В моем доме так давно не бились бокалы... Давно пора это сделать, вы не находите?

Она все в тех же пятнадцати метрах от меня, расстояние почти невыносимое для человека, который только что один на один столкнулся с бритвенными порезами убийцы. Мне хочется приблизиться к Линн, к Линн-чудачке, Линн-избавительнице. Вовсе не для

того, чтобы она объяснила мне, что происходит (пересказать происшедшее означает поставить себе диагноз: ты сумасшедший), вовсе нет. Линн — единственное, что связывает меня с реальностью за стенами букинистического, она ведь существует, эта реальность, город, ночь, кораблики на Сене, яхты на канале Сен-Мартен, О-Сими в гостинице «Ламартин Опера», квартира Мари-Кристин, моя собственная квартира. Оказаться там, где угодно, но по ту сторону стен, мое единственное желание. Вряд ли его разделяет Линн, но в любом случае только она знает, где выход.

— Странное место, — говорю я, обшаривая глазами пространство и делая шаг вперед, к Линн.

Пока никаких изменений, розы в банках ведут себя смирно, накидки на креслах невинны, как младенцы, бутылка с остатками мадеры выросла в пыль на столике, пока никаких изменений, еще шаг, еще пара шагов, не будь ситуация столь абсурдной, я бы оказался внизу за пять секунд.

«Не ездите быстрее, чем может лететь твой ангел».

Этот стикер я видел однажды на заднем стекле разбившегося «Рено», никто из его пассажиров не спасся, то, что когда-то было людьми, вырезали из покореженной груды металла несколько часов; выжила только надпись на заднем стекле: «Не ездите быстрее, чем может лететь твой ангел». Мне впору побеспокоиться о собственном ангеле, еще шаг, еще

пара шагов.

– Странное, странное место, Линн,

Расстояние между нами и не думает сокращаться, хотя Линн не сделала ни одного движения, она по-прежнему в самом конце галереи.

– А книги и есть странное место, Кристобаль. Самое странное. К этому нельзя привыкнуть, но я привыкла.

Еще шаг, еще пара шагов. Последний кордон пройден, лукавый маленький холл остался за спиной, теперь можно перевести дух, как бы то ни было, никакая сила не заставит меня вернуться обратно. Часть галереи (я бы назвал ее восточной, если исходить из сторон света) пройдена, я оказываюсь в узком проходе между перилами слева и книжным стеллажом справа, он тянется снизу и уходит вверх. Сколько же здесь книг, господи!.. Корешки плотно прижаты друг к другу, рассматривать надписи на них у меня нет ни времени, ни желания, к тому же я не могу избавиться от внезапно возникшего ощущения: стена из книг дышит. Дыхание едва уловимо и прерывисто, как будто кто-то пытается сдержать его и ничем себя не выдать. Скорее машинально, чем преследуя какой-то умысел, я касаюсь одного из корешков кончиками пальцев. Уфф!.. Не самая хорошая идея, сначала пальцы – фаланга за фалангой – а затем и ладонь, и рука по самое запястье оказываются в плену, жарком и ледяном

одновременно. Никаких особых неудобств я не испытываю, лишь легкое покалывание, как если бы я кормил с рук мелкую рыбешку или подрошенных щенков.

Приятное чувство.

— Осторожнее!..

Неизвестно, к чему относится последняя реплика Линн, но, похоже, она знает, о чем говорит. Я слишком расслабился. Легкое покалывание сменяется более сильным, тысячи иголок впиваются в кожу, да и это длится недолго. Мелкая рыбешка на поверку оказывается пираньей, подрошенные щенки — волкодавами, а моя собственная рука — куском мяса между бешено вращающимися шестеренками. Я явственно слышу треск сухожилий и хруст костей, никакая Линн не избавительница. Никакая не избавительница, просто старая сука с кучей сомнительных тайн под юбкой «солнце-клеш», она пережила всех, кого любила и кто был влюблен, что уж говорить обо мне, невлюбленном?

Молодость — лучшее время для смерти, так, должно быть, думает Линн.

Старая сука.

— ...Осторожнее, Кристобаль! Там ступенька, не споткнитесь.

Вытащить руку не составляет особого труда. Ничего страшного с ней не случилось, с ней вообще ничего не случилось, ни единой ссадины, она даже не

покраснела. А я-то уже успел проститься с ней, логово Линн в очередной раз сыграло со мной злую шутку.

Ступенька действительно имеется в наличии.

Скрытая темно-синим ковролином, она почти незаметна, я бы точно не заметил.

– Забавно, правда?

– Что именно, Линн? – Ничего забавного в происходящем я не нахожу.

– Тот, кто придумал здесь эту ступеньку, знал толк в людях.

– Вы полагаете?

– И в книгах тоже. Некоторые посетители просиживали на ней часами.

– Правда? И что же они делали?

– Читали. Что еще можно делать в букинистическом? Особенно в дождливый день, особенно если в кармане не так уж много денег, особенно, если ты мальчишка или ветеран алжирской войны... Вы, конечно, понятия не имеете об этой войне.

Что-то я об этом слыхал, так же, как и обо всем остальном – краем уха. Кажется, французы не проиграли в ней ни одного сражения, кажется, они просто устали побеждать, плюнули, махнули рукой и убрались восвояси, терзаемые чувством вины. Тягучая, как патока, грязная войнушка сорокалетней давности, не первая и не последняя, идеальный повод

для трех десятков бестселлеров, двух десятков экзистенциальных романов и десятка фильмов, один из которых обязательно получит приз в колченогой номинации «За гуманизм в киноискусстве». Отрезанные головы парочки феллахов на пожелтевшем фото, вот и все, что я знаю об алжирской войне. Отрезанные головы, отрезанные члены в мертвых ртах, какой уж тут гуманизм? Линн, вот кто по-настоящему гуманен, еще бы, целый день задевать краем юбки плечо присевшего на ступеньке lieutenant³⁷, подсовывать ему горячее молоко с круассанами и развлекательное чтиво с грудастыми блондинками на обложке. И никаких упоминаний о востоке, черт его знает, что в голове у этого lieutenant, контуженного под Ораном; черт его знает, что у него в кармане, за исключением мелочи и фото отрезанных феллахских голов. Если там покоится армейский пистолет, то мишенью может стать даже пожухлый трехтомник «Тысячи и одной ночи».

Ветераны алжирской войны (из тех кто не покончил с собой и не покончил с другими) нынче играют в петанк.

– ...У меня был роман с парнем, вернувшимся из Алжира.

Линн верна себе, я насчитал четверых, включая джазмена, испанца, трагически погибшего писателя и типа, который подарил ей кольцо. А теперь еще и алжирский мученик. Хотя не исключено, что именно

он и окольцевал Линн. Как бы я ни считал, сколько бы ни пересчитывал, тип обязательно ускользнет от меня, спрячется за спины остальных или прикинется остальными, их всегда будет на одного больше, чем я думаю.

— Это он подарил вам кольцо? Он подарил вам розы?

Вопрос задан вскользь, но он отбрасывает Линн еще на несколько метров. Линн вовсе не намерена говорить о пропавшем кольце и всем своим видом это демонстрирует.

— Эта война очень сильно его расстроила... В свое время.

Расстроила.

Так могла бы сказать молодая Линн, понятия не имеющая о том, что белокурые бороды растут быстрее, чем темные. Двадцатилетние красотки просто обязаны говорить глупости. С другой стороны, «расстроила» не такое уж неудачное слово. «Я был расстроен» — этим можно объяснить все, что угодно. Пособие по безработице, драку в бильярдной, фингал, поставленный под глазом снятой на ночь проститутки, двойное убийство собственной матери и ее любовника: только потому, что любовник, никчемный человечико, отсиживающийся в департаменте общественного транспорта, имел обыкновение петь в душе. Фальшивым голосом.

— Но вы ведь его утешили, не правда ли, Линн?

– О, это было очень сложно. Первую неделю он молчал. Сидел здесь, на этой ступеньке, и молчал. Как потом оказалось, он молчал несколько лет, с тех пор как вернулся из Алжира, так что неделя не имела принципиального значения.

– Но вам все-таки удалось разговорить его?

– Я просто увидела его. Его же собственными глазами. Это существенно облегчило дело.

Тонкий свист над ухом больше не пугает меня. Линн выпускает слова, как пули, я вижу разрезающие воздух слепящие точки, но их свист не пугает меня, Линн обязательно промахнется. Lieutenant не научил ее стрелять, он был слишком занят своим молчанием.

– И каким он был? Каким вы его увидели?

– Весь в белом, широкие белые штаны, из тех, что носят сахарские берберы. Из формы – только фуражка, ни берберы, ни верблюды, ни собственные солдаты никогда его не предавали, он едва не погиб в песчаной буре, едва не вступил в суфийский орден, едва не женился на сестре аглида³⁸, мужественное лицо, шрам на подбородке...

– А на самом деле?

– На самом деле шрама у него не было,

Никакого шрама и никакой сестры аглида, разве что песчаная буря, в которую он выпустил не один десяток пуль, по-идиотски расстреляв весь свой боезапас. А потом алжирцы взяли его в плен и долго потешались над тем, что желторотый французишко

напустил в штаны. Показательная казнь парочки феллахов, сочувствующих оккупантам, третьим вполне мог оказаться он сам. Было отчего замолчать на несколько лет, тут и на всю жизнь замолчишь, слишком уж силен привкус остатков крайней плоти, кляпом заткнутых в рот.

– Он никогда не рассказывал о войне, этот мой парень.

Еще бы.

– Он вообще мало о чем рассказывал. Да и любовником оказался неважным. Но что-то в нем такое было. Жаль, что все так быстро закончилось.

Удивительно, романы Линн всегда скоротечны и всегда заканчиваются бесславной гибелью, как чахотка до изобретения пенициллина. Может, в этом и состоит их главная прелесть, кто знает.

– Почему?

– Он совершил не самый лучший поступок. С точки зрения морали, разумеется. Кого-то убил, кажется, собственную мать и ее приятеля. Я их видела однажды, неприятные физиономии, о таких и кошка не заплачет. Но в тюрьму он все-таки загремел. Я даже ездила к нему, пыталась добиться свидания, вот только он отказался. Никого не хотел видеть. Пришлось ограничиться зубочистками.

– Зубочистками?

– Ну да. Он постоянно чистил ногти зубочистками, за день мог извести целую пачку. Я

была единственной, кого это не раздражало. Потому-то он ко мне и привязался, что меня это не раздражало.

Линн, вот кто по-настоящему гуманен. Браво, Линн! Не эта, до которой мне не дотянуться, та — молодая. Молодая Линн, судя по всему, была идеальной девушкой. Девушкой, созданной для дивана, университетской кафедры или стола для пинг-понга; чтобы завалить ее на Диван, кафедру или стол для пинг-понга никаких особых ухищрений не требовалось, да и дивана со столом — тоже, и ящиков из-под марокканских апельсинов вполне достаточно. Фразы, лежавшие на ее испачканном спермой языке, были так же идеальны, как и апельсины в ящиках, были так же бессмысленны, что-то вроде «Мне скучно, милый. Давай побреем мою киску». Или «Передай косячок. И, кстати, ты не хотел бы увидеть меня в постели с подружкой?»

Это потом, когда и романы, и зубочистки сошли на нет, Линн стала умнее.

Женщины всегда становятся умнее в отсутствие мужчин, с Линн так и произошло, ей больше не нужно думать о зубочистках. И о том, что именно вычищал из-под ногтей ее lieutenant. Она и в молодости не особенно забивала этим голову, не буди лихо, пока тихо; не буди лихо, отнеси это к дурным привычкам, оставшимся от войны. Таким же дурным привычкам, как и сама война, от таких привычек хрен

отвяжешься.

Je m'ennuie a mourir³⁹.

Война и есть je m'ennuie a mourir, ну – это мое личное убеждение. Lieutenant, скорее всего, рассуждал иначе: в промежутках между чисткой ногтей и вялотекущим сексом с Линн. Он и не мог быть другим, секс с Линн, ни нежности, ни особой страсти, ни даже жестокости в нем не было, лучшее, что может предложить женщине мужчина, вернувшийся с войны, – это нейтралитет.

– И вы совсем не боялись, Линн?

– Я жалела его. Я боялась его привычек, а его я жалела.

Кровь. Вот что сочилось из-под лейтенантских ногтей, вот от чего он хотел избавиться. От крови, от песка, от галетных крошек, гнилого сукна и верблюжьего волоса: от всего, что напоминало ему об Алжире. Там до фига чего можно было раскопать, если уж ты взялся за зубочистку. До фига, включая дурацкие любовные песенки Франсуаз Арди⁴⁰. И много других дурацких песенок, которыми так и кишат солдатские головы, но прямоволосая милашка Франсуаз здесь вне конкуренции. Вздрыгнуть на ее фотку из «Пари-Матч», доставленного в расположение части с опозданием на две недели, все равно что признаться в любви к великой Франции.

Или в ненависти к ней.

Что еще можно испытывать к стране, которая предлагает тебе самый немудреный выбор из всех самых немудреных: убивать или быть убитым. Ты бы хотел завести Лабрадора, но вынужден убивать или быть убитым. Ты бы хотел жениться на племяннице бакалейщика, но вынужден убивать или быть убитым. Ты бы хотел угнать мотороллер, но вынужден убивать или быть убитым. За сотни километров от Лабрадора, мотороллера и племянницы бакалейщика. И лишь дурацкие любовные песенки Франсуаз Арди на несколько минут примиряют с этим «убивать или быть убитым». Лишь они способны вытащить из твоего размякшего горла вполне осмысленное «D'accord»⁴¹, страшно даже подумать, что сделало бы чертово арабье с крошкой Франсуаз, такой хрупкой, такой беззащитной... Она бы и пикнуть не успела, не то что напеть полкуплета из своей знаменитого хита «Я согласна». Так похожего на твое «D'accord», – с той лишь разницей, что паузы в твоём «D'accord» забиты трупами, а в её – речами де Голля, патриотизм в тональности ля минор не раздражает, к тому же если он окрашен в сентиментальные тона.

– Де Голль. Вот кто закончил эту войну. Я прав, Линн?

– Умница. Налейте мне вина, умница. Вас ведь не затруднит?

Когда она успела выпустить из рук бокал?.. Все это время они маячили передо мной все в тех же

пятнадцати метрах – Линн и бокал – и вот теперь бокал чудесным образом отделился от Линн, теперь он гораздо ближе ко мне, чем к ней, стоит себе на вытертых до блеска перилах.

Конечно же нет, Линн. Нисколько не затруднит.

Мое вранье так же сентиментально, как и патриотизм сладкой парочки де Голль – Арди, – и так же бессмысленно: меньше всего мне хотелось бы вернуться на крошечную цветочную Голгофу. Но желание дамы – закон, тем более для испанца, тем более – для испанца в Париже, и я беру в руки оставленный Линн бокал.

Чтобы ровно через секунду ощутить его холод.

Это не отстраненная холодность стекла, ничего похожего, холод явно живой, несущий в себе смутную угрозу всему моему существованию; проклятый дом, в котором все предметы словно сговорились угрожать мне. Холод явно живой, должно быть, таким парализующим живым холодом веяло бы от брюха кобры или речной гадюки, лишь теперь детская мечта о дружбе со змеями оказалась похороненной окончательно, лучше уж дружить с Линн, только она способна вывести меня отсюда.

Да. Именно так: мне бы хотелось дружить с Линн. Или с волками, но с Линн все-таки больше.

Змеиная сущность бокала занимает меня настолько сильно, что возвращение к розам проходит почти незамеченным. Тут-то я и сталкиваюсь нос к

носу с главной неожиданностью: от сотен живых цветов не осталось и следа. Маленький холл по-прежнему забит банками, вот только их содержимое заставляет меня поморщиться: это не розы, не те розы, которые окружали меня десять минут назад. Это не розы, в самом деле, как можно назвать розами их жалкое мумифицированное подобие? Ссохшиеся цветочные головки кажутся чересчур светлыми от налипшей на них пыли; я бы назвал оттенок серебристым, если бы от него за версту не несло ритуальным кладбищенским пафосом. Точно такая же пыль толстым слоем лежит и на банках, и на журнальном столике. Судя по всему, ей несколько десятилетий, никак не меньше.

PARIS LOUNGE: BAD WHEATHER⁴²

- ...Не обращайтесь на меня внимания... Я подожду.
- Тогда вам придется подождать за дверью. А лучше – заночевать там. Пепельница справа, на подоконнике...
- Я не курю.
- Ладно, девочки, на сегодня все... Ну?..
- Гаэтано Брага?
- Он самый. Чем обязан?
- Меня зовут Бланшар. Инспектор полиции Дидье Бланшар. Вот мое удостоверение.
- Можно обойтись и без него. У вас на физиономии написано, что вы инспектор.
- Не очень-то вы вежливы.
- Ненавижу фараонов. Задавайте ваши вопросы, только покороче. У меня съемка через сорок минут.
- Я не задержу вас надолго.
- Ха. Я вас вообще не задерживаю.
- Меня интересует Ги Кутарба.
- Мужчины – не мой профиль. Я не снимаю мужчин.
- Мне нравятся ваши работы, Гаэтано.
- Дешевый понт для приезжих. Вы наплетете все,

что угодно, лишь бы выудить из меня интересующие вас сведения...

— А вам есть что сказать?

— Не хватайте меня за язык.

— И не собирался. А что касается ваших работ — они мне действительно нравятся. Я был на одной из ваших последних выставок. Впечатляет.

— Зуб даю, если вы там и были... вы пускали слюни у портретов этой сучки Ингеборг Густаффсон.

— Не стоит мне хамить, мсье фотограф.

— Иначе что?

— Иначе я поднатужусь и вспомню, что года два назад вас прихватили за задницу с детской порнографией. Дело с трудом удалось замять, и вы отделались легким испугом. Но мне ничто не помешает дать ему ход теперь. А если покопаться, то это окажется не единственным вашим грешком.

— Чего вы хотите?

— Замечательные у вас раковины... Коллекционируете?

— Чего вы хотите?

— Вот эту раковину... Шутка. Вы не поверите, но в детстве морские раковины увлекали меня гораздо больше, чем люди...

— Так и знал, что в парижской полиции полно извращенцев.

— Я предупреждал вас, Гаэтано. Не стоит мне хамить.

- Чего вы хотите?
- Честного рассказа о Ги Кутарба. Вы ведь друзья?
- Боюсь, что разочарую вас. Мы не друзья.
- Ну надо же... Я общался с уймой людей, знающих Ги. И никто, никто не назвал его своим другом. Странно, правда?
- Какие претензии ко мне?
- Это просто странно, не более.
- У меня тоже нет друзей. Что с того?
- У вас есть ваши раковины.
- Одно из другого не следует. Я фотограф, а фотограф смотрит на мир через камеру. Иногда такое можно увидеть... Подцепить мизантропию так же легко, как и насморк. Только мизантропия в отличие от насморка не вылечивается.
- Ги бывал у вас...
- Ну и что?
- Довольно часто.
- Каждый первый понедельник месяца. Ну и что?
- О чем вы говорили?
- Ни о чем.
- Что же вы делали?
- Ничего. Пили вино и молчали.
- Удивительно...
- Самое удивительное, что это правда. «Charonia Tritonis», вот эта раковина... «Труба тритона». Он пил сангрию только из нее.
- Красавица... Вы пили вино из раковин?

– В моем доме все пьют вино из раковин. Ги не был исключением.

– Налъете мне?

– Никогда не пил с фараонами...

– Все когда-то случается в первый раз. Вы и детской порнографией не занимались... чуть больше двух лет назад.

– Вот черт.

– Если вас не затруднит, плесните-ка мне сюда...

В «Трубу тритона».

– Вам хотелось бы узнать мысли Ги, а?

– Вы правы. Мне бы очень хотелось узнать, что у него в голове. На сегодняшний день это единственное мое желание.

– Сочувствую.

– Хорошее вино.

– Вино так себе. Не стоит распускать передо мной хвост, инспектор.

– В самом деле хорошее... А если я скажу вам, что Ги Кутарба – убийца?

– Я забьюсь под кровать.

– Нет, правда...

– Мы не были друзьями, инспектор. Так что это ничего не изменит в моем отношении к Ги.

– Значит, у вас все-таки существует свое отношение?

– Я же сказал, не хватайте меня за язык.

– А как вы относитесь к самому факту детской

порнографии?

– Ну хорошо... Мне нравилось пить с ним вино. Он южанин, как и я. И он никогда меня не напрягал.

– Это все?

– Все.

– А если я покажу вам фотографии его жертв?

– Дешевые любительские фото с места преступления? Пустые хлопоты, инспектор Бланшар... или как вас там... Фотографии для меня – категория эстетическая. Боюсь, ваши обличительные снимки останутся за гранью моего восприятия.

– Я был на вашей выставке.

– На здоровье.

– Не на том гламуре, от которого все кипятком писают. Такого добра в любых каталогах полно. Я имею в виду выставку в Европейском доме фотографии. Довольно рискованную.

– Даже так?

– Настолько рискованную, что ее засунули в подвал.

– И благополучно закрыли на следующий день. Но вы все равно о ней пронюхали...

– Трудно было не пронюхать. Широкая общественность пребывала в возмущении.

– Насрать мне на широкую общественность.

– Не сомневаюсь. Постановочные фотографии умерших людей. Тому, кто до этого додумался, действительно на все наплевать.

- Тут вы попали в точку, Бланшар.
- Налейте-ка мне еще вина.
- Что, мысли Ги так и не прояснились?
- Нет. У вас были неприятности из-за этой выставки, так?
- Я не считаю это неприятностями. Неприятности были у моего приятеля.
- Который работал в том самом морге, где вы производили съемку?
- Да. Его уволили.
- Бедняга.
- Ничего, все к лучшему. Он устроился в похоронное бюро и теперь получает в два раза больше, чем получал.
- Снимки, надо сказать, незабываемые. Мертвый бродяга в тунике императора Нерона... Задушенная проститутка в чепце Шарлотты Корде⁴³...
- Вы еще забыли о китайце... Для того, чтобы подыскать для него одежонку Конфуция, пришлось убить пару вечеров.
- Немудрено, что широкая общественность была шокирована.
- Нуда. Только все эти гуманисты едва не вынесли двери, так им хотелось поглазеть на оскорбляющие нравственность фото.
- А вы считаете, что ничью нравственность не оскорбили?
- Послушайте, Бланшар... Эти тела были не

востребованы. Так что у гипотетических родственников претензий ко мне быть не должно.

– Вы талантливый человек, Гаэтано.

– Я же сказал – не стоит распускать передо мной хвост.

– Если бы смерть была действительно такой, какой вы ее изобразили...

– То что?

– Я бы согласился стать вашей моделью. Чью личину вы бы на меня натянули?

– Ну уж никак не Наполеона, не обольщайтесь. Тулуз-Лотрек подойдет?.. Но для этого вам надо как минимум умереть.

– А говорили, что не снимаете мужчин.

– Для мертвых мужчин я делаю исключения. Хотите поговорить со мной о смерти?

– Я хочу поговорить с вами о Ги Кутарба. Но о смерти тоже можно.

– Боюсь, вы знаете о ней больше, чем я...

– Я просто знаю ее с другой стороны.

– Ги и правда убийца?

– Разве это что-нибудь изменит в вашем к нему отношении?

– Ничего, я уже сказал. Иногда убийцы бывают симпатичнее, чем их жертвы.

– Тут я с вами соглашусь. Поговорим о Ги?

– Поговорим о смерти. Эта тема живо меня интересует. Жаль только, что собеседников находишь

не всегда.

– А мне казалось, что люди любят посудачить о смерти.

– Сплошное дилетантство, инспектор. Все их рассказы – сплошное дилетантство.

– А вы – профессионал?

– Я многое знаю о мертвых. Мертвые лукавят, мертвые могут запросто обвести вокруг пальца, мертвые любят выдумывать о себе всякие небылицы...

– Вы еще скажите, что они не платят налогов.

– И это тоже... Еще вина?

– Пожалуй.

– Драпировать их в бледно-желтый – тошниловка. Бледно-желтый они не любят, уж поверьте. Они не любят твид и мягкую оптику. Футуристические прибабасы Жан-Поля Готье и этих кретинов Дольче и Габанны – не для них.

– А что – для них?

– Я бы сказал – простота и элегантность линий. В стиле Кристобая Баленсьяги. Простота всегда философична, а когда лежишь на разделочном столе, голый и мертвый – самое время пофилософствовать.

– Кристобаль Баленсьяга. Кристобаль. Занятно... Кто это – Кристобаль Баленсьяга?

– Не забивайте себе голову, Бланшар. Все равно не запомните.

– И все-таки?

- Модельер. Очень хороший... Только...
- Мертвый?
- В точку. Черт его знает, кого он одевает сейчас.
- Наверное, тех, кого одевал при жизни. Ги тоже нравится Кристобаль Баленсьяга?
- Баленсьяга одевал женщин. Дитрих, Бергман, герцогиню Виндзорскую... Я могу назвать вам кучу его фанаток, все равно не запомните.
- Ги всегда приходил к вам один?
- А что?
- Может быть, какие-нибудь подружки... были же у него подружки?
- Он приходил один.
- А подружки?
- Он приходил один. И я его понимаю. Все, кого можно было бы назвать подружками, остались в прошлом веке. Где-нибудь в портфолио Мэна Рэя⁴⁴.
- Вы мрачный тип, Гаэтано.
- Мизантроп.
- Разве Ги не крутил романы? Такой видный парень...
- Я бы сосватал ему Кики де Монпарнас. При условии, что она не будет подкрашивать косметическим карандашом растительность на лобке. Или Клару Боу, при условии, что она не будет кардинально стричь свои рыжие волосы. Но их обеих уже лет пятьдесят как сожрали черви. Осталась только Ингеборг Густаффсон – редкостная сука. Но ее

я не пожелаю и врагу.

— А эти... так сразу и не вспомнишь... Наоми Кэмпбэлл или там Клаудиа Шиффер?

— Да ладно вам. Все это — Ингеборг Густаффсон, только в разном макияже.

— Однако вы неплохо на ней зарабатываете.

— Она на мне — тоже.

— А как насчет Мари-Кристин Сават?

— Мадам? При чем здесь мадам?

— Они ведь были любовниками, Ги и мадам Сават.

— Вряд ли мадам Сават можно считать чьей-либо подружкой. Тем более что Ги никогда не рассказывал мне о своей личной жизни.

— А о чем он рассказывал?

— Мы пили вино и молчали. Разве я неявно выразился?

— Куда уж яснее... Я хочу показать вам кое-что. Одну фотографию, довольно высокого качества. Превосходного качества. Она поразила меня в самое сердце.

— Валяйте...

— Узнаёте?

— Откуда это у вас? Откуда у вас мой снимок?

— Номер девять в каталоге выставки «Завтраки с Руфусом».

— Откуда у вас мой снимок?

— Вы забываете, где я работаю.

— Чертова фараонова контора...

- Кто такой Руфус?
 - Мой приятель из морга.
 - Расскажите мне об этой женщине.
 - Я ничего о ней не знаю. Ровным счетом ничего.
- Я работал только с не востребованными родственниками телами. В реестре Руфуса она числилась как «неизвестная с канала Сен-Мартен».
- У этой неизвестной есть имя.
 - Поздравляю.
 - Боюсь, что вы тоже об этом знаете.
 - Но тогда я не знал, что Руфус просто перепутал строки в своих записях. У нее было имя, да. Но оно меня не интересовало. Обстоятельства смерти – тоже. Я художник, а не полицейская ищейка.
 - Вы хорошо над ней потрудились.
 - Да, это гвоздь моей коллекции.
 - Марианна. Национальный символ Франции.
 - Не стоит взывать к моим патриотическим чувствам. Я португалец.
 - Марианной была Катрин Денев.
 - Ну это точно не Катрин Денев. Уж ее-то я бы узнал наверняка.
 - Полегче, Гаэтано.
 - Вы поклонник Катрин Денев?
 - Если вам плевать на чувства мертвых, уважайте хотя бы живых.
 - Если мне плевать на чувства мертвых, то на живых мне плевать тем более. Искусство бесстыдно

по своей сути, это единственное условие его выживания. И не стоит требовать нравственности от фотографа. Это все равно, что требовать нравственности от часовни Сен-Шапель. Или от Триумфальной арки.

— Интересная концепция. А главное, порнографические снимки десятилетних детей очень хорошо в нее вписываются.

— Черт ... Не давите мне на кадык.

— Я не давлю. Просто напоминаю. Бесстыдство ведь тоже имеет цену. И, боюсь, вы не готовы ее платить.

— Чего вы хотите?

— Расскажите мне о вашей мертвой Марианне...

— Родственников у нее не было. Как и у всех остальных.

— Я хочу услышать совсем не это, Гаэтано.

— Я знаю, что вы хотите услышать. Ее смерть была самой необычной.

— Уже теплее.

— Так, во всяком случае, мне сказал Руфус. Никаких следов насилия...

— Никаких видимых следов насилия...

— Да. С задушенной проституткой не сравнишь. И с китайцем, которому выпустили кишки его же соотечественники... Она могла умереть во сне, так сказал Руфус сначала.

— Посмотреть бы на этот сон хотя бы одним

глазком...

— Она могла умереть во сне от сердечного приступа. Руфус так и думал.

— Что же изменилось потом?

— Он покопался у нее во рту. Там было полно улиток. Живых улиток. Последнюю он вытащил пинцетом у нее из трахеи. Из-за улиток она и задохнулась. Руфус потом загнал их на птичьем рынке у Сены.

— Чудесная история. Прямо рождественская. Но я хочу услышать совсем не это.

— Я знаю, что вы хотите услышать...

— Вы успешный фотограф, Гаэтано. Ваши снимки публикуют во всех модных журналах, агентства вас на части рвут, персональные выставки и прочее бла-бла-бла... Стоит ли терять все это из-за человека, которого вы даже не считаете своим другом? В тюрьме винишка не попьешь. Из морских раковин.

— Хорошо... Я видел там Ги. Там, в морге.

— Ги тоже приятельствует с Руфусом Кассовицем?

— Вы, я смотрю, хорошо подготовились к встрече. Значит, знаете ответ. Ги понятия не имел о Руфусе. Это я их познакомил. Когда случайно наткнулся на Ги в морге.

— И что же делал Ги в морге? Никакого особенного эстетического интереса у него не было, правда? Он ведь не художник, как вы...

— Я был удивлен. А потом подумал, что в морг

рано или поздно попадает любой человек. И для этого вовсе не обязательно умирать. Все теряют близких.

— Вы решили, что Ги Кутарба потерял близкого человека?

— Да.

— Это произошло в тот день, когда ваш приятель Руфус вытащил пинцетом улитку из трахеи этой женщины?

— Да.

— Семнадцатого июля?

— Да, это был июль. Страшная жара. Руфус жаловался что мощностей его холодильника не хватает.

— Ги приходил, чтобы забрать чье-то тело?

— Нет. Во всяком случае, никаких разговоров при мне не велось. Да и Руфус обязательно сказал бы мне...

— Тогда что он делал в морге?

— Не знаю.

— Но как-то же он объяснил свое присутствие?

— Он сказал, что заблудился.

— Довольно странное объяснение.

— Мы ведь встретились не в прозекторской... Ги сказал, что навещал знакомого в госпитале, спутал этажи и попал сюда, в морг.

— И вы ему поверили?

— У меня не было оснований не верить ему. Ги не выглядел смущенным или застигнутым врасплох.

– Кого он навещал?
– Мало ли кого... Меня это не интересовало.
– Что было потом?
– Я сказал, что у меня кое-какое дельце в местном морге...

– И он предложил составить вам компанию для культпохода к мертвецам?

– Это я предложил. А он согласился. Мой замысел тогда только формировался... «Завтраков с Руфусом»... И мне было интересно, что скажет Ги. Мне было особенно интересно, что скажет Ги...

– Почему?

– Долго объяснять.

– Значит, вы не только пили вино и молчали?.. Лжесвидетельство карается законом, Гаэтано.

В каждый первый понедельник месяца он приходил ко мне в студию. И тогда мы пили вино и молчали. Других дней и недель это не касалось. В другие дни мы могли поговорить о чем угодно, мы ведь часто сталкивались в офисе «Сават и Мустаки»... Мы могли поговорить о чем угодно – о раковинах, об этой сучке Ингеборг Густаффсон... Но первый понедельник месяца – это ритуал. Понимаете?

– С трудом.

– Ритуал нельзя нарушать. Иначе... Иначе чистейшее, дистиллированное, утонченное сэппуку превратится в банальное харакири.

– А есть разница?

– Вы слишком умны для фараона, Бланшар. А разница есть. Ну это как... Даже не знаю... Харакири – это то, что думают о японцах другие. А сэппуку – это то, что японцы сами думают о себе. Сэппуку – всегда ритуал. А харакири – всегда нарушение ритуала.

– Но результат один и тот же?

– Да. Тут вы меня поймали...

– Все равно занятно, хотя слишком много японского.

– В чем?

– В воздухе. Придется проконсультироваться у знакомой японки. Это вам Ги поведал о разнице в терминах?

– Почему Ги?

– Мало ли... Может быть, у него тоже была... знакомая японка. У него была знакомая японка? Милашка с раскосыми глазами?

– Не знаю. Если и была, то Ги никогда не говорил мне об этом. Он вообще не распространялся о своих женщинах.

– А вы и не спрашивали.

– Нет.

– А мадам Сават?

– Все знали, что они любовники. Что с того?

– Так это Ги рассказал вам о сэппуку и харакири?

– Нет. Потому что знакомая японка была как раз у меня. Работала на показах у Джона Галлиано.

– Еще одна ипостась этой вашей... Ингеборг Густаффсон?

– Угу. Ингеборг Густаффсон в макияже а-ля «Прощай, Хоккайдо».

– А вам не казалось, что мадам Сават старовата для Ги?

– У женщин не существует возраста. Если бы я думал по-другому, я бы не был фотографом. Вам этого не понять...

– Возможно. Значит, вы вдвоем отправились к Руфусу.

– С трудом успеваю за ходом вашей мысли, Бланшар. Да, мы отправились к Руфусу.

– И?

– И я их познакомил. «Руфус Кассовиц – Ги Кутарба. Ги Кутарба – Руфус Кассовиц». Руфус как раз занимался телом... Марианны.

– И что Ги?

– А что – Ги?

– Он как-нибудь отреагировал?

– На Руфуса?

– На тело.

– Никак.

– Никаких эмоций?

– Никаких.

– И вас это не удивило?

– Представьте себе. Я был слишком занят женщиной, чтобы обращать внимание на Ги.

- И все-таки...
- Ги просто смотрел на нее. Просто смотрел, как смотрят в окно.
- Руфус производил вскрытие?
- Вскрытие он произвел позже. Когда мы ушли. Но до того, как мы ушли, Ги сказал, что женщина по-настоящему красива. Я сказал, что смерть – лучший визажист. Руфус сказал, что хорошо бы кому-нибудь слетать за пиццей. А женщина и правда была красива.
- Что было потом?
- Руфус полез ей в рот. Так, в порядке осмотра... Не думаю, что он ожидал увидеть там улиток. Он вытаскивал их по одной, маленьких и побольше. И все они были живы, все одиннадцать штук. Потом Руфус достал двенадцатую – пинцетом из трахеи. Меня едва не стошнило.
- А Ги?
- Если бы и Ги едва не стошнило, это был бы перебор. Нет, он отреагировал довольно сдержанно.
- Не каждый день изо рта покойника выуживают живых улиток... Значит, никакой особой реакции от Ги не последовало?
- Почему же... Он посоветовал Руфусу загнать их на птичьем рынке.
- Здравая мысль.
- Еще бы не здравая. Улитки-то были живы, не давить же их в самом деле... Руфус так и поступил. Отнес на рынок одиннадцать штук, а двенадцатую

оставил себе. Ту, что вытащил из трахеи. На память. Она до сих пор живет у него в стеклянной банке. Питается виноградными листьями. Иногда мы с Ги ее навещаем...

— Вот как? Это наверняка была идея Ги...

— Это была моя идея. Для таких идей Ги недостаточно эксцентричен.

— Ясно... Вы виделись с Ги в период между четырнадцатым и двадцать третьим мая прошлого года?

— Как я могу помнить? Столько времени прошло...

— Но события в морге вы описали достаточно подробно... А между маем и июлем не такая уж большая разница.

— Эти события касались моего проекта. А все, что касается моих проектов, я помню в деталях. Человеческая память избирательна, Бланшар. Память художника — тем более. Я не помню, что ел вчера на обед, но могу с точностью сказать, в чем была Хлоя Кассини на открытии моей первой персональной выставки десять лет назад. Вы, конечно, понятия не имеете об этом романтическом вампире — Хлое Кассини... Об этом вурдалаке с лицом прихожанки Эфиопской баптистской церкви. Когда-то она была супермоделью, потом вышла замуж за полудурка-регбиста Мориса Дюссолье...

— Того самого, который отсидел за непредумышленное убийство своей первой жены?

– Хлоя была третьей, но и ей он умудрился пересчитать все зубы.

– И в чем же она была на открытии вашей первой персональной выставки десять лет назад?

– Платишко-футляр с говенными психоделическими узорами в стиле Пуччи, тогда было модно бегство в шестидесятые... такой, знаете ли, копеечный эскапизм...

– Лихо. А в ваше отсутствие Ги не навещался к Руфусу тем июлем?

– Руфус обязательно бы мне сказал. Я сам пропадал там целыми сутками. Нет, тот его визит был единственным.

– Он был на вашей выставке?

– Вы имеете в виду «Завтраки с Руфусом»?

– Да.

– Лично я там его не заметил. Да и сами работы провисели в этом рассаднике лицемерия чуть больше тридцати шести часов.

– Значит, он не видел всей коллекции?

– Почему же... Он был здесь, когда я готовил коллекцию. Здесь, в студии. За день до того, как она должна была официально открыться. Я как раз упаковывал листы. Все пятнадцать. Пятнадцать мертвых в ролях пятнадцати великих.

– И тоже мертвых.

– Большею частью.

– Были и символы.

- Вы о Марианне?
- И о ней в частности.
- Далась вам эта Марианна... Что-что, а уж символы мертвы изначально.
- Что сказал Ги о коллекции?
- Ничего. Он просто смотрел на нее.
- Так, как смотрят в окно?
- Да.
- И не единого комментария?
- Это был понедельник, Бланшар. Первый понедельник месяца. Мы пили вино и молчали. Это был понедельник. К сожалению.
- Почему – к сожалению?
- Мне было интересно, что скажет Ги. Мне было особенно интересно, что скажет Ги...
- Почему?
- Долго объяснять.
- Но вы могли поговорить о работах потом... Вы же встречались и на нейтральной территории... В офисе «Савати Мустаки»...
- Мы не встречались. Или почти не встречались. Ги как раз был занят этой своей парфюмерной затеей. Он как-то вообще исчез с горизонта.
- Он перестал приходить к вам в студию по понедельникам?
- Нет. Приходить он не перестал.
- Но и ритуала никто из вас не нарушил?
- Опять в точку, Бланшар. Вы опять попали в

точку. Ритуалы нужны людям, чтобы почувствовать собственную значительность.

— Мертвая вещь — ритуал.

— Мертвее только символы.

— А вам не показалось странным, что ничем не примечательный манекенщик Ги Кутарба вдруг так резко переквалифицировался в парфюмеры?

— У меня своих странностей полно, так что к странностям других людей я отношусь с пониманием.

— И все-таки...

— Я никогда над этим голову не ломал. Но если бы меня спросили...

— Вот я и спрашиваю.

— ...если бы меня спросили, я бы сказал, что без мадам Сават тут не обошлось. Это ведь Мари-Кристин привела под уздцы того девятнадцатилетнего мальчишку... Как же его... Маджонг. Нуда, Маджонг.

— Странное имя.

— Не имя — кличка. Есть еще другие: Четыре Бамбука, Фацай, Северный Ветер... И еще с десятков наберется.

— Не слишком ли много кличек для девятнадцатилетнего сопляка?

— Не слишком. Вы просто никогда не играли в настольные восточные игры, Бланшар.

— А вы?

— Я тоже.

— Расскажите-ка мне об этом парне.

Недоучившийся химик с тинейджерской страстью к онанизму, злобный хорек – глаза вовнутрь... Ходили слухи, что в свободное от лекций время он занимался экспериментами по синтезу наркотиков... Не напрягайтесь, Бланшар, эти слухи он сам же и распускал. Так что когда Ги пришел к Мари-Кристин с безумной идеей по созданию собственной парфюмерной линии – тут-то Маджонг и сгодился.

– Где же она его отыскала?

– Порылась в собственной высоколобой родне и вытащила самого никудышного. Маджонг давно отирался в Париже и время от времени кланчил у мадам Сават деньги.

– Вы хорошо осведомлены, Гаэтано.

– Я делал портфолио для его девушки. Тоже азиатки, между прочим. Невинная крошка так мечтала стать моделью, что даже мне предложила перепихнуться.

– А вы?

– Опыта с детской порнографией мне хватило за глаза.

– Неужели никого более серьезного, чем какой-то недоучившийся химик, не нашлось?

– Думаю, поначалу Мари-Кристин отнеслась к затее Ги несерьезно. Как к блажи. Но кто же знал, что все потом так обернется?

– Потом, когда все так обернулось... мальчишка все равно остался при Ги?

- Да. Он один из тех, кто там заправляет.
- Почему?
- Он все-таки химик...
- Недоучившийся.
- Разве это имеет значение? В любом деле главное – пара-тройка базовых навыков. А знание тонкостей приходит с опытом. Говорят – Маджонг талантлив.
- А Ги?
- Ги – темная лошадка...
- Объясните.

Он брюнет. Классический мачо. Ничего особенного ему делать не нужно, нужно лишь время от времени менять кожаный жилет на твидовый пиджак. При желании он мог сделать культом даже запах собственного пота.

– Вы ведь так не думаете. Вы ведь не думаете, что дело только в этом.

– Неважно, что я думаю. Он ввязался в новое дело и выиграл. Там, где выигрывают немногие. Дело ведь не в его духах. Сколько их создано в разное время разными людьми... И они мало чем отличаются друг от друга, уж поверьте. Чуть больше мяты, чуть больше бергамота – значения не имеет.

- А что имеет? Объясните дилетанту.
- Обоняние развито у людей далеко не так сильно, как воображение. Я уж не говорю о мелочном тщеславии на каждый день. И тщеславии покрупнее – для выходных и религиозных праздников. Я уж не

говорю о сексуальности – все просто одержимы своей собственной дерьмовой сексуальностью. Людей не надо ни в чем убеждать – им просто нужно польстить. Укрепить их в иллюзии собственной исключительности, но при этом дать возможность быть узанным, затеряться в толпе себе подобных. И если ты понял, как это сделать, – все, считай, что весь мир у тебя в кармане.

– А духи льстят.

– Духи льстят. Это их основное предназначение, это их философия. Довольно примитивная, но беспроегрышная.

– А как же все эти теории о том, что при помощи запахов можно управлять людьми? Сколько книжек написано...

– Я не читаю книжек – вредно для здоровья. А людьми можно управлять при помощи чего угодно.

– А в живой природе? Ведь там...

– Кто вам сказал, что человек – это часть живой природы?.. Что-то вы чересчур любознательны для фараона...

Вот если бы завтра вы оставили свой полицейский окоп и прорвались на рынок с новой маркой духов, которые созданы... скажем, на основе вытяжки из спермы какого-нибудь маньяка... серийного убийцы... вас ждал бы грандиозный успех.

– Почему вы вдруг заговорили о серийных убийцах?

– Просто так. В качестве иллюстрации. Зло ведь тоже льстит человеку. Хотя бы возможностью выбора.

– Я всегда думал, что зло как раз выбора не оставляет.

– Это потому, что вы – фараон. А я – художник.

– Я всегда думал, что художник как раз борется со злом...

– Все, кто думали так же, как вы, лежат в общих могилах, едва прикрытые лохмотьями. А их дети едят соевую кашу и вяло соображают, как бы им расплатиться с кредиторами. Зло – не враг, а союзник, Бланшар. Во всяком случае – для художника.

– Почему вы вдруг заговорили о серийных убийцах?

– Просто так. Дались вам эти серийные убийцы...

– А что, из спермы и правда можно сделать духи?

– Да хоть из ржавых гвоздей. Хоть из конского волоса.

– Ну да!..

– Ни черта, конечно, из всей этой лабуды не склепаешь. Но главное – вовремя сообщить о намерениях склепать. Нанять с десяток прохиндеев, которые пишут для глянцевого журналов. Подать фотографию флакона под выгодным углом. Да чтобы в его дизайне была криминальная изюминка. Да чтобы его заснял какой-нибудь сноб типа Дэвида Да Чейпла или Жан-Лу Сьеффа⁴⁵... Да чтобы его

отрекламировала какая-нибудь тупоголовая голливудская звездишка типа Зеты-Джонс или этой... Дженнифер Лопес. Такие сиськи и такие задницы, как у них, нравятся всем, за исключением погонщиков мулов в Непале и идейных лесбиянок. Но кто будет спрашивать мнение идейных лесбиянок? Так что ваши спермоманьяческие духи обречены на успех. Так же, как духи с запашком конского волоса, даже погонщики мулов слова поперек не скажут... И все.

— И все?

— Дело сделано. А с десятков внушаемых придурков вообще будут сражаться за последний флакон из партии.

— Вы так хорошо разбираетесь в производстве духов?

— Вообще не разбираюсь. Но зато я разбираюсь в людях. Духи — это химия. А химия — вещь муторная. Кого интересует химия? Всем нужна физика, а не химия.

— Физика-то здесь при чем, господи?

— Физика — как физическое влечение, Бланшар.

— Спаривание, ага.

— Физическое влечение. И вся эта свора парфюмеров направляет его в нужное русло... Общими усилиями водружает романтический нимб над банальным желанием потрахаться... заставляет почувствовать себя соблазненным, когда тебя никто и не думает соблазнять... Вы ведь фараон, Бланшар. Вы

часто видели проституток, которые пользуются дорогими духами?

— Каждый день по телевизору.

— Я не говорю о политиках, спортсменах, кинозвездах и прочей шушере... Я говорю о самых обыкновенных уличных шлюхах. Но они хоть честно торгуют собой. Все остальные хотят быть купленными, не продаваясь, — продаваться им их вшивая нравственность не позволяет.

— А вы?

— Я — продаюсь.

— Ну слава богу. А то я уже подумал, что вы идейный анархист... С Ги так и было?

— Что?

— Нутам... глянцевые журналы и Дженнифер Лопес...

— На Лопес у него не хватило бы денег. Даже на дырку в заднице Дженнифер Лопес не хватило бы. Но у Ги была в запасе козырная шестерка. Ронни Бэрд.

— Ронни Бэрд. Знакомое имя.

— Один модный художник. Записной урод.

— Точно. Тот, что покончил с собой в прошлом году. Прыгнул с моста.

— Он.

— Я читал в газетах. Так этот Ронни работал с Ги Кутарба?

— Ну, работал — это громко сказано... Ронни Бэрд работал только с крупными фигурами и крупными

купюрами. Кажется, он купил что-то у мадам Сават. Или она что-то купила у него. Насколько я знаю, он разрабатывал дизайн флакона для первых духов Ги. Не знаю, что ему посулили за эту работенку.

– Разработал дизайн флакона и сиганул с моста?

– Не думаю, что оба этих события как-то связаны между собой. Но что правда – то правда. Сиганул.

– Любопытно. Очень. Они с Ги были друзьями?

– Сомневаюсь. Ги не дотягивал до калибра Ронни Бэрда. Это сейчас он круто приподнялся на своих духах. А тогда он был самым обыкновенным манекенщиком, каких тысячи. Обыкновенным молодым любовником преуспевающего дизайнера. Таких тоже тысячи. Вряд ли они были даже толком знакомы.

– Тогда почему он согласился работать над этим проклятым флаконом?

– Не знаю.

– Расскажите-ка мне об Азизе Мустаки...

– Еще один покойник... Его смерть была гораздо занимательнее, чем жизнь. И гораздо эффектнее. Вот и все, что я могу сказать.

– Не густо.

– Вы совсем забыли о вине, Бланшар. Подлить еще?

– Хватит, пожалуй...

– Могу добавить только то, что как модельер Азиз прогорел. Он был одержим гомосексуальностью и

слишком уж проталкивал ее в своих моделях. Сами модели тоже не отличались свежестью и оригинальностью. Так что он быстро успокоился и предоставил Мари-Кристин решать все творческие проблемы. Правда, это не помешало ему остаться отвратным типом...

– Какие отношения связывали Ги и вашего патрона?

– Я – свободный художник, и он никогда не был моим патроном. А Ги никогда не был гомосексуалистом, так что и отношений с Азизом у него быть не могло.

– Смерть Мустаки не из приятных, прямо скажем.

– Гомофобом Ги тоже не был. Это на случай, если вы его подозреваете. Для того чтобы отсечь человеку голову, а потом утопить ее в ведре с коллекционным вином, нужно недюжинное самообладание.

– Примерно такое же самообладание нужно, чтобы посоветовать продать живых улиток. Которые прямо на твоих глазах вытащили из глотки мертвой женщины.

– Не вижу связи, Бланшар.

– Я тоже. И мне это не нравится. Я интересовался духами Ги. Несколько разных флаконов. Я держал их в руках.

– Вы даже могли их купить при желании. Они продаются везде. Посмотрите у себя в клозете за сливным бачком. Наверняка, кто-то и там их толкает

по демократичной цене.

— ...Несколько разных флаконов. Один из них был в виде улитки.

— Ну и что?

— Раковина из опалового хрусталя, из нее выглядывает головка слизня, она же — колпачок флакона. Все очень привлекательно.

— Верю вам на слово.

— Второй флакон оказался еще занятнее. Он не просто стеклянный — темное стекло вправлено в довольно прочную пластмассу серебристого цвета. Что-то вроде миниатюрной ажурной арки... С какого моста прыгнул в воду художник? Ронни... Ронни Бэрд...

— Не помню точно. Кажется, мост Аустерлиц.

— Черт... Ну конечно. Я прямо вижу их перед собой... Это не арка. Не совсем арка. Это арочный пролет моста. Похожий на настоящий, только гораздо меньшего масштаба. А внутрь он поместил флакон. Хитро.

— Вы как-то странно возбудились, Бланшар...

— Ги заказывал флаконы на стекольном заводе Баккара. Их изготавливали по уже готовым эскизам — он сам разрабатывал дизайн флаконов. Он разработал дизайн флаконов ко всем своим духам, кроме первых...

— Ну и что?

— Сначала улитка. Я давно над этим думаю... А

теперь еще и мост. Это как-то связано со всеми смертями...

— Если и так, стоит ли нервничать? Все имеет разумное объяснение. Даже если предположить, что вы правы, что это доказывает? Ги видел, как Руфус вытаскивал изо рта мертвой женщины улиток — почему бы это не запечатлеть? Почему бы не запечатлеть пролет моста, с которого сорвался вниз его приятель?

— Вы же говорили — они едва знакомы.

— Но Ронни сделал для Ги кое-какую работу.

— Почему он стал так популярен?

— Ронни?

— Ги Кутарба. Я пытался разобраться...

— Не проще ли поговорить об этом с ним самим?

— Кто выпускает эту чертову парфюмерию?

— Не проще ли поговорить об этом со специалистами? Могу подкинуть вам пару нужных адресов...

— Я хочу поговорить с вами. Вы ведь давно вертитесь в этих кругах...

— Все ведущие дизайнеры выпускают духи. У каждого мало-мальски раскрученного модного дома есть несколько побочных производств. Обувь, аксессуары, парфюмерия... Имена выгодно продавать...

— И все?

— Отдельные знаменитые безумцы иногда

ввязываются в подобную историю... Из тех, кто легко может заставить сотысячную толпу идиотов одновременно снять носок с правой ноги.

— «Сават и Мустаки» относится к таким раскрученным модным домам?

— «Сават и Мустаки» имеет свою собственную клиентуру... «Не забывайте свои вещи в вагоне элегантности» — этот лозунг придумала Мари-Кристин, и кое-кому он пришелся по душе. Был и другой — «Ретро в дождливый вечер».

— И что это означает?

— Если отбросить никому не нужные метафоры — возврат к классике моды с незначительными вариациями.

— Какими именно?

— Ну, к примеру, вариации на тему: «Какой должна быть герл-фрэнд у шляпы Хамфри Богарта»...

— Какой?

Это просто пример, Бланшар. Я хотел сказать, что Мари-Кристин достаточно традиционна. Принципиально новые силуэты и модные провокации не являются ее сильной стороной.

— То есть звезд с неба она не хватает?

— Можно сказать и так. «Сават и Мустаки» — середнячок, хотя и элегантный.

— Ясно. У них ведь были трудности...

— Трудности — это еще мягко сказано. В последние несколько лет они подрастеряли клиентов. Классика —

вещь полезная, но людям просто необходимо двигаться вперед.

— У них были трудности, а знаменитых безумцев не было, так?

— Да.

— Тогда как Ги удалось стать таким популярным? Как ему удалось завоевать рынок?

— Послушайте, Бланшар, вы действительно работаете в полиции?

— Вам еще раз показать удостоверение?.. Я действительно работаю в полиции.

— А ведете себя как нечесаный социолог. Как начинающий специалист по маркетингу из глубинки.

— Я хочу разобраться.

— В чем?

— В этом проклятом русском. В этом Ги Кутарба. Он мне как кость поперек горла.

— Разве он в чем-то обвиняется? Впервые об этом слышу.

— Он всегда оказывается неподалеку от места, где подванивает смертью.

— Мы все там иногда оказываемся, ну и что?

— Но он оказывается там с завидной периодичностью.

— Вы наскребли какие-то улики?

— Я наскреб кое-какие умозаключения.

— Умозаключения уже рассматриваются в суде в качестве улик? Не думал, что правосудие

продвинулось так далеко.

— Как ему удалось завоевать рынок?

— Не знаю. Возможно, Мари-Кристин рискнула остатками капиталов «Сават и Мустаки». Вложились в раскрутку.

— Разве она распоряжалась средствами?

— Средствами распоряжался Азиз Мустаки, насколько я знаю. Мари-Кристин могла убедить его в перспективности идей Ги. Она во многом могла его убедить.

— И этих денег хватило бы?

— Не знаю. Их хватило бы на производство, но на продвижение товара на рынок... Не знаю. Может быть, они взяли кредит.

— Я наводил справки. Фирма «Сават и Мустаки» не брала кредитов.

— Значит, Ги просто повезло.

— Ги был знаком с той умершей женщиной. С той, из которой вы сочинили свою Марианну. С той, на чье мертвое тело он просто смотрел. Как смотрят в окно.

— Надо же... Никогда бы не подумал.

— Вы считаете это нормальным?

— Я не знаю.

— Проще молчать и пить вино по понедельникам, да?

— Не давите на меня, Бланшар. У Ги могли быть причины, чтобы не афишировать свое знакомство...

– Какие? Ведь это же не я там стоял рядом с ним. В морге. Не я – фараон. Рядом с ним стояли вы – художник. Свободный от такого предрассудка, как нравственность. Воспевающий безнравственность.

– Ничего я не воспеваю...

– А предложить продать улиток, вынутых из трахеи человека, которого ты хорошо знал? Разве это не шикарный ход? Он ведь не мог вам не понравиться?

– Он мне понравился. Но я не знал, что Ги был знаком с той женщиной.

– А если бы знали?!

– Не орите на меня...

– Эти ваши слова... «Мне было интересно, что скажет Ги. Мне было особенно интересно, что скажет Ги...» Что они означают?

– Только то, что означают.

– Почему вам было особенно интересно? Не просто интересно – особенно?

– Вы опять хватаете меня за язык.

– Хватаю. И обещаю тебе, что намотаю его на руку, если ты не прекратишь играть со мной в эти чертовы словесные игры... Ладно... Это ведь касалось только одной вашей коллекции, Гаэтано. Только «Завтраков с Руфусом». Не думаю, что вас волновало мнение Ги об этой... Ингеборг Густафссон...

– Да. Это касалось только «Завтраков с Руфусом».

– Почему? Потому что все изображенные модели были... мертвы?

– Я не буду отвечать...

– Потому что они были мертвы?

– Да.

– А Ги...

– Ги знал толк в мертвых, Бланшар. Не считайте меня сумасшедшим.

– Я не считаю вас сумасшедшим. Почему вы решили, что Ги знает толк в мертвых? Он часто имел с ними дело?

– Нет... Не знаю. Это трудно объяснить...

– Ваш приятель Руфус Кассовиц тоже имеет дело с мертвыми.

– Здесь совсем другое. Они с Руфусом как будто смотрели на мертвых с разной стороны... Не с разных точек – с разной стороны. И не считайте меня сумасшедшим. Мне просто иногда казалось, что и сам Ги... не вполне... жив.

– Это еще что такое?

– Так и думал... Это мои собственные ощущения. Фантазии художника.

– Вы часто разговаривали о смерти?

– Почти не разговаривали.

– Он что, походил на зомби? Живого мертвеца? А на вид такой цветущий парень...

– Нет. Вы же знаете, что нет...

– Тогда в чем было дело?

– Иногда у него менялся цвет глаз.
– Он носит контактные линзы?
– Не думаю. Эти изменения были мимолетны... Так, несколько секунд... Не больше. И черты лица как будто теряли четкость. Как это иногда случается с умершими...

– Вот уж действительно – фантазии художника.
– Я понимаю вас, Бланшар. И я хорошо помню июль прошлого года. И не только семнадцатое. За несколько дней до моего визита в морг я снимал в городе. Иногда я ищу новые сюжеты для фотографий прямо на улицах.

– Хорошее дело.
– Да... Так вот, недалеко от центра я наткнулся на один довольно любопытный сюжетец. Какой-то парень стоял у витрины магазина и пялился внутрь. Мне хорошо было видно его отражение в стекле. Ракурс не то чтобы оригинальный, меня, скорее, поразило его лицо...

– Что же такое в нем было?
Таких лиц сейчас почти нет... Но если поднять старые журнальные подшивки... датированные, скажем, шестидесятыми... Только там можно нарыть парочку таких лиц. Парочку, не больше. Ощущение времени – вот что в них важно. Парень был в самых обыкновенных джинсах и черной футболке, так что лицо казалось просто приставленным, как будто совместили два временных пласта...

- Именно это вы посчитали самым интересным?
- Именно это. Мне показалось, что он ждет, когда его девушка закончит работу.
- Там была еще и девушка?
- Девушки я не видел, отсвечивала витрина. Но так ждут именно девушку. Парень выглядел влюбленным.
- Влюбленным?
- Влюбленным по уши. Плевать ему было на все сексуальные революции, это точно. Длинные волосы, круглые очки, лента на лбу... Колоритный тип.
- Вы его сфотографировали?
- Конечно. Я сделал четыре снимка.
- А он?
- Он даже не заметил этого. Он был слишком поглощен ожиданием. Да и времени это заняло немного. Минуту от силы.
- Что было потом?
- Ничего. Я отщелкал парня и двинулся дальше. Снял группу африканцев, они торговали зеленью... Впрочем, это неважно. Самое удивительное случилось вечером, когда я стал проявлять пленку.
- Пленка оказалась засвеченной?
- Нет, с пленкой все было в порядке. Не в порядке оказалось с парнем. На всех четырех снимках. Понимаете, Бланшар... Того парня, который так поразил меня, на фотографиях просто не существовало.

- Занятно. Но что-то же там существовало?
- Другой человек.
 - Не пудрите мне мозги, Гаэтано.
 - Другой человек. Те же джинсы и та же черная футболка. Только человек другой. Другое лицо в отражении.
 - Так не бывает.
 - Я тоже думал, что не бывает. Я сделал кучу снимков с тех четырех негативов. И везде было одно и то же.
 - Другой, хе-хе, человек.
 - Но и это не самое странное.
 - Ну-ка, подождите. Налейте мне вина и подождите.
 - Самым странным было то, что я сразу узнал этого человека.
 - И кто это был? Стоп-стоп... Я сам попробую угадать.
 - Валяйте.
 - Только не говорите мне, что это был чертов Ги.
 - Да. Это был Ги. В джинсах и черной футболке. Давайте закроем эту тему, Бланшар. Мне до сих пор не по себе.
 - Что же так переживать? А если вы и видели Ги? Если вы его и сфотографировали?
 - Я не сумасшедший. Я фотограф и до сих не жаловался на глаза. Там, у витрины, был другой. А на фотографии получился Ги.

- И вы ничего не рассказали ему об этом случае?
- Рассказал.
- И что? Как он отреагировал?
- Никак. Он просто посмотрел на меня и ничего не сказал. Он просто посмотрел. Как смотрят в окно.

ИЛАНГ-ИЛАНГ

— ...Зачем я сюда вернулся? Чтобы наполнить бокал Линн.

Бутылка мадеры все еще на месте, но стоит вовсе не там, где я ее оставил, чуть-чуть левее, к тому же при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не совсем та бутылка.

Вернее, совсем не та.

Если верить этикетке, слегка подпорченной временем, сейчас я имею дело не с мадерой, а с сухим вином, где-то я уже слышал это название: «Puligny Montrachet».

Интересно, когда Линн успела подменить вино и состарить розы?.. Лучше не заикливаться на этом, нежно шепчет мне инстинкт самосохранения, плесни винишка в змеиную пасть и отваливай по-скорому. Но отвалить по-скорому удастся не сразу, в самый последний момент взгляд мой цепляется за странную надпись, сделанную кем-то на журнальном столике:

Carpe Daim.

Я готов смириться и с мертвыми розами, и с пересохшими глотками банок, и даже с невесть откуда взявшимся вином; я готов смириться со всем, из чего состоит причудливый мир Линн, но надпись — это слишком. Она сделана второпях, пальцем по

пыльной поверхности стола, не слишком надежное место для послания, стереть его не составит никакого труда. Но мне почему-то кажется, что и самой надписи не составит никакого труда возникнуть снова. Неважно как, неважно где, следующее ее воплощение может быть самым неожиданным, выложенным из продолговатых семян тмина, например. Или из речной гальки. Или из детских кубиков, с вишенкой и пустыней (буквы «с» и «d» соответственно, причем пустыня на крошечном квадратике изображена именно такой, какой представлял ее lieutenant, приятель Линн, до того как отправился в Алжир: силуэт бархана, силуэт верблюда, «La vie en jaune»⁴⁶). С последним, девятым по счету кубиком тоже не должно возникнуть никаких проблем, mort, смерть; причем смерть изображена именно такой, какой представлял ее lieutenant уже после Алжира, – отрезанная голова феллаха с членом, заткнутым в рот.

Веселые картинки.

Что бы ни означало Carpe Daim, лучше держаться от него подальше.

Еще никогда со времен наших с Анук чайных бдений на чердаке я не испытывал подобного ужаса перед словами. Но с чердака можно было убежать, перескакивая через несколько ступенек и как об избавлении мечтая о дедовых коленях. Отсюда не убежишь.

Отсюда не убежишь, хотя... Почему бы не попытаться?

Спустя несколько секунд я нахожу себя на лестнице, ведущей вниз, к выходу из букинистического. Еще несколько ступенек, затем последует зал, в котором я впервые встретил Линн, затем последует стенд, из которого я впервые узнал о существовании режиссера Марко Феррери, затем – стеклянная дверь. Вот черт, о двери я не подумал. Кажется, Линн заперла ее на ключ и опустила жалюзи, но куда она дела ключ? Куда она дела ключ, чертова баба?.. Хорошо, если так и оставила его в замке, а если нет? Плевать, пусть даже ключ не обнаружится, – плевать, тогда я просто вынесу стекло, чтобы разбить его особого ума не надо, немного силы, немного отчаяния, а ум здесь ни при чем. Не станет же она меня преследовать, в самом деле, я вспоминаю тронутые артритом анемичные пальцы Линн, не исключено, что и щиколотки ее так же слабы и набиты солью. Не лаванда, не шафран – соль, вот единственная отдушка, которой переложены кости стареющих женщин.

Преследовать меня она не станет.

Ступенек вдвое больше, чем мне казалось, к тому же я не заметил еще одного лестничного пролета. Как бы там ни было, но от святой уверенности, что книжная лавка Линн занимает два этажа, не осталось и следа. И эта дурацкая площадка между пролетами...

Боковым зрением я вижу картину под стеклом, картина – единственное ее украшение, картина на обшитой деревом стене, глазеть на картину у меня нет ни времени, ни желания. Сунув фак мутнеющему застеколью (совсем как Линн за несколько перекрестков до Синематеки), я скатываюсь вниз, но вместо спасительного зала со спасительной дверью снова попадаю на площадку.

Точно такую же, какую покинул только что, те же стены с деревянными панелями, даже картина имеется.

Бокал Линн все еще у меня между пальцами. Какого черта? Запустить бы им в стену, а лучше – в картину за стеклом, разом покончить со всеми бьющимися предметами в берлоге Линн, если бы я точно знал, чем может обернуться этот мой жест, если бы знал! Что, если бокал Линн окажется почище моего собственного, разбитого исключительно из-за страха перед физиономией юноши-клерка? Что, если он только этого и ждет, что, если он вообще не разобьется?

Я аккуратно ставлю бокал на перила, оставляю его Линн, точно так же, как сама Линн оставила его мне. А теперь – вниз. Вниз, сколько бы ступенек ни было, вдвое, втрое больше, хватит, я не позволю себя дурачить. И не позволю себе сойти с ума, сдвинуться по фазе, детские страшилки мне по барабану.

По барабану, соло на ударных легендарного

кенийца Аюбо Огады (эмигрировал из Найроби в Штаты в 1973 году) отлично бы сюда вписалось.

Пока я судорожно думаю об Огаде (тум-тум-тидл-да-тум-тум), лестничный пролет вытягивается прямо у меня на глазах. Его окончание затянуто туманом, не молочно-белым, не тем, что сопровождает утреннюю реку, или луг, или сонное предместье, в нем слишком много красного. Туман отступает по мере того, как мое бешено колотящееся сердце отсчитывает ступени.

Четырнадцать. Их ровно четырнадцать.

Четырнадцать ступеней вели к нашему с Анука чердаку, я давно забыл об этом. Забыл, а теперь вспомнил.

Туман рассеивается, стоит мне только войти в него, сонным предместьем и не пахнет — та же площадка с дубовыми стенами и картиной, ну кто бы сомневался!.. Обшарив взглядом площадку, я натыкаюсь и на бокал, он стоит на перилах, там же, где я оставил его четырнадцать ступенек назад. Фокус для особо одаренных, отеческое наставление тем, кто наивно полагает, что вход и выход — одно и то же. Не для всех и не всегда, вот что я вам скажу.

Ступени снова передо мной, и их снова четырнадцать. Тумана — там, внизу, — больше нет, но я отчетливо слышу плеск воды. Хоть какое-то разнообразие.

На третьей по счету ступеньке что-то поблескивает, и это вселяет в меня надежду: пейзаж

действительно изменился, имей терпение, Гай!..

Кусок фольги.

Кусок фольги, какое разочарование.

Спустившись ниже, я нахожу моток проволоки и пару миндальных орехов без скорлупы; в середине лестницы меня поджидает металлический волчок. Десятая ступенька украшена высохшей тыквой, такой маленькой, что ее можно спрятать в ладони. А на тринадцатой... На тринадцатой лежит ключ.

Давно я так не смеялся, даже затылок взмок. Быть задушенным собственным смехом — не самая приятная перспектива, хуже может быть только одно: навсегда остаться в этом проклятом букинистическом. Ключ, который я обнаружил, ни на что не годен. Это — мой собственный ключ. От давно потерянной или никогда не существовавшей двери, я проносил его в кармане все детство, вместе с фольгой, волчком, орехами и мотком проволоки. Я давно забыл об этом.

Забыл, а теперь вспомнил.

— Анук! — тихо зову я.

В конце концов, именно Анук привела меня сюда. Не Линн — Анук.

— Анук!..

Никакого ответа.

Да мне и не надо ответа, орехи, фольга, моток проволоки — и есть ответ. Имей терпение, Гай.

Имей терпение, говорю я себе. Никакой особой смелости не нужно, одно лишь терпение, терпение и

есть смелость. Жаль, что я не знал этого мальчишкой, я и понятия об этом не имел, ни одного коридора из своих ночных кошмаров я не прошел до конца, ни одной вещи из них не запомнил, а ведь они были куда ценнее, чем все мои жалкие карманные сокровища. О чем же я думал тогда? О том, что эти вещи принадлежали снам самой Анук, что сны Анук просачивались в мои собственные сны сквозь шрам на затылке. А может, их не было вовсе, моих снов, а были только ее? Я всегда питался воображением Анук, как стервятник падалью, наспех проглатывал большие куски, не чувствуя вкуса. Теперь, когда я вырос, а Анук почти не повзрослела, теперь я бы вел себя совсем по-другому.

Во всяком случае, в ее снах.

У тебя еще будет шанс.

У тебя еще будет шанс, говорю я себе.

Но следующие четырнадцать ступенек (просто удивительно, как быстро я привык к этому бесконечному спуску) не приносят мне ничего, кроме нескольких конских каштанов, довольно крупных. Пристроить каштаны ни в карманах, ни в памяти не удастся, это явно не моя история, не наша с Анук история.

Каштаны не только цветут, но и болеют раком.

Линн. Вот кто поведал мне эту душещипательную сказочку из жизни флоры. Линн и ее бой-френд испанец, тоже умерший от рака. Что-то там еще было,

связанное с испанцем, ага, кажется лобстеры. Лобстеры относились не к смерти, к любви – к их с Линн любви. Но лобстеров нет, есть только каштаны, круглые, блестящие, эти уж точно никуда с места не двинутся. Я беру один, ближний ко мне, и, не размахиваясь, швыряю его вниз.

Тук-тук-тук.

Тук-тук, каштан глухо стучит по ступенькам, больше я его не увижу.

История с испанцем сменяется историей с парнем, вернувшимся из Алжира. Чашка недопитого молока (все именно так, как я и предполагал) и детские кубики.

С вишенкой и пустыней.

Впрочем, кубиков больше, чем два, целых пять, я задерживаюсь возле них надолго. Кубиков пять, на каждом по шесть наклеек, соответствующих шести граням. Тридцать стилизованных изображений самых бесполезных, самых невинных вещей, тридцать букв, многие повторяются. Вариантов сложить слово всего лишь из пяти – предостаточно. Я бы предпочел русский, тогда количество букв в слове уменьшилось бы до четырех. Но все дело в том, что кубики-то французские, – ничего удивительного, мне всегда приходится играть по чужим правилам.

«Анук» по-французски выглядит как «Anouk».

Я нахожу абрикос (а), бант (п), птицу (о) – это крапивник, будь я проклят, это действительно

крапивник, во всяком случае, я запомнил крапивника именно таким... Я нахожу и сомнительную для детского восприятия букву «и» — она воплощена в униформе, то ли пожарника, то ли верхолаза; еще две «о» и еще одну «а», на этот раз — крыло.

Крыло — aile.

Абрикос — abricot.

Бант — noeud de ruban (довольно сложная конструкция).

Птица, маленький крапивник, — oiseau.

Униформа пожарника — uniforme.

И никаких следов «к», из тридцати возможных вариантов не подходит ни один, имя (единственное имя, которое по настоящему меня волнует) — не складывается. Анук снова ускользнула от меня, все как обычно.

Все как обычно. Самое необычное — последний привет от алжирского приятеля Линн, и почему только я не заметил его раньше? Пистолет, в жизни не имел дела с оружием. Но это не повод, чтобы отказаться от него сейчас. Если до сих пор у меня и были сомнения, что все происходящее со мной — дурной сон, теперь они улетучились полностью. От пистолета, который лежит на ступеньках, веет уверенностью и силой, он вопиюще, неправдоподобно материален. После секундного колебания я подбираю его и сую за брючный ремень. На всякий случай.

Вдруг пригодится.

Ловить здесь больше нечего, какое мне дело до жизни приятелей Линн и уж тем более – до их смерти. Скакать козлом по ступенькам мне тоже не улыбается, туман и плеск воды обманули меня, за четырнадцатой по счету деревяшкой снова последуют дубовые стены. Ну что ж, самое время сосредоточиться на площадке.

Сосредоточиться на площадке – означает сосредоточиться на картине, больше ничего не заслуживает здесь внимания. Картина (вернее, очередной ее клон) висит на уровне глаз, так что рассмотреть изображение не составит особого труда.

Никакая это не картина, скорее – графический лист, упакованный в стекло. Явно не оригинал, да и мысль, которую преследовал автор листа, тоже не блещет оригинальностью. К этой мысли пришел бы любой; любой неудачник, любой баловень судьбы – рано или поздно, но пришел бы. Эта мысль достойна того, чтобы быть запечатленной в раскрытом посередине альбоме – он занимает центральную часть графического листа. Но такие альбомы не созданы ни для мыслей, ни для любовных откровений. Любовным воспоминаниям тоже не повезло, слишком уж гладка бумага; забытая в толще десятилетий ковбойка твоего друга, на которой остались следы от помады твоей подруги (кто бы мог подумать, что они снюхаются в ночь выпускного бала – стоило тебе отойти за лимонадом) – забытая в толще десятилетий ковбойка

твоего друга не удержится на этой бумаге, соскользнет. В таких альбомах хорошо рисовать бездумные тетраэдры и пирамиды и покрывать их такой же бездумной штриховкой; но рисунок в альбоме – в центре рисунка под стеклом – куда изощреннее: силуэты полуящериц-полусаламандр с вытянутыми головами, черных и белых. Есть еще серые, но об этом хочется побыстрее забыть, серый никак не тянет на концепцию. А черное и белое чередуются, набухают жизнью и пульсирует. Точно так же пульсировало твое сердце, когда лимонад, принесенный из буфета, оказался невостребованным.

Полуящерицы-полусаламандры выползают из листа, как выползали бы из воды на берег. И, описав круг, возвращаются обратно в лист, как возвращались бы обратно в воду.

Никакого отторжения они не вызывают, но и симпатии тоже.

Куда симпатичнее предметы, окружающие альбом. Их девять – сакральное число, значение которого я не помню. Три книги (на одной из них, самой маленькой, написано «JOB»). Иов – символ непоколебимой веры, ничего общего со мной, разве что я верю Ануку, как Иов верил Богу); три книги, один стакан и одна бутылка, цветок и небольшой угольник, служащий трамплином для материализовавшихся гадов. Есть еще металлическая ступка, больше похожая на пепельницу, и объемная

модель геометрической фигуры, пятиугольника.

Все подчинено круговому движению рептилий.

Все подчинено круговому движению.

Круговому.

И все мои попытки вырваться так же бесплодны, как попытки ящериц разорвать круг. Я снова и снова буду возвращаться туда, откуда пришел.

Это и есть главная, не блещущая оригинальностью мысль картины. Линн все-таки оставила ключ, но не в замке входной двери. Она поместила его в графику за стеклом, она была честна со мной, жаль, что я не заметил подсказку раньше.

Я возвращаюсь. Решено, я возвращаюсь.

Четырнадцать ступеней, до сих пор казавшиеся непреодолимыми, теперь вселяют в меня надежду. Нужно просто изменить направление движения, поменять местами верх и низ, я возвращаюсь.

Я вижу Линн (господи, какое счастье, я снова вижу Линн!) – она стоит неподалеку, в начале одной из галереек, облокотившись на перила.

– Вино закончилось, – говорю я первое, что приходит в голову. Бокал так и остался стоять на площадке, возвращаться за ним мне вовсе не хочется.

– Пустяки, – улыбается Линн. – Пустяки. Я достаточно выпила сегодня.

Я даже не знаю, сколько сейчас времени, ночь кажется бесконечной, ничто не намекает на существование дня. Ночь кажется бесконечной, так

что лучше провести ее с Линн. Если мне повезет — я увижу, как она окончательно состарится и умрет; если мне повезет — я увижу, как она снова станет молодой. Ведь ночь бесконечна только потому, что движется по кругу.

— Вы обещали рассказать мне о книге, Линн. Об «Ars Moriendi». Как она попала к вам?

Неужели и сейчас она уйдет от ответа?

— Мне кажется, она была здесь всегда, Кристобаль. Я только переключала ее с места на место. Странно, она много лет никого не интересовала... И вот, пожалуйста, — два покупателя за одно утро. И оба хотят заполучить «Искусство умирания»...

— Действительно, странно. Расскажите мне о книге, Линн... Раз уж мне не повезло, и я оказался вторым.

— Может быть, вам и повезло, Кристобаль, — слова Линн слепящими точками окружают меня со всех сторон. — Дело в том, что я никогда не открывала ее. Никогда.

Определенно, Линн издевается надо мной. Старая сука.

— Не удивляйтесь, юноша. Есть масса книг, которые нам никогда не суждено открыть. Разве от этого в нашей жизни что-то меняется к худшему? Или к лучшему? И, скажу вам по секрету, это — последняя книга, которую бы мне хотелось изучить подробно...

— Почему?

– Я рассказывала вам о своем возлюбленном...
– О том, который вернулся из Алжира?
– Нет, алжирец был раньше... О том, который не стал знаменитым писателем... Он совал нос во все книги, ни одной не пропускал, бегал за ними, как бегают за юбками. Бывали времена, когда он не слезал со стремянки сутки напролет.

Линн коллекционирует странных типов – приходится признать.

– У него была аллергия на дневной свет, очень редкая болезнь. Сложно любить человека, которого даже на улице не поцелуешь, разве что в дело вмешается солнечное затмение... – Линн заговорщицки подмигивает мне.

– Но вам ведь удавалось это – любить. Правда, Линн?

– Это – единственное, что мне удавалось. Как владелица магазина я совсем не преуспела. Если бы Эрве остался жив – он был бы лучшим хозяином, чем я.

– Эрве?

– Эрве Нанту, мой парень. Или Крот, как называли его знакомые. Все из-за этой его аллергии. Он и умер из-за нее. Так, во всяком случае, мне сказали врачи. С тех пор я не верю врачам. Я точно знаю – умер он совсем по другой причине.

Сейчас. Сейчас Линн расскажет мне об этой причине. Наверняка она как-то связана с «Искусством

умирания», которое так мне и не досталась, — будь все по-другому, вступление не выглядело бы таким многообещающим.

— Он умер из-за книг, — Линн понижает голос. — Книги погубили его.

— Вот как?

— Объяснять это в полиции было бесполезно, никто не стал бы меня слушать. Нужно знать Эрве... И его одержимость писательством. И его ревность к тем счастливым, кто был в состоянии сочинить несколько запоминающихся фраз.

Линн пристально смотрит на меня, и зачем только я сказал, что я — начинающий писатель? Впрочем, не стоит волноваться: я ведь не начинающий писатель, и никакого отношения к мукам со строптивыми причастными оборотами я не имею, мне никогда не сочинить фразу «Линн, русалка и немножко бонна». Начинающий писатель — Кристобаль, такой же ревнивый неумеха, как и покойный Эрве, я лишь плаваю в соляном растворе по имени «Кристобаль», в дешевом испанском вине по имени «Кристобаль» — изредка выныривая и отфыркиваясь.

Линн явно хочет о чем-то предупредить Кристобаля, жаль, что он никогда ее не услышит.

— Эрве появился здесь, когда ночь закончилась,

Сказанное Линн обнадеживает: ночи заканчиваются, и здесь нужно просто набраться терпения.

– Точной даты я не помню, кажется, это был конец марта. Мокасины на босу ногу, куртка из болоньи и матерчатая сумка, вот и все, с чем Эрве пришел сюда. Он был похож на бродягу, он так бился в двери, что чуть их не высадил. Я подумала – за ним гонится полиция.

– За ним гналась полиция?

– Хуже. За ним гнался день. Говорю вам, дневной свет был ему противопоказан. Так он мне и объяснил.

– И вы ему поверили?

– А почему я должна была не верить ему? Эрве сказал, что неподалеку, в двух кварталах, живет его старинный друг и что он просто не успел добраться до него. Эрве приехал из Лиона, автостопом, на грузовике...

Не на том ли грузовике с лионскими номерами, который стал причиной гибели вонючки-Бадди? Смерть настигла Бадди позавчера, день настиг Эрве Нанту лет тридцать назад, ничего общего между Бадди и Эрве Нанту нет, кроме грузовика из Лиона.

И меня.

Мысль вовсе не кажется мне такой уж невозможной, в этом странном букинистическом время существует по одному ему понятным законам. Оно искривляет пространство, удлиняет лестничные пролеты и бесконечно множит их; оно поддерживает жизнь в бог весть когда срезанных розах, заставляет меня и Линн выплевывать насекомых изо рта...

– Он не врал, Кристобаль. Я познакомилась сего другом на следующий день. С тем, до кого он так и не успел добраться. Это он назвал Эрве Кротом. Друг работал в страховой компании и ко всем писательским потугам Эрве относился скептически...

– Он так и остался здесь? Не друг Эрве – сам Эрве...

– Да. Вы проницательны, мой милый испанец. Гораздо более проницательны, чем был когда-то он. Он остался. Здесь было столько книг – и он остался. Он был забавный, хотя мне и приходилось постоянно держать жалюзи закрытыми. Пришлось даже заказывать для них таблички – «Ouvert»⁴⁷. Правда, на них мало кто обращал внимание...

– Ваши доходы резко сократились?

Линн улыбается. Линн снова улыбается. Не только слова существуют отдельно от нее – улыбка тоже. Она висит в воздухе, подобно дирижаблю Нобиле, такая же нелепая, такая же бесформенная, такая же обреченная на скорую гибель.

– Ну кто же извлекает доход из продажи книг? Книгами торгуют из любопытства, из удовольствия, из страсти к флирту, из желания запихнуть свои комплексы в чужую жизнь или найти им подтверждение в чужой жизни...

– Это ваш Эрве так говорил?

– Эрве говорил мне лишь: «Задерни плотнее шторы, дорогая»... Он все здесь переставил по-

своему. Переставил все книги — по одной ему понятной системе. И, знаете, это прибавило нам посетителей. Не сразу, но прибавило...

— И что это была за система?..

Система Эрве не очень-то волнует меня, разбираться в ней — занятие едва ли более благодарное, чем на ощупь ползти в тесных подземных коридорах, вырытых кротом. Без бечевки в кармане, с отсыревшими спичками, но с чем-нибудь жизнеутверждающим в CD-плейере, группой «Coldplay», к примеру: дневного света ей не нужно, она сама себе — дневной свет. Все самое интересное всегда случается на песне «Yellow», так что у меня еще есть шанс наткнуться на «Искусство умирания» в кротовых тоннелях, важно не спутать его с чем-нибудь другим.

— ...И что это была за система, Линн?

— Не знаю. Чтобы понять ее, нужно было самой на время стать Эрве. У меня не получилось. Я никогда не была одержима книгами. Я никогда не считала, что книги могут заменить весь мир.

— А он считал?

— Он — да. У него не оставалось другого выбора. Путешествия были для Эрве недоступны, путешествие требует поступательной смены дня и ночи, его невозможно прервать только потому, что наступил день. Нельзя бросить недопитой чашку кофе на заправке, нельзя бросить недопитой женщину,

даже проститутку... Для Эрве существовала только ночь...

— Бедный Эрве...

— Он оскорбился бы, если бы услышал это, Кристобаль. Он был по-своему счастлив. Может быть, более счастлив, чем мы с вами. У его ног лежал не просто мир, у его ног лежали комментарии к миру. Подстрочники, придуманные людьми гораздо более талантливыми, чем он сам.

— Эрве не был талантлив?

— Я не прочла ни одной строки из того, что он писал.

— Вы не интересовались тем, что он делал, Линн?

— Не думаю, что хоть одна строка существовала. Но он был очень умный, очень. Он изучил Индию по Киплингу, корриду по Бласко Ибаньесу, джаз по Трумэну Капоте, приготовление коктейлей по Хемингуэю, баллистику по Ремарку, устройство авиационных двигателей по Экзюпери, устройство гарпуна по Генри Мелвиллу, черную магию по Лавкрафту, сезонную миграцию гепардов по Джой Адамсон⁴⁸... О, он был очень умный, Кристобаль...

Дураком он точно не был, Эрве Нанту, я бы и сам доверил приготовление коктейлей Хемингуэю. Но так ли безупречны неизвестные мне Лавкрафт и Джой Адамсон?..

— Как можно судить о корриде, ни разу ее не увидев, Линн?

Линн как будто ждет этого вопроса. Крестобаль – испанец, он просто не может не ухватиться за бой быков.

– Любое событие очень быстро становится воспоминанием, милый мой. Воспоминанием, тенью на стене, тенью тени. А у тени нет ни запаха, ни вкуса, лишь силуэт. Правильность силуэта – вот что главное. Правильность силуэта может убедить тебя в чем угодно. Даже в том, что ты своими глазами видел то, чего не видел никогда.

– Это ваш Эрве так говорил?

– Эрве говорил мне лишь: «Я отправляюсь в Латинскую Америку. Закажи мне «Комедиантов»⁴⁹, дорогая».

– И вы заказывали?

– Да.

– А он потом рассказывал вам о Латинской Америке?

– Да. С такими подробностями, которые ни в одной книге не сыщешь.

В голосе Линн звучит неподдельное восхищение. Внезапно нахлынувшие воспоминания о чудаковатом Эрве разом стирают с ее лица никому не нужные десятилетия, прожитые без набранных мелким петитом рассказов о Латинской Америке и ловле касаток. Скорее всего, сейчас я вижу Линн такой, какой видел ее сам Эрве: маленькой девочкой, дочерью молочника из Нанси – ноги в цыпках, руки в

царапинах; маленькой девочкой, которой можно легко втюхать любую небылицу.

Зрелище незабываемое. Девочка Линн чудо как хороша.

— Что же произошло с Эрве, Линн?

Почти старуха Линн мрачнеет. Это воспоминание не приносит ей никакой радости; ясно, что тень на стене выглядит безобразной и до сих пор пугает ее.

— Наверное, я сама во многом виновата, Кристобаль... Мне не нравилось вечно сидеть в потемках, разве можно винить меня за это? Мне было всего лишь двадцать три...

— Вам было всего лишь двадцать три, и вы уже владели магазинчиком?

— Магазин достался мне от крестного. Он отдал богу душу за три месяца до появления Эрве и вовсе не так трагично. Свалился в пропасть на своем автомобиле в Швейцарских Альпах.

— Значит, с Эрве дела обстояли еще хуже?

— Намного.

«Он умер из-за книг. Книги погубили его» — вот что сказала мне Линн.

— Его разорвали бумажные гепарды Джой Адамсон? — не слишком удачно шучу я. Линн вздрагивает.

— Может быть, — шепчет она, и дрожь пробегает по моему телу. — Может быть... Когда мы вернулись, магазин был заперт изнутри, но жалюзи подняты.

Эрве лежал ничком у двери, в круге света, день все-таки настиг его. На пыльном полу, в пыльном Париже. Он мечтал умереть, но вовсе не так. Вовсе не здесь.

— В Латинской Америке?

— В Латинской Америке, да... Где-нибудь у подножия ацтекской пирамиды, под лучами восходящего солнца... Я не должна была оставлять его. Но его друг...

— Страховой агент?

— Да. Мне было двадцать три, мне так хотелось разглядеть лицо того, кто может полюбить меня. Разглядеть при дневном свете. Разве можно винить меня в этом?

Вот оно что. Девочка Линн выросла, но от этого не перестала быть дочерью молочника из Нанси, цыпок на ногах больше нет, но царапины остались, привычка к царапинам — стойкая вещь, любой страховой агент слегка за двадцать пять может оцарапать ей сердце. Обычный страховой агент, каких тысячи, в приличном галстуке, в ботинках на пробке, с крепкими зубами, крепкой шеей и крепким кадыком, с немнущимися даже после незапланированного минета брюками. Вместо наспех сочиненной Латинской Америки — добротная и совершенно реальная поездка на поезде в Монпелье, девушка отвечает за бутерброды, мужчина — за выпивку. Девушка отвечает за романтику, мужчина — за

презервативы.

– Нет, конечно же нет, Линн... Вас ни в чем нельзя винить.

– Мы уехали в Сан-Тропе. В Париже было беспокойно, и мы уехали в Сан-Тропе.

Не Монпелье – Сан-Тропе. Не вылазка на пикник – полноценный отдых на побережье. Страховой агент, охмутивший Линн, еще основательнее, чем я думал.

– Мы видели там Джонни Холлидея⁵⁰... Он каждый вечер прогуливался по набережной, смотрел на яхты. Мы были не единственные, кто пережидал май вдали от Парижа. Джонни тоже не хотел ввязываться в этот бунт. А он был великий рок-н-ролльщик. Разве нет?

– Да.

Только теперь я начинаю понимать, что Линн говорит о мае шестьдесят восьмого. Линн никогда не была бунтаркой, я ошибся. Или это крепкозубый агент так на нее повлиял? Теперь мне легко представить Линн в другой прическе: не шальная «бабетта» – коротко стриженные мальчишеские волосы Джин Сиберг, к шестьдесят восьмому году они так и не успели отрасти. В черно-белом годаровском «На последнем дыхании» (когда-то я видел этот фильм с Мари-Кристин и так ничего в нем и не понял) стриженная под мальчишку Джин Сиберг предала мелкого мошенника Жан-Поля Бельмондо. И его убили. Джин предала Жан-Поля, которому ужасно не

шла шляпа, но ужасно шла сама Джин.

Джин предала Жан-Поля, так же, как Линн предала несчастного крота Эрве Нанту.

Большим пальцем правой руки по губам, сначала по верхней, потом – по нижней. Последний жест преданного Жан-Поля. Последний жест предавшей Джин.

FIN

Совершенно бессознательно я повторяю жест Жан-Поля перед финальным титром. Линн отвечает мне тем же жестом. Она чуть не плачет.

– Эрве лежал перед дверью. Суший кошмар. Меня вырвало. Он был весь в крови.

– Его убили?

– Дверь была закрыта изнутри. Вся одежда Эрве пропиталась кровью, на нем живого места не осталось, как будто кто-то взорвал его изнутри. Как будто кто-то искромсал бритвой каждый сантиметр его тела.

– Вы вызвали полицию?

– Стриж вызвал полицию.

– Кто это – Стриж?

– Приятель Эрве. Он звал Эрве Кротом, Эрве звал его Стрижом – странно, что Линн, променявшая полубезумного книжника на вполне нормального страхового агента, избегает его имени, как прикосновения прокаженного.

Счастье, что стрижи не похожи на крапивников.

— Поначалу полиция думала, что Эрве пал жертвой разбушевавшихся студентов. Но дверь была закрыта изнутри, никаких следов взлома, ничего не украдено, полки в идеальном порядке. Дело оказалось в аллергии на дневной свет. Эрве попал под лучи, кожа пошла волдырями и струпьями и в конце концов лопнула. Возможно, он умер от болевого шока. Это был несчастный случай.

— Несчастный случай, Линн, — я снова провожу большим пальцем по губам. — Несчастный случай, вы не виноваты.

— Врачи тоже посчитали это несчастным случаем. И с тех пор я им не верю. Если бы мы вернулись дня на два раньше... Или хотя бы надень...

— Вы не виноваты.

— Я не виновата, — Линн упорно избегает моего взгляда. — Виноваты книги. Из-за них он и погиб. Может быть, только из-за одной.

— «Ars Moriendi»? «Искусство умирания», да?

Вопрос (я вложил в него всю страсть, на которую только был способен) не производит на Линн никакого впечатления.

— Я не знаю, — просто говорит она. — Эрве ведь читал не все книги. За некоторыми он просто подглядывал. Как за девочками в школьной раздевалке. За некоторыми он подглядывал, некоторые обворовывал, вытягивал из них по фразе. Я не осуждаю его — он хотел быть писателем.

Возможно, он и стал бы им, если бы не погиб.

— Это было «Искусство умирания»? —
Беспомощность Линн заставляет меня идти
напролом. — Ведь так же, Линн?

— Я не знаю. Прежде я никогда не видела этой
книги здесь. Я увидела ее, когда Эрве уже увезли в
морг. Она лежала на полке новых поступлений, но без
ценника. Эрве не успел определиться с ценой.

— Как она попала в магазин?

— Должно быть, кто-то сдал ее. В мое отсутствие
Эрве неплохо справлялся с делами, будь жив мой
покойный дядя — он бы обязательно сделал его своим
компаньоном... Знаете, Кристобаль, Эрве хоронили в
открытом гробу. И день был солнечным.

А как же волдыри и струпья, Линн? Не думаю,
чтобы лопнувшей коже так уж нравился солнечный
свет.

— В открытом гробу?

Юноша-гример, к которому попало тело Эрве,
оказался просто кудесником. Жаль, что мы с ним
встретились не в самое подходящее время... Эрве
умер, я была увлечена Стрижом... Я даже имени у
него не спросила, у этого парня... Он слегка
прихрамывал, как Байрон, и очень этого стеснялся.
Он слегка прихрамывал, и эта седая прядь в черных
волосах... Жаль, что мы с ним встретились не в самое
подходящее время...

— Не в самое подходящее?

– Не в самое подходящее для любви... – Линн до сих пор слегка покусывает себя за пальцы из-за несостоявшегося тридцать лет назад романа, это видно. – Я хоронила близкого человека, рядом со мной был еще один мужчина... Он мог подумать, что я какая-нибудь шлюха... Нимфоманка. Ведь так же, Кристобаль?

– Вы совершенно правы, Линн.

Линн разочарована, она ожидала от меня совершенно другого ответа.

– Такое яркое солнце... И я так плакала на похоронах... Если бы не Стриж, я бы бросилась за Эрве в могилу, я ведь впервые увидела его при дневном свете. Он был так красив... Я подумала тогда – вот тот единственный, кого я могла полюбить на всю жизнь... Я взяла его очки на память. Круглые, правое стекло с трещиной. Очки, правда, потом пропали...

– А книга? «Искусство умирания»?

– Стриж посоветовал избавиться от нее, – Линн не очень-то хочется вспоминать ни о книге, ни о Стриже.

– Почему?

– Он сделал то, на что никогда бы не решилась я сама. Он пролистал ее.

– И?

– Никакого особого впечатления на Стрижа она не произвела. Он не читал книг, и это лучшее, что в нем было...

Жаль, что я ничего не знаю о стрижах, кроме того, что крылья у них длиннее, чем у всех остальных птиц. Кажется, и насекомых они ловят на лету, почти как страховые агенты, наскоро сующие себе в рот бутерброды и кофе с неразмешанным сахаром. Наскоро трахающие подружек в лифте, в купе поезда, в квартирах друзей. Основательность приходит позже, годам к тридцати пяти, когда крылья заметно тяжелеют. И ловить насекомых на лету становится все труднее. Но это с лихвой компенсируется должностью директора страхового агентства.

Je m'ennuie a mourir.

Скука жуткая, уж лучше бы Линн бросилась в могилу за Эрве.

— ...И вы избавились от книги, Линн?

— Я хотела подарить ее тому юноше-гримеру, он ведь совершил чудо. Он позволил мне заглянуть в лицо моей любви. Напоследок. Я сказала об этом Стрижу.

— А он?

— Эта идея не очень-то вдохновила его. У нас были близкие отношения, не забывайте. И Стриж оказался ревнив. Он не позволил мне встретиться с гримером, нечего, мол, впечатлительным молодым девушкам шляться по моргам.

— Значит, гример остался без подарка?..

Странно, но связь Линн с тупорылым страховым агентом задевает меня. Объяснить причину

раздражения я не в состоянии даже себе, в конце концов, какое мне дело до событий, произошедших много лет назад, какое мне дело до самой Линн, я вижу ее второй раз в жизни. А всех ее хахалей – и покойных, и живых – и вовсе никогда не видел. Я не видел их никогда, но самым удивительным образом они поселились во мне, расползлись по самым мелким капиллярам, и теперь с жестокой методичностью выжирают плоть изнутри; и теперь с завидным постоянством сталкиваются, задевая друг друга витыми улиточными раковинами.

Крэк.

Крэк, крэк, крэк. Я явственно слышу хруст.

– ...Значит, гример остался без подарка?

– Почему вы кричите, Кристобаль? – Линн укоризненно смотрит на меня.

– Простите...

– Стриж отнес ее чудному юноше сам. Сказал – пусть будет так, как ты хочешь. Он не хотел, чтобы мы больше встречались. Он оказался ревнив.

– И вы больше не встречались?

– Нет. Это был порыв, понимаете. Мгновенно возникшая симпатия, которая ни во что потом не вылилась. Впечатлительным молодым девушкам нечего шляться по моргам, тут Стриж оказался прав. И потом... Гример хромал. А романтическая хромота может увлечь лишь ненадолго. И он наверняка бы постоянно рассказывал о своих покойниках за

завтраком. Нет, я бы этого не вынесла...

Ах ты, сука. Сейчас. Сейчас я ущучу тебя. Наступлю на лживый псевдобукинистический хвост, которым ты столько вертела перед разными сомнительными типами.

— Но если ваш страховой агент отнес книгу в подарок, как же она снова оказалась у вас?

— Это все испанец. Он появился спустя несколько лет. Я была свободна, я только что рассталась со своим джазменом...

— Который впоследствии стал министром сельского хозяйства?

— Да. Я только что рассталась с ним...

— А Стриж?

Линн пропускает мой вопрос мимо ушей.

— Я только что рассталась с джазменом... Я была свободна...

— А Стриж? — я продолжаю бить в одну точку.

— С ним я рассталась еще раньше, — нехотя отвечает Линн. — Собственно, так мы и познакомились с испанцем. Он принес книгу. Хотел ее сдать и просил не очень дорого. Не очень дорого исходя из ее реальной стоимости, как вы понимаете.

— Он принес ту самую книгу?

— Ту самую. Именно тот экземпляр, который я обнаружила в день смерти Эрве. Ее нельзя было спутать, согласитесь. Я посчитала это знаком.

Пурпурный фон, украшенный то ли ирисами, то

ли водяными лилиями; чье-то лицо, изъеденное ржавчиной и стянутое железными обручами. Полустертый заголовок, просматриваются только четыре буквы: две первые – «А» и «R»; одна в середине – «О». И предпоследняя – «D». Обложка «Ars Moriendi» до сих пор стоит у меня перед глазами, ее действительно нельзя было спутать.

Я верю Линн.

– Его французский был отвратителен, не то что ваш, Кристоаль... Но из набора слов, почти бессвязного, я поняла, что книга принадлежала нескольким поколениям в его роду, и что ему она досталась от деда, в память об окончании университета. Он закончил университет в Саламанке...

Зеленый мандарин, лотос, магнолия, цветок абрикоса.

Гиацинт, жимолость, ветивер.

Жженный мед, кедр, лакрица.

Три волны идут одна за другой и почти сбивают меня с ног; интересно, коснулись ли они Линн, хотя бы одна из них? Как бы то ни было, в потускневших от времени волосах Линн распускаются магнолии, а дряблую кожу на шее прикрывают гиацинты. А ее глаза... Какими бы они ни были до сих пор – теперь ее глаза напоминают цветом жженный мед. Саламанка – именно так я называл сочетание запахов, подаренное мне смертью вонючки Бадди. Саламанка – именно это

слово я нашел в дневнике неизвестного мне Тьери Франсуа. И вот теперь я снова слышу его.

Саламанка.

Но ведь испанец не мог зваться Тьери, это французское имя.

— Как звали вашего испанца, Линн? — дрожи в своем голосе я не замечая, но ее не так-то просто скрыть от Линн.

— Вы, кажется, взволнованы, Кристобаль?

— Нет... Просто...

— Ох, уж эти испанцы... Повсюду ищут соотечественников. Признайтесь, вы ведь и Христа считаете испанцем? Выходцем из рабочих кварталов Мадрида... Или баском на худой конец...

— Нет, не считаю. Как его звали, Линн?

— Энрике. Как еще могут звать испанца? Или Педро, или Энрике, или Хуан. Моего звали Энрике. Вот только фамилию я забыла.

Энрике не имеет ничего общего с Тьери Франсуа, это ясно и без фамилии. Даже с покойным Эрве у него больше сходства, во всяком случае, их имена начинаются и заканчиваются на одну и ту же букву. И почему я сразу же не отреагировал на выпад Линн насчет басков? Кажется, я что-то говорил ей о басках, о том, что Кристобаль — выходец из Страны Басков. Настоящий баск никогда бы не спустил такого отождествления себя со всей остальной Испанией. Но лучше не поднимать эту тему, чтобы не вселять в

Линн ненужные подозрения.

– Почему же Энрике хотел продать книгу? Ведь она принадлежала нескольким поколениям...

– Энрике был леваком, – теперь глаза Линн мечтательно прикрыты. – Мне всегда нравились леваки. Молодые анархисты с листовками за пазухой, с серьезными связями на Кубе и в Никарагуа...

Конечно же, кому еще могут нравиться молодые леваки с листовками за пазухой и гранатами, рассованными по карманам? Только таким пресыщенным буржуазкам, какой Линн, несомненно, была в молодости. Только таким пресыщенным буржуазкам, отсиживающимся в Сан-Тропе с очередным законопослушным любовником. А о гранатах Линн благоразумно умолчала.

Je m'ennuie a mourir.

Скука жуткая снедает Линн, так и не выросшую дочку молочника с оцарапанными руками и оцарапанным сердцем. Снедает и снедала десятилетиями, отсюда все эти алжирские ветераны и испанцы, бежавшие от Франко, безумные книжники и джазмены, и кто там еще, их всегда будет на одного больше, чем я думаю. Страховой агент – вот чего Линн по-настоящему достойна.

– ...Ну и что, что он был леваком?

– Он отказался от своей семьи ради убеждений, семейные раритеты были для него пустым звуком. Так, по крайней мере, он мне объяснил. На плохом

французском.

Не так уж он плох, если Линн сумела выудить столько информации.

— Но зачем он продал книгу? Ему не доставало средств на партию оружия для Острова Свободы? В обмен на партию лобстеров...

— Вы чудный мальчик, Кристобаль, — смеется Линн. — Проводите целую ночь в обществе пожилой женщины... А ночи в молодости так бесценны... Слушаете ее бредни о давно умерших друзьях и еще находите в себе силы шутить...

— Я позволил себе что-то лишнее?

— Нет, конечно... А книгу он продал потому, что сильно поиздержался в Париже. Я, конечно, не стала настаивать на более подробном рассказе.

— По поводу Парижа?

— По поводу книги. Я ведь видела, что это — та самая книга. Но детали мне были ни к чему. Главное, что книга послужила поводом к нашей встрече...

— И вы... Вы не открыли ее даже после этого, Линн?

— Нет. Если я не сделала этого в первый раз, стоило ли делать во второй?.. И потом, эта книга напомнила мне об Эрве, а мне не хотелось думать об Эрве, я была увлечена Энрике. Я была по-настоящему им увлечена. Жаль, что он умер так рано... Рак.

— Я помню, Линн. Он болел раком, также, как и каштаны.

– Браво, Кристобаль. Вы все держите в памяти, из вас может получиться настоящий писатель...

Никакой особой связи между памятью и писательством я не вижу, чего не скажешь о Линн, ее любовниках и смерти. По крайней мере двое из тех, с кем она проводила такие бесценные в молодости ночи, мертвы. Остаются еще lieutenant с алжирским песком в брючных швах, забронзовевший министр сельского хозяйства и Стриж, страховой агент.

И сама Линн.

Но Линн ни разу не открывала книги и потому искусством умирания не овладела. А lieutenant заговаривал ей зубы по поводу Алжира гораздо раньше, Эрве Нанту появился лишь потом, после того как lieutenant загремел за решетку... Министра в стиле «My little suede shoes»⁵¹ тоже можно сбросить со счетов, Линн встречалась с ним в то время, когда книга уже была благополучно унесена из букинистического.

Страховой агент по кличке Стриж.

Стриж видел «Ars Moriendi». «Пролистал», как осторожно выразилась Линн. Интересно, что он поделявает сейчас? Еще более интересным кажется мне мое собственное упорство, почти граничащее с помешательством. Какого рожна я достаю старую букинистку с этим проклятым фолиантом, не в память же о распускающихся в воде чайных листах, в самом деле?

Анук.

Анук, моя девочка. Анук, вот кто привел меня сюда. Анук хотела, чтобы я нашел «Ars Moriendi», — и я его нашел. Но мне, как всегда, не хватило времени, мне не хватало его в детстве — не хватило и сейчас. Почему Анук была так важна эта книга и почему мне самому кажется, что в ней я получу все ответы на все вопросы? Во всяком случае, на один уж точно получу: как мне удержать Анук. Может быть, знание, которое мне откроется, и позволит ее удержать... Почему я так верю в это, Анук?..

— А что случилось со Стрижом, Линн?

Мои слова снова застают Линн врасплох — в который уже раз, они неудобны, как камешек в туфлях. И Линн морщится, как будто ей в туфель и вправду попал камешек.

— Кажется, ночь кончилась, — неожиданно говорит она.

Ночь действительно кончилась, вот черт, как же я не заметил этого?

...При свете дня второй этаж букинистического съезживается и как будто уменьшается в размерах. Теперь в нем нет ничего inferнального, хотя все так и осталось на своих местах: галерейки, сходящиеся к центру, и площадка с креслами и журнальным столиком.

Светящегося купола над головой тоже нет.

Его и быть не могло, это самый обыкновенный

парижский дом, потолок идет ему куда больше. Люди с верхних этажей – люди без воображения – вполне могли бы жить и здесь, и ничто бы не поколебало их психику. Пробивающийся из всех щелей солнечный свет беспощаден, от ночного кошмара и следа не осталось. И только теперь я замечаю пыльный налет на книжных полках: пожалуй, Линн говорила правду – как хозяйка букинистического она не преуспела.

Жаль, что Эрве Нанту погиб. Уж он никогда бы не допустил пыли на полках. Совершенно машинально я пытаюсь найти взглядом брешь в разнокалиберных корешках, ту самую, которая едва не покалечила мне руку; пытаюсь найти – и не нахожу.

Я и не должен был ее найти.

И светящегося купола никогда не существовало. Существовала только смерть Эрве, если, конечно, Линн не солгала. Если эта ночь мне не солгала.

– Вы ведь думаете об Эрве? – спрашивает Линн.

– Да, – я вздрагиваю. – Я думаю об Эрве. Откуда вы знаете?

– Здесь нельзя думать ни о чем другом. Здесь все осталось так, как было при жизни Эрве. Здесь, на втором этаже. Я имею в виду книжные полки. А кофе кончился, – Линн хочется поскорее выпроводить меня, кто бы мог подумать!..

– Я не очень-то люблю кофе, – мне и самому хотелось бы убраться отсюда поскорее.

– Я провожу вас, Кристобаль...

– Спасибо за ночь, Линн, – вполне искренне говорю я.

– Не торопитесь благодарить, милый мой...

«Не торопитесь благодарить» звучит довольно угрожающе, но разбираться в хитросплетениях смыслов у меня нет никакого желания. Вряд ли теперь хоть что-то может удивить меня – меня, бессчетное количество раз спускавшегося по ступеням, успевшего побыть и Эрве, и Энрике, и ящерицей с картины, один лишь Стриж от меня ускользнул. Даже если сейчас на второй этаж букинистического снова опустится ночь – я несколько не удивлюсь.

Но пейзаж вокруг меня неизменен: Линн и солнечный свет, Линн и книжные полки, Линн и лестница, Линн и розы вдали, у журнального столика.

Впрочем, Линн рядом со мной нет. Сейчас она гораздо ближе к розам в банках, чем ко мне.

– Кристобаль! – зовет меня Линн. – Идите сюда, Кристобаль!

Розы мертвы, вот почему Линн звала меня. Розы по-прежнему мертвы, удручающее зрелище.

Я не знаю, что смерть сделала с Эрве Нанту, но вряд ли она оказалась благосклоннее к несчастным цветам: все те же свернувшиеся стебли, те же высохшие головки, несколько часов назад я уже наблюдал за их кончиной, теперь Линн предлагает мне пережить тягостную процедуру снова.

– Вы видите, Кристобаль? – шепотом спрашивает

у меня Линн. – Вы же помните, какими они были?

– Да.

– Они стояли здесь тридцать лет... И все тридцать лет казались только что срезанными... Вы верите мне, Кристобаль?

– Да.

Шутки времени, Линн, это всего лишь шутки времени. Время продолжает существовать здесь по одному ему понятным законам. Тридцать лет розы казались только что срезанными – но и мертвы они тридцать лет, меньше пыльному цветочному кладбищу не дашь. А то, что всплыл этот факт только сейчас, – всего лишь шутки времени, Линн.

Линн плачет. Или мне только кажется, что она плачет?

– Успокойтесь, – я впервые касаюсь руки Линн.

Мне и самому необходима изрядная доля самообладания: кладбищенская патетика не для меня, заброшенные склепы из цветов – тоже. Сходство со склепом усиливает спертый воздух, забивающийся в ноздри, – и рука Линн. Она холодна, как лед, она абсолютно неподвижна, ее слепок вполне мог бы украсить надгробие Эрве или Энрике, не имеет значения, оба имени начинаются и заканчиваются одинаково.

– Успокойтесь, пожалуйста...

– Все в порядке, Кристобаль. Все в порядке.

Я все еще держу Линн за руку. То ли мои слова возымели действие, то ли Линн сама сумела справиться с собой, но холода в пальцах больше нет. Напротив, никогда еще я не касался такой живой, такой горячей плоти. Невидимые токи бродят под кожей Линн; в этих токах, в этой коже заключены все самые откровенные признания, на которые человек способен только в юности. Я сам не решился бы на них никогда, я не произнес их ни разу за всю свою никчемную жизнь — может быть, поэтому она кажется мне такой никчемной?.. Шероховатости на коже — я ощущаю каждую из них в отдельности, длинные узкие полоски, следы от царапин.

Линн не плачет, нет, я ошибся. Линн смеется.

— Боже мой, я свободна... Неужели я свободна, боже мой...

— Все в порядке, Линн.

— Да... Да... Спасибо вам, Кристобаль... Вы даже не представляете... Спасибо! Вы были посланы мне... Это знак... Знак. Идемте, я провожу вас.

— Может быть, — я даже не делаю попытки высвободить руку Линн, — может быть, мне лучше остаться?

— Не стоит. Я и так отняла у вас непростительно много времени.

...Спуск по лестнице оказывается намного короче: всего лишь семь ступенек. Семь — против ночных четырнадцати, и как я мог принять за ловушку самый

обыкновенный лестничный пролет? Дубовые панели, картина под стеклом в простенке, единственное, что смущает меня, — на перилах нет бокала; я ведь оставил его здесь, а теперь его нет, нуда черт с ним...

— Занятная картина, — самым непринужденным тоном говорю я, останавливаясь на площадке.

— Вы находите? — взгляд Линн равнодушно скользит по стене. — Она просто прикрывает дырку в панелях, давно хотела ее снять. Сменить на что-нибудь более современное. Все-таки у моего министра-джазмена напрочь отсутствует вкус. Это ведь он подарил.

Размер. Вот что ввело меня в заблуждение. Размер картины и стекло; но то, что я вижу сейчас, не имеет ничего общего ни с графикой, ни с полуящерицами-полусаламандрами, движущимися по кругу. Бледноватая копия какой-то старинной картины: двое мужчин, один из них на лошади и с мечом в руках. Лошадь удалась меньше всего, слишком уж длинный круп и короткие ноги. И всадник, и его спутник не обуты, время «My little suede shoes» еще не пришло.

— «Милосердие святого Мартина», — поясняет Линн. — Так, кажется, называется картина. Понятия не имею, кто такой святой Мартин и чем он прославился.

— Наверняка покровительствовал джазу в средние века. Вам и правда нужно сменить ее на что-нибудь более современное.

Я знаю, что выберет Линн: какую-нибудь из

наименее удачных репродукций Ронни Бэрда.

Книга вторая

МЕРТВЫЕ

*Ящерица любви
Опять ускользнула, опять
Только хвост в руке у меня остался...
Вот и прекрасно,
За ним-то я и гонялся/
Жак Превер*

PARIS LOUNGE: METAMORPHIK⁵²

- ...Олаф-Харальд Перссон?
- Да.
- Меня зовут Дидье Бланшар.
- Чем могу быть полезен?
- Вы ведь занимаетесь недвижимостью...
- Двадцать пять лет на рынке. Фирма с безупречной репутацией, более сотни сделок за последние пару лет...
- Меня интересует только одна. Которую ваша фирма заключила осенью прошлого года. На покупку небольшого букинистического магазинчика в центре Парижа.
- Это конфиденциальная информация.
- Вот мое удостоверение. Дидье Бланшар, инспектор полиции.
- Ну что ж, это меняет дело. Я помню эту сделку, я сам ее заключал. Два этажа, около двухсот метров полезной площади.
- И кому вы продали такую уйму полезных метров?
- Одному известному парфюмеру. Ги Кутарба, очень экстравагантный молодой человек. Моя жена без ума от его духов. «Salamansa», прелестный

аромат...

— Вы сами предложили мсье Кутарба этот вариант?

— Не совсем так. Идея с покупкой букинистического принадлежала мсье. Наша фирма просто занималась оформлением сделки, юридическими формальностями. А что, собственно...

— Значит, он сам к вам обратился?

— Он был очень заинтересован в покупке, очень. Предложил хорошие комиссионные.

— А почему он вдруг так заинтересовался этим букинистическим?

— Наивный вопрос, мсье Бланшар. Почему люди покупают ту или иную недвижимость? Во-первых, во-вторых и в-третьих — это беспроектное вложение денег. Так сказать, брак по расчету.

— А бывают еще браки по любви?

Сплошь и рядом. Когда человек с ходу влюбляется в то, что со временем станет его домом. Здесь существует масса нюансов, масса скрытых течений — холодных и теплых, здесь имеет значение все, вплоть до того, садятся ли птицы на твой подоконник или нет. И какие именно птицы. У меня был один клиент, купивший дом в Понтуазе только потому, что потрескавшиеся плитки на полу в кухне живо напомнили ему детство. Никогда не забуду, как он затрясся над небольшой выбоиной у порога...

— Очевидно, выбоина напомнила ему падение

собственного дедушки, закончившееся выбитыми зубами... Мсье Кутарба смахивал на такого сентиментального идиота?

— Нет, почему же... Существует ведь еще несколько причин, по которым люди покупают те или иные дома.

— Какие же это причины?

— Иногда дома покупают из-за их прошлого, подлинного или мнимого. Такие покупки, как правило, — удел честолюбцев, нуворишей и людей с не в меру буйным воображением. Иногда при помощи домов сводят счеты с врагами, уже поверженными, — и это можно смело приравнять к взятию трофея. А дикие азиатские браки — если уж мы заговорили о браках...

— Азиатские?

— Именно. Когда недвижимость берется не глядя, когда клиенту недосуг заглянуть под чадру дома, если так можно выразиться.

— Что, иногда и откровенное дерьмо могут втюхать под сурдину?

— Такие случаи бывают, если вы имеете дело с недобросовестными агентами. Главное здесь — не ошибиться с фирмой. К примеру, у нашей фирмы — безупречная репутация. Так что если вам когда-нибудь понадобятся услуги по покупке недвижимости — смело можете обращаться к Олафу-Харальду Перссону. Вот моя визитка.

– Тронут.

Ну что вы, что вы... Взаимоотношения людей и домов полны скрытых страстей, и не всегда возвышенных. Знал я дома, которые медленно убивали своих хозяев и хозяев, которые растлевали собственные дома. Это достойно философского трактата. Или хорошо закрученного мистического триллера. Жаль, что Олаф-Харальд Перссон напрочь лишен литературного дарования...

– Ну, я бы так не сказал.

– Правда? А знаете, мсье Бланшар, в молодости я грешил бумагомаранием, несколько моих рассказов даже было опубликовано. Правда, их сочли не совсем удачным подражательством Трумэну Капоте, почему именно Капоте – я до сих пор не могу понять. Я и в Америке-то никогда не был, и приталенных пиджаков не носил...

– И тем не менее ваша лекция о домах мне понравилась.

– О, я бы многое мог вам порассказать!..

– Не сомневаюсь, мсье Перссон, но сейчас меня интересует вполне конкретная информация.

– Да-да, конечно. Я готов ответить на ваши вопросы.

– Расскажите-ка мне об этом букинистическом. Почему Ги Кутарба положил глаз именно на него? Он ведь, как все твердят в один голос, парфюмер и вряд ли стал бы заниматься книгами.

– Не думаю, что букинистический магазин интересовал его именно как букинистический. Он довольно удобно расположен. Это касается не только внешней, так сказать, топографии, но и внутренней. Вполне логично предположить, что мсье Кутарба хотел открыть там собственный магазин. Парфюмерный.

– Да, этот логический вывод напрашивается сам собой. Вот только не далее, как несколько дней назад, я навестил этот приют индустрии ароматов.

– И... что?

– И ничего. Нет там никакого парфюмерного.

– Тогда... Возможно, мсье Кутарба купил букинистический под жилье. Такой вариант ведь тоже не исключен.

– У него есть жилье. Тихая пристань в девятнадцатом округе, на улице Музайя. Это ведь тоже вы сосватали ее мсье Кутарба, а?

– Да-да, как я мог забыть... Чудное место, сама патриархальность. Дикий жасмин, внутренние дворики, почти Италия, право слово. Жан-габеновский пейзаж.

– И сквозь брусчатку пробивается трава. Все эти прелести я тоже видел. Вернемся к букинистическому. Мсье Кутарба купил его больше года назад, как вы утверждаете, под парфюмерный магазин...

– Ничего такого я не утверждал. Я просто

высказал предположение.

– Неважно. Так вот, я был там. Ничего не отремонтировано, разор и запустение, если так можно выразиться. Вот вы, специалист, объясните мне – зачем покупать коммерческую недвижимость только для того, чтобы купить?

– Откуда же мне знать? Поговорите об этом с самим мсье Кутарба. в конце концов, это его собственность. Я всего лишь агент. Посредник.

– Сделка с домом на улице Музайя произошла позже?

– Э-э... Много позже.

– И все это время – я имею в виду время до приобретения дома на Музайя – он так ничего и не сделал с букинистическим. По-прежнему снимал квартирку на рю де ла Гранж. Странно, не правда ли?

– Причуды клиентов меня не касаются.

– Какую сумму мсье Кутарба вложил в покупку букинистического?

– Это конфиденциальная информация. Я не могу предоставить ее даже вам. Без соответствующей санкции, разумеется. Он что, обвиняется в неуплате налогов?

Он ни в чем не обвиняется. Во всяком случае – пока. Что вы знаете о бывших владельцах букинистического?

– Немного.

– Это, я надеюсь, не конфиденциальная

информация?

– Нет. Букинистический просуществовал больше пятидесяти лет. Л до этого там располагалась... кажется, лавка колониальных товаров. Специи, пряности, табак, чай... Хозяин лавки был осужден за коллаборационизм в сороковых. Типичная для того времени история.

– Хотелось бы ее услышать.

– Не ручаюсь за достоверность, но в самом конце Второй мировой там была уничтожена целая группа Сопротивления. Хозяин лавки донес о пятерке маки нацистам, уж не знаю, из каких соображений. После того, как его осудили, помещение некоторое время пустовало.

– А потом туда въехал букинистический.

– Да.

– Что же случилось с прежним хозяином?

– Не знаю. В Париж он не вернулся. Уже в шестидесятых он попытался предъявить права на магазин, даже заслал сюда дочь, но успехом это мероприятие не увенчалось.

– Новые владельцы оказались с зубами?

– Коллаборационистов недолюбливали и в шестидесятых.

– А зубастые владельцы? Книжные черви... Расскажите-ка мне о них.

– О них вообще мало что известно. Поначалу – довольно долгое время – букинистическим заправлял

бывший экспедитор из Нанси, по отзывам — милейший человек. Впоследствии он погиб.

— Убийство?

— Несчастный случай. Катастрофа в Швейцарских Альпах, машина, в которой он находился, рухнула в пропасть.

— И магазин остался сиротой?

— Нет, конечно же... У экспедитора из Нанси оказались наследники, правда — не прямые. Но о них совсем ничего не известно...

— Неизвестно или вы чего-то недоговариваете?

— Если я чего-то и недоговариваю... То это касается самого магазина. Но строго между нами, мсье Бланшар.

— Можете на меня положиться.

— Этот магазин — не самое веселое место. С ним было связано несколько смертей, не всегда уместных.

— Что вы имеете в виду?

— Насильственных. Ходили такие слухи. Правда, всего лишь слухи, не более...

— И где же они ходили?

— У нас, в профессиональной среде. Агенты не особенно жалуют дома с червоточинкой. Этим букинистическим занималось несколько человек, но лишь мне удалось продать его. И то — только потому, что сам клиент выразил желание заполучить эти несчастные двести квадратных метров.

— Клиент — это Ги Кутарба?

– Да. Он был очень заинтересован в приобретении букинистического. Я бы даже сказал – он был одержим им.

– Он знал о магазине что-то такое, чего не знаете вы?

– Я этого не утверждаю. Единственное, чем Ги поделился со мной, – это воспоминанием о первом посещении букинистического. Когда тот еще был букинистическим.

– Растрескавшаяся плитка на полу, живо напомнившая детство?

– Что-то вроде того.

– А вы говорили, что на сентиментального идиота Ги Кутарба похож не был.

– В подробности я не вдавался. Он хотел купить магазин и предложил хорошие комиссионные.

– И вы, конечно же, ничего не сказали ему о туманном прошлом магазина? И о нескольких неуместных, как вы выразились, смертях.

– Вы должны понять меня, мсье Бланшар... Комиссионные были уж больно заманчивыми.

– Я понимаю.

– И вот еще что... Даже если бы я сообщил Ги, что букинистический – не что иное, как штаб-квартира Сатаны, – даже это не остановило бы его. Ги – человек с воображением, а если уж человеку с воображением что-нибудь втемяшится в голову...

– Вы говорите о нем так, мсье Перссон... Как

будто знаете его не только как клиента.

– Нет-нет... У нас были сугубо деловые отношения. Конечно, я был в курсе, что он блестящий начинающий парфюмер. И моя жена без ума от его духов... Но разве это повод для сокращения дистанции?

– Вы назвали его... м-м... экстравагантным.

– Разве?

– Назвали.

– Возможно. Мне так показалось.

– С чего бы это вам так показалось?

– Не знаю. Просто показалось и все. Все эти его рассказы о запахах...

– И когда только он успел рассказать вам о запахах?

– О, это забавная история! Мы с Ги застряли в лифте...

– В лифте? Каком лифте?

Мы поднимались в головной офис нашей фирмы... Чтобы составить одно из дополнительных соглашений к договору – и застряли в лифте, между четвертым и пятым этажами. И промаялись в кабине что-то около двух часов.

– Вы целых два часа провели в лифте и никто не пришел к вам на помощь?

– Был вечер, к тому же наша сборная играла с ботами...

– Это все объясняет.

- Вы футбольный болельщик?
- Нет. Предпочитаю шахматы.
- Странно...
- Что – странно? Связка «полицейский – шахматы»?
- Что вы... Я к тому, что тоже предпочитаю шахматы.
- Вернемся к лифту.
- Да-да, конечно... Ги оказался приятным собеседником.
- И о чем же вы беседовали?
- О чем могут беседовать два практически незнакомых человека, оказавшиеся в клетке между этажами?
- О букинистическом магазине, который один хочет купить, а другой – продать.
- Нет. Мы говорили не об этом. Вернее, не только об этом. Знаете, о чем он спросил меня, когда стало ясно, что в ближайшее время кабина не тронется с места?
- О чем?
- Видел ли я фильм «Лифт на эшафот» с Жанной Моро.
- Почему он спросил у вас об этом?
- Обстановка была подходящая. Созвучная названию. Я имею в виду почти водевильную ситуацию с лифтом...
- Я понял. А если бы вы оказались в охваченном

пламенем здания — он спросил бы у вас, видели ли вы фильм «Ад в поднебесье»?

— Не знаю. Может быть.

— Так что вы ему ответили насчет Жанны Моро?

— Когда-то я смотрел этот фильм, со своей — тогда еще будущей — женой. Но абсолютно не помню, о чем там шла речь. Кажется, это был детектив. Мне показалось, что Ги немного расстроился, когда я не смог вспомнить сюжет.

— На этом кинематографическая тема была исчерпана?

— Почти. Он поинтересовался еще одним фильмом.

— Каким?

— Довольно необычное название, даже несколько мрачноватое. Погодите, я попытаюсь вспомнить... Я определенно видел его на какой-то афише, я подумал об этом и тогда, в лифте... Ну конечно! Старая афиша Французской Синематеки. Из того самого букинистического, бог знает сколько она там провисела... А фильм назывался «Диллинджер мертв», точно. Знакомое имя — Диллинджер. Вы не знаете, кто это?

— Кажется, был такой американский гангстер.

— Так фильм о гангстерах?

— Понятия не имею. Значит, вы трепались о кино.

— Мы не э-э...трепались о кино. Это не было похоже на треп о кино. Во всяком случае, Ги говорил

о Диллинджере как о своем личном враге. Как будто этот Диллинджер отправил на тот свет всю его семью, увел у него невесту прямо из-под венца и сломал самому Ги позвоночник напоследок.

— Что же привело мсье Кутарба в такое возбуждение? Ведь Диллинджер мертв.

— Мертв?

— Мертв. Если судить по названию... Экстравагантность мсье Кутарба именно в этом и заключалась — в личных счетах с киноперсонажем и в жонглировании фильмами?

— Нет. Разговор о фильмах занял у нас минут десять от силы.

— А все остальное время?

— Я расспрашивал Ги о его работе. Вернее, о его духах. За несколько дней до нашего знакомства моя жена приобрела «Саламанку»... Нет, «приобрела» — не совсем точное слово. Счастливо воссоединилась со своим запахом — так будет вернее. Она даже внешне изменилась...

— Помолодела лет на двадцать и стала похожа на Ким Бессинджер?

— Ваша ирония не совсем уместна, мсье Бланшар...

— Простите, не удержался. Не очень-то я доверяю всей этой рекламе гигиенических средств...

— Духи — не гигиеническое средство. А что касается моей жены — она осталась собой.

- И при этом изменилась?
- Да. Я и забыл, какой она была двадцать три года назад, когда мы с ней только познакомились. Я забыл, а благодаря этим духам – вспомнил.
- О чем?
- О том, что в молодости она любила группу «Sex Pistols», мужские рубашки с запонками и сигары. О том, что она никогда не считала, что я подражаю Трумэну Капоте. О том, что она целовалась так, что дух захватывало...
- А духи сыграли роль афродизиака?
- Странно...
- Что странно? Связка «полицейский – афродизиак»?
- Нет. Странно, что вы вообще упомянули афродизиаки. Хотя внезапно нахлынувшие воспоминания... внезапно вернувшуюся память... можно считать афродизиаком.
- Ваша жена тоже вспомнила о сигарах? И о мужских рубашках с запонками?
- Нет. Достаточно было того, что вспомнил я.
- Вы сказали ей об этом?
- Я сказал ей только, что эти духи ей идут.
- Вы сказали об этом самому Ги?
- Я был ему благодарен – вот и сказал.
- А он?
- Спросил, какие сигары предпочитала моя жена в молодости... Духи – и есть воспоминания, примерно к

этому сводилась его мысль: ничего другого найти в них невозможно.

— Интересно, что сказала бы на это ваша жена? Двадцать три года назад, когда целовалась так, что дух захватывало... Сколько ей было тогда?

— Девятнадцать.

— Вряд ли она думала о каких-то там воспоминаниях. Она ведь и тогда пользовалась духами. Или нет?

— Конечно. Ей нравился запах магнолии, немного дешевый, но убедительный.

— Немного дешевый?

— Я считал его немного дешевым, немного наивным, немного акцентированным, но именно в этом заключался его шарм. А знаете, мсье Бланшар, ведь и в «Саламанке» легко угадывалась магнолия... другая, без налета дешевизны — но все же магнолия.

— Облагороженная временем?

— Облагороженная воспоминаниями. Так что, может быть, Ги не так уж неправ?

— Ги, Ги, Ги... Все так и норовят ухватиться за палец Ги, лизнуть его в задницу...

— Вы как будто недолюбливаете его, мсье Бланшар.

— Я просто пытаюсь быть объективным. О чем еще вы говорили?

— О ловушках.

— В контексте духов?

– В контексте застрявшего лифта. Но и в контексте духов – тоже. И в контексте воспоминаний. Ги употребил еще одно слово – «капкан».

– Букинистический в этом же контексте не упоминался?

– Не припомню. Возможно.

– А сам мсье Кутарба не расспрашивал вас о его бывших владельцах?

– Нет.

– Разговор вертелся только вокруг двух дурацких фильмов, одного дурацкого запаха и вашей жены?

– И вокруг ловушек.

– Капканов?

– Да. Мы ведь застряли в лифте, не забывайте. Запах – и есть ловушка, примерно к этому сводилась его мысль, и выбраться из запаха гораздо сложнее, чем из застрявшего лифта. Но даже если ты и выберешься – не факт, что окажешься на нужном этаже.

– Вздор. До нужного этажа всегда можно дойти пешком.

– Если есть лестница. И если эта лестница куда-нибудь ведет.

– Час от часу не легче... Это чудное умозаключение принадлежит вам? Или ему?

– Ему.

– Лестницы вызывают в нем такую же ярость, как и киношный Диллинджер?

– Особой ярости по отношению к лестницам я не заметил. Настороженность – да, но отнюдь не ярость.

– Почему? Он поделился с вами своей настороженностью?

– Нет. Я просто имел возможность наблюдать ее.

– Где? В лифте?

– Ну что вы! Чуть позже, несколько дней спустя, если быть точным. Когда мы вместе с Ги осматривали букинистический.

– Зачем вы его осматривали?

– Как же – зачем? Договор был на стадии подписания – самое время взглянуть в глаза такому ценному приобретению, как магазин.

– Опишите мне ее.

– Кого?

– Эту чертову книжную лавку.

– Вы же видели ее... как вы утверждаете.

– Опишите.

– Хорошо. Два этажа, собственно магазин занимает первый этаж. Есть еще второй, с жилыми комнатами. Их три, не считая небольшой кухни, двери выходят в одну из галерей. Галереи идут по периметру всего этажа, вдоль стеллажей – их тоже можно считать продолжением магазина. В центре – холл, и к нему ведет подобие галерей... Небольшие такие мостики с перилами.

– И все?

– Все.

– По-моему, вы кое-что забыли, мсье Перссон.

– Что именно?

– Внутренний дворик. В него можно попасть, если пройдешь через подсобку первого этажа.

– А-а, вы об этом... ну какой же это внутренний дворик, помилуйте/ Так, архитектурная нелепость. Недоразумение.

В него можно попасть, если пройдешь через подсобку первого этажа. Никакими другими путями до него не добраться. Разве что спуститься сверху, со стен. Но для этого надо быть как минимум альпинистом и иметь соответствующее снаряжение. Сколько окон выходят во дворик? Учитывая все четыре стены, его окружающие...

– Откуда же мне знать?

– Вы ведь агент, мсье Перссон. И наверняка хорошо изучили все особенности продаваемого объекта.

– Мне бы и в голову не пришло назвать внутренним двориком этот каменный мешок...

– Пять на семь метров – итого еще тридцать пять квадратов к заявленным двум сотням. Не слишком ли просторно для каменного мешка, а?

– Но...

– Пара клумб. Дерево. Платан. Поправьте меня, если я ошибся.

– Не платан. Пиния.

– Вот видите. Пиния. Хорошо, что вы

разбираетесь в деревьях.

– Я не разбираюсь в деревьях, к тому же это давно засохло. А пинию признал в нем Ги.

– Какой разносторонне образованный молодой человек! Тут тебе и Диллинджер, и Жанна Моро с «Лифтом на эшафот», и пиния...

– Вспомнил!

– Что еще вы вспомнили?

– Лино Вентура. Это он играл главную мужскую роль. Главную женскую играла Жанна Моро, а главную мужскую – Лино Вентура. Моя жена как-то сказала мне... много лет назад... что в зрелые годы я буду похож: на Лино Вентуру.

– Не очень-то вы на него похожи, если честно.

– Я знаю. Я рано полысел, увы... Если уж я на кого-то и похож: – так на Мишеля Пикколи. Вы не находите, мсье Бланшар?

– Может быть. Я плохо помню Мишеля Пикколи.

– Конечно, вы человек совсем другого поколения. И у вас другие кумиры.

– У меня нет кумиров.

– Да-да, я понимаю... Вы не из тех, кто может насвистеть: «Возвращайся к нам опять, Джимми Дин, Джимми Дин»...

– Лучше вернемся к внутреннему дворику. И к мсье Кутарба, признавшему в засохшем дереве... как ее?..

– Пинию.

- Именно.
- Он расчувствовался – Ги. Когда увидел это дерево. Сказал, что оно напоминает ему детство.
- Пиния?
- Да. Что неподалеку от его дома была пиниевая роща. Он так искренне это сказал, с такой светлой грустью... Я сразу вспомнил одного своего клиента, купившего дом в Понтуазе...
- Оставим в покое Понтуаз.
- Вы не поняли, мсье Бланшар. Пиния была мертва, отсюда и грусть.
- Диллинджер мертв, пиния мертва... Это вы показали Ги внутренний дворик?
- Собственно... Я хотел провести Ги по второму этажу, мы даже поднялись на один лестничный пролет...
- И что?
- Пришлось остановиться на площадке. Мне показалось, что в какой-то момент Ги раздумал подниматься.
- Сказалось, как вы изволили выразиться, его настороженное отношение к лестницам?
- Возможно. Во всяком случае, он сосредоточился на картине в простенке. Несколько минут ее разглядывал.
- Что за картина?
- Вы должны были ее заметить, если были в букинистическом. Какой-то средневековый сюжет

под стеклом. Мне показалось, что Ги уже знаком с ним.

— Почему вам так показалось, мсье Перссон?

— Он знал, кто именно изображен на картине. Святой Мартин, не самое распространенное имя святого, не так ли? Он знал и название сюжета — «Милосердие святого Мартина».

— Ну и что?

— Ничего особенного, конечно. Это всего лишь вопрос эрудиции. Вот только... Картина осталась от прошлых хозяев, так же, как и афиша Французской Синематеки. И стекло на ней было покрыто толстым слоем пыли. Для того чтобы разглядеть ее, мне пришлось погубить свой собственный носовой платок. Я протер им стекло.

— Ну и что?

— Ничего особенного, конечно. Но Ги сказал мне о Мартине еще до того, как я вытащил носовой платок. Он не мог видеть картины, он мог только вспомнить ее.

— И вас это не удивило?

— На долю секунды, не более. Ги ведь не скрывал, что бывал здесь. Возможно, даже в детстве...

— Смею вас уверить, мсье Перссон, детство Ги Кутарба прошло вдалеке не только от Парижа, но и от Франции.

— Значит, он посетил букинистический позже.

— Несомненно, позже. И не исключено, что именно

в то самое время, когда от магазина остались одни воспоминания. Вопрос в другом – как он туда попал.

– Спросите об этом у него самого.

– Обязательно спрошу. Как вы думаете, почему засохла пиния во внутреннем дворике?

Ги объяснил это отсутствием солнечного света. Пиния ведь солнцелюбивое дерево, а света там явно не хватало. Каменный мешок и есть, мсье Бланшар.

– Так сколько окон туда выходят?

– Во внутренний дворик?

– Да.

– Честно говоря, я не помню. Кажется, одно-единственное: на противоположной, северной стене, на уровне примерно третьего этажа.

– Одно-единственное?

– Еще одно окно – на восточной – заложено кирпичами. Старая кладка.

– Вот видите! А говорите – не помните. Уединенное местечко, не правда ли?

– К чему вы клоните, мсье Бланшар?

– Ни к чему. Вы упомянули две клумбы.

– Это вы упомянули две клумбы.

– Разве?

– Вы.

– В любом случае, клумбам повезло больше, чем засохшей пинии. Там ведь что-то растет, несмотря на недостаток солнечного света?

– Папоротники. Ги признал в растениях

папоротники.

– Они тоже напомнили ему детство?

– Об этом не было сказано ни слова. Боюсь, что папоротники, в отличие от пинии, неприятно его удивили.

– Насторожили, так же, как и лестница на второй этаж?

– Неприятно удивили.

– Почему?

– Мне так показалось.

– Почему?

– Выражения «Вот черт!» вам будет достаточно?

– Если оно носит негативную окраску.

– Оно носило негативную окраску. Ги довольно долго рассматривал папоротники.

– Почему?

– Он кое-что там нашел.

– Что именно? Или он не поделился с вами своим открытием?

– Папоротники кишели улитками.

– Какими улитками?

– Самыми обыкновенными садовыми улитками.

– Так это улитки неприятно удивили мсье Кутарба? Улитки на папоротниках, а не сами папоротники?

– Теперь я склонен думать, что именно улитки. Да, на лице Ги в тот момент не было написано ничего, кроме брезгливости. Как будто вместо улиток он

увидел там раздавленного таракана. Я даже пожалел, что мы вообще вышли в этот проклятый внутренний дворик.

— Это была инициатива Ги — выйти во дворик? Или ваша собственная?

— Я видел, что ему не очень-то хочется подниматься на второй этаж. Потому и предложил пройтись по первому. Мы заглянули в подсобку, откуда есть проход во дворик. Так мы и оказались там.

— Надо полагать, мсье Кутарба недолго наслаждался видом садовых улиток?

— Очень недолго. Он сразу же предложил мне подняться на второй этаж.

— Ты смотри! Что же его так подстегнуло?

— Второй этаж необходимо было осмотреть.

— Наплевав на лестницу?

— Думаю, к тому времени Ги уже справился с собой.

— Он остался доволен осмотром?

Да, если это можно назвать осмотром. Мы провели на втором этаже не больше пяти минут, он даже в комнаты заходить не стал. Взглянул на них с порога, пощупал корешки книг. Книги остались от прежних хозяев, ни одного пустого стеллажа...

— И?

— На этом визит на второй этаж закончился. Мы спустились вниз. Правда, он еще на минуту

задержался у картины.

— Зачем?

— Очевидно, она ему нравилась. Ги еще спросил у меня, как я нахожу святого Мартина.

— А вы?

— Сказал, что нахожу его замечательным. И посоветовал Ги не снимать картину. Так и оставить ее в простенке.

— Он внял совету?

— Послушайте, мсье Бланшар. Судя по всему, вы были в этом букинистическом гораздо позже меня. Совсем недавно, как вы утверждаете. Он внял совету?

— Да. После заключения сделки вы не виделись?

— С какой стати мы должны были видеться?

— Мне показалось, что за время скитаний по лифтам и букинистическим у вас сложились почти дружеские отношения.

— Вам показалось.

— И тем не менее он снова обратился к вам? Я имею в виду покупку дома на улице Музайя.

— Это произошло много позже. Где-то спустя полгода. Ги позвонил мне и сказал, что хотел бы поселиться в каком-нибудь тихом гнездышке подальше от центра. У меня был один симпатичнейший вариант на Музайя. Его я и предложил. Надеюсь, вы не будете утомлять меня расспросами о планировке еще и этого дома?

— Не буду. Дом на Музайя меня не интересует.

- Вас интересует букинистический.
- Вы даже не можете представить себе – насколько.
- И представлять не хочу. Всего лишь один вопрос, мсье Бланшар...
- Пожалуйста.
- Почему вы расспрашиваете меня о Ги? Он... совершил что-то противоправное?
- Думаю, ему самое время помолиться святому Мартину, мсье Перссон...

КАССИС⁵³

...Свободен.

Я свободен, так же как и Линн.

Я все еще не могу поверить в это. Стоя перед дверями букинистического (Линн только что захлопнула их за мной) я не могу поверить.

Свободен.

Теперь мне остается лишь узнать, который час, чтобы почувствовать себя свободным окончательно. Конечно, можно и без всяких часов определить: сейчас никак не меньше полудня, улица залита солнцем и забита ма-4 шинами, тени жестки и укорочены, желтый «Фольксваген» Линн припаркован тут же, как давно я его не видел!

Сейчас никак не меньше полудня или около того; но для меня, прошедшего ночь в странно расслабленном, разжиженном временном промежутке, совершенно необходима точность: одиннадцать часов пятьдесят восемь минут, двенадцать часов четырнадцать минут, неважно. Важны минуты и секунды, такие же жесткие, как тени на тротуаре.

В ближайшем бистро я получаю исчерпывающий ответ:

12:07.

Получаю — и снова возвращаюсь к

букинистическому.

Если с годом и месяцем все будет в порядке – можно считать, я легко отделался. И все произошедшее ночью – дурной сон, не более.

Я стою спиной к табличке «FERME»⁵⁴. Линн решила взять тайм-аут, что ж, я могу ее понять. Вопрос лишь в том, как скоро эту табличку сменит другая. И кого теперь будет ждать Линн: нового Эрве или нового Энрике.

«Ferme» – для Крота, «Ouvert» – для испанца. «Fermé Ouvert», выбор не так уж велик, но это единственное, что может позволить себе Линн, букинистка-неудачница, не сумевшая удержать рядом с собой ни одного мужчину. Все ее любовные истории заканчивались так же, как любовные истории других людей – одиночеством. Или ожиданием другой истории и другого одиночества, не одинок только я, у меня есть Анук.

Анук, моя девочка.

От милосердия святого Мартина Линн не досталось ровным счетом ничего, дырка в стене, которую она вынуждена прикрывать плохой копией плохой картины. И почему именно святой Мартин, и кто он, этот святой Мартин?.. И кому на самом деле покровительствовал святой Мартин – Линн? джазмену? им обоим? дырке в стене?.. Об этом может знать разве что какой-нибудь чинуша из папской канцелярии. Или секретарша Мари-Кристин –

Николь, выпускница католического колледжа в Амьене и тайная эротоманка. Но никакой надежды на Николь нет, пантеон ее святых больше напоминает съемочную площадку порнофильма, ангелы и архангелы рассортированы в нем исходя из размеров члена, Петр и Павел застыли перед райскими воротами в позе двух популярных интернет-педиков Джо и Джошуа, а ссылки на Библию с успехом заменяют ссылки на порносайт «BoysHotCocks.com».

Николь мне не поможет.

Улица тоже не поможет мне помочь, я даже не знаю, куда идти сейчас – влево или вправо. Самым разумным было бы отправиться домой и хорошенько выспаться, вот только куда идти сейчас – влево или вправо?.. Тротуар слева от меня усыпан вишневыми косточками, тротуар справа усеян косточками от маслин, все это мало напоминает Париж, который я знаю, единственное, что я знаю точно, – этой улице нельзя доверять. На этой улице нельзя расслабляться.

Но для начала нужно попытаться хотя бы выбраться из нее, влево или вправо?..

Пока я раздумываю, левый край улицы (его граница выложена вишневыми косточками) резко уходит вниз, а потом снова задирается вверх. Теперь он устремлен к неожиданно открывшемуся горизонту под углом в сорок пять градусов, а в просвете между домами видно широкое устье реки. Нельзя сказать, что ландшафт так уж незнаком мне, я уже видел его

однажды – Лиссабон или Lisboa, как предпочитает называть свою столицу фотограф Гаэтано Брага; вот только каким образом в самом центре Парижа могли оказаться лиссабонские холмы?.. Холмы и вишневые косточки, вот и все мои воспоминания о Лиссабоне, о Lisboa; вишни, плавающие на дне бутылок с жиньей, с ginja-ликером, он единственный развязал язык Мари-Кристин, он единственный заставил ее произнести «Я люблю тебя». Под ногами Мари-Кристин хрустели вишневые косточки, мы пили жинью прямо из горла у маленького кафе «Ginginha-Rubi», ни до ни после Lisboa она не говорила мне «Я люблю тебя», идти влево – все равно что блуждать в узких коридорах памяти, нужно быть честным хотя бы с собой – мне никогда не нужна была любовь Мари-Кристин.

Любовь Анук – вот в чем я по-настоящему нуждаюсь.

Я слишком занят своими мыслями и потому замечаю похожий на трамвайчик фуникулер в самый последний момент. Его я тоже видел в Lisboa. В Lisboa, а никак не в Париже, я помню даже невысокую калитку вместо дверей, высший шик – запрыгнуть в фуникулер на ходу, не придерживая шляпы (лиссабонская шляпа – рассеянный подарок Мари-Кристин – была благополучно забыта мною в гостиничном номере). Я не собираюсь прыгать в фуникулер, его не должно быть здесь вообще, в конце концов, это Париж, а не Lisboa.

Я не собираюсь прыгать в фуникулер.

И – прыгаю.

Полуящерицы-полусаламандры заставляют меня сделать это. Картина, которую я больше не надеялся увидеть, прижилась на боку вагончика, она рекламирует какую-то выставку; разглядеть, какую именно, – не представляется возможным, я уже внутри, на задней площадке. Шаг рискованный, что, если я увижу здесь Мари-Кристин периода ее лиссабонского «Я люблю тебя», – но ящерицы не оставляют мне другого выбора.

Мари-Кристин среди пассажиров нет, но не это удручает меня.

Анук.

Анук – она одна могла заставить Париж стать Lisboa, хотя бы на время; 12:07 плюс-минус десять минут, плюс-минус целая вечность. Она одна могла заставить Линн стать молодой, хотя бы на время. Она одна могла бросить вишневые косточки мне под ноги, а устье реки – в самый конец улицы. Маленький фуникулер с колесами, крутящимися в ритме босановы, маленький лиссабонский фуникулер в центре Парижа – единственное место, где мы могли бы встретиться, но я, как всегда, опаздываю на не назначенное свидание.

Проклятье, зачем тогда ящерицы на боку вагончика?..

Спустя несколько минут, когда фуникулер

равняется с очередным узким (и все еще незапятнанно-португальским) ущельем бокового проулка, я вижу край вывески и наконец-то понимаю – зачем.

«LAMARTIN OPERA»

«Ламартин Опера», буквы отсвечивают на солнце, как спины высунувшихся из воды касаток, само название тоже имеет отношение к касаткам, хотя и весьма отдаленное. К тому же я уже где-то слышал его, и совсем недавно, но не от Линн. «Ламартин Опера» странным образом монтируется и с американскими ламантинами⁵⁵ и – почему-то – с цифрой двенадцать, ну да: «Я живу в отеле „Ламартин Опера“. Номер двенадцать», карманная японка с Бато Муш, конечно же.

Спрыгнув с фуникулера, я вспоминаю имя ее подруги – Омацу. Омацу, легко вписывающаяся в ненавистный мне формат японских анимэ, для полного сходства ей не хватает только коротенькой школьной юбки и галстука, отличная униформа для cartoon-убийств. Я видел, как это происходит в японских мультяхах, ну кто бы еще додумался до рисованных страшилок: наивные пистолеты, наивные пальцы на спусковом крючке, наивные лужи крови – это и есть Омацу в мультипликационной интерпретации. Она никогда не стала бы носить подслеповатые, нелепо деформированные модели Реи

Кавакубо⁵⁶, вариант «Comme de Garçons»⁵⁷ – не для нее.

Омацу – подруга О-Сими, карманной японки с Бато Муш, конечно же.

О-Сими.

Она куда интереснее Омацу и вполне могла бы понравиться Анук. Все еще стоя на углу, наискосок от входа в «Ламартин Опера», я оглядываюсь на фуникулер – и не вижу его. Как не вижу устья реки в конце улицы и спускающихся с холма домов, Париж недолго пробыл Лиссабоном, он снова принял знакомые очертания, следовательно – «Ламартин Опера» и есть конечная цель. Я могу найти здесь японку, но найду ли я Анук?..

«Ламартин Опера» оказывается самой обыкновенной дырой эконо-класса: приглушенное освещение, пара кресел в холле, вытертый ковер и написанный от руки плакат рядом с регистрационной стойкой: «La direction previent que tous les objets de valeur doivent etre deposees au bureau de reception»⁵⁸, ненавижу подобные халупы с восьмиметровыми одноместными номерами и отсутствием ванной.

Холл пуст.

Лишь за стойкой позевывает портье – молодой человек с болезненно-бледным лицом и зачесанными назад темно-русыми волосами. В анемичной физиономии парня есть что-то неуловимо

отталкивающее, во всяком случае, отдать ценные вещи ему на хранение я не рискнул бы ни при каких обстоятельствах. Легко представить себе, чем занимаются подобные типы в свободное от регистрационной стойки время: компьютерное мочиловое первого уровня сложности, бесконечное пиво и пейнтбол по выходным.

— Анук Кутарба. Мне нужна Анук Кутарба, — говорю я парню, ни на что, впрочем, не надеясь.

Портье нехотя кивает и, не переставая зевать, лезет в регистрационную книгу.

— Нет. Анук Кутарба у нас не останавливалась, — изрекает он.

Сволочь.

Лицо парня освещает такая же бледная, как и его физиономия, улыбка. Ах ты, сволочь! Ты, похоже, рад, что я не нашел ту, которую искал. Подобную радость тебе может доставить лишь переход на второй уровень в какой-нибудь навороченной стрелялке, снов ты тоже не видишь, никаких, даже кошмары избегают тебя. Боятся, как черт ладана, сволочь.

— Что-нибудь еще, мсье?

— Да, — я не намерен сдаваться, поездка на лиссабонском фуникулере должна завершиться хоть чем-нибудь.

— Слушаю.

— Японка. Японка из двенадцатого номера. Ее

зовут О-Сими. Мадемуазель О-Сими.

К лицу парня неожиданно приливает кровь, даже волосы его начинают отсвечивать красным, я явственно вижу заляпанные кармином пряди.

— Она ушла. — Парень смотрит на меня почти с ненавистью, если бы О-Сими одолжила ему провезенный контрабандой самурайский меч, он разрубил бы меня пополам. — Она ушла. Ее нет.

— Вы уверены?

— Ключ на месте, — на стойку с ключами он даже не смотрит.

— Вы уверены?

Мне нравится злить его. Тайного воздыхателя О-Сими, любителя суши, фильмов Китано в долбистерео и ролевой игры-симулятора «Атака на Пёрл-Харбор», где из всех предлагаемых персонажей он всегда выбирает японского летчика-камикадзе. Мне нравится злить его. И еще — насчет пейнтбола по выходным я поторопился. Такого вряд ли увлечет бездумное беганье по полигону и пальба шариками в закамуфлированные торсы противников. Черная майка не первой свежести, с белесыми разводами под мышками выглядит почти концептуально, особенно в сочетании с тремя вытатуированными на левом плече иероглифами, тоже мне, самурай хренов. Не пейнтбол по выходным — брошюрки о все тех же самураях — под подушкой, во все остальные дни недели. Что-то вроде «Харакири: притворись его знатоком». При его

феерической работе цепного пса у стойки он накопит на билет до Токио года этак через полтора, учитывая расходы на пансион с одноразовым питанием и посещение священной горы Фудзи. Трех дней в пансионе и одного посещения Фудзи окажется вполне достаточно, чтобы понять: Япония – совсем не такая, какой ее описывают в брошюрках, а Пять Запретов, Пять Постоянств и Шесть Гениев никого уже не волнуют. И всю оставшуюся жизнь этот потный сосунок будет проклинять Страну восходящего солнца, не оправдавшую его допотопно-самурайские ожидания.... Господи, как же мне нравится злить его!..

- ...Ключ на месте.
- Вы уверены?
- Я уверен.
- Можно оставить ей записку?
- Да, конечно, – после секундного замешательства скромный портье берет верх над летчиком-камикадзе. – Оставляйте.

В мои планы вовсе не входило оставлять записку О-Сими; час, проведенный на речном кораблике, слишком неубедительный повод для знакомства, но уж очень мне не нравится тип за стойкой.

- У вас не будет бумаги? – Я уверен, что никакой бумаги портье мне не даст.

- Да, конечно. Ручка вам нужна?
- Да. Спасибо.

Под тяжелым взглядом портье я наскоро набрасываю записку, складываю ее вчетверо и оставляю на стойке. Оставаться в «Ламартин Опера» дальше бессмысленно. Но эти иероглифы на плече сосунка-портье... Мне не нужно даже притворяться их знатоком, чтобы понять красно-фиолетовый торжествующий смысл: «Ну что, выкусил?..»

– Скажите, какое сегодня число?

– Сегодня? – вопрос застает портье врасплох. «Пятый день пятого месяца по лунному календарю» извиваются иероглифы, и парню стоит большого труда держать их в узде. – С утра было пятнадцатое мая. А что?

– Ясно. Еще раз спасибо. Я могу подождать мадемуазель О-Сими? – неожиданно говорю я.

– Можете. Только, боюсь, вам придется ждать до вечера. Раньше шести-семи она не появится.

– Вы, я смотрю, хорошо осведомлены...

Моя невинная реплика снова заставляет портье покраснеть, и этот уход в глухое, без всяких полутонов, красное что-то неуловимо напоминает мне. Что-то, что совсем недавно заставило меня содрогнуться, а мое собственное сердце – едва не выскочить из грудной клетки. Наваждение длится несколько секунд, не больше: ровно столько понадобилось портье, чтобы в очередной раз справиться с собой.

– Я не осведомлен... Просто мадемуазель О-Сими

живет здесь уже несколько дней...

– Значит, она будет не раньше шести?

– Скорее всего, – парень переводит дух.

– А ресторан у вас есть?

– Нет.

Губы портье плотно сжимаются – этот ояпонившийся призрак оперы посчитал вопрос личным оскорблением, хотя патриотом ламартиновой богадельни не выглядит. Sans restaurant⁵⁹, sans repas⁶⁰ – дыра дырой, кто бы сомневался. Но только здесь могут предаваться ленивой созерцательности такие вот хреновы самураи, это вполне вписывается в их картину мира.

– А где я могу выпить чашку кофе? – по-прежнему не унимаюсь я.

«У себя дома, мудак», – хихикают иероглифы. И как только портье с ними справляется?..

– Здесь рядом есть кафе. Через два дома по четной стороне. «Pres de la rainure».

«Pres de la rainure». И парень за стойкой, и его иероглифы, и О-Сими моментально вылетают у меня из головы. Впрочем, «вылетают» – не совсем точное слово: отталкивая друг друга локтями, они просачиваются сквозь шрам на затылке, скатываются вниз по желобу из нашего с Анук детства. По тому самому желобу у бойни, до краев заполненному кровью животных и запахом гибискуса.

«Pres de la rainure» – и есть желоб. «У желоба»,

если быть совсем точным, Анук не могла не оставить мне знак. У желоба — там я и буду ее ждать.

— Спасибо, — говорю я парню, ненужная трата драгоценных секунд, от Анук меня отделяют всего лишь два дома по четной стороне.

— Не за что, — бросает он мне в спину. И уже у самой двери я слышу, как он еще раз окликает меня. — Подождите, эй, мсье...

Да пошел ты, сволочь!..

Улица у «Ламартин Опера» пустынна, если не считать высокого араба, идущего по противоположной стороне мне навстречу. Лица его я не вижу, но это определенно араб: белый бурнус, развевающиеся белые одежды, темные, почти черные щиколотки. От араба ко мне движется первая волна удушающего тепла, она проходит сквозь меня, едва не сбив с ног, забивает рот песчинками, а голову — очередным прозрением: это снова не Париж, вот черт.

Это не Париж, но и не Lisboa, оглянувшись на только что покинутую гостиницу, я вижу, что изменилась и она. Высоких витринных стекол нет и в помине, лишь глухая красно-оранжевая стена с бойницами и одинокий тент над входом. Красно-оранжевый (с незначительными вариациями) растянулся метров на пятьсот — двух- и трехэтажные постройки похожи друг на друга, лишь тент над входом в гостиницу придает улице некоторое разнообразие. А в самом конце, почти у кромки

низкого горизонта, красно-оранжевый переходит в насыщенный синий, я и понятия не имел, что небо может быть таким синим. Интересно, имел ли об этом понятие lieutenant, алжирское сумасшествие Линн?

Я никогда не был в Алжире, тогда откуда песок на зубах?

, Или это – воспоминание о песке, и не мое собственное, как лиссабонский фуникулер, а лейтенантское?.. Если я все-таки доберусь до «Pres de la rainure», есть смысл попросить у хозяина зубочистки.

Араб равняется со мной и останавливается. На фоне красно-оранжевой стены, двух бойниц и кованого фонаря между ними он смотрится довольно эффектно, это не может быть воспоминанием lieutenant, единственное его воспоминание заключено в фотографии казненных феллахов. Это – не воспоминание, это – представление, если бы на плече портье из «Ламартин Опера» были бы не иероглифы, а арабская вязь, я бы точно мог сказать: это представление потнючего сосунка о стране, в которой он никогда не был и вряд ли когда-нибудь будет.

Араб смотрит на меня с доброжелательным интересом.

– Мне нужно кафе, – кричу я ему через улицу. – Кафе «У желоба».

– Это здесь, – араб машет рукой, указывая направление. – Следующий дом.

Все дома (если можно назвать домами куски однородной красно-оранжевой стены) похожи друг на друга.

— Вывеска, — арабу очень хочется помочь мне. — Видите вывеску?

Поначалу никакой вывески я не вижу, песок на зубах не перестает скрипеть, белый бурнус моего неожиданного проводника дрожит и покачивается в раскаленном воздухе, да и сама улица качается вместе с ним.

— Идите сюда!..

Lieutenant, наученный горьким опытом североафриканских пустынь, уж точно бы не подошел, но у меня нет оснований не верить добродушному арабу. Раз уж я так легко принял на веру все остальное. Перейти на другую сторону улицы оказывается труднее. Ноги мои вязнут в песке, он жжет подошвы даже сквозь ботинки, жаль, что у меня нет бурнуса и белоснежных, не запятнанных джихадом одеяний. Анук умерла бы со смеху, увидев меня в подобном прикиде. Мысль об Анук придает мне силы, и я оказываюсь рядом с арабом даже раньше, чем предполагал. Единственное, чего я не мог предположить, — араб знаком мне. Бурнус, скрывающий пол-лица, не может меня обмануть: это — Али, хозяин маленькой лавчонки в Бельвиле (кальяны, специи, арабская чеканка). Тот самый Али, руки которого покрыты странной татуировкой, не

имеющей ничего общего с опереточными иероглифами портье.

– Али? – спрашиваю я араба.

– Нет, сахиб. Я не Али.

«Как могут звать испанца? Или Педро, или Энрике, или Хуан», – говорила Линн. Как могут звать араба? Или Али, или Хасан, или Мустафа. Не исключено, что у алжирского приятеля Линн другое мнение на этот счет.

– Я не Али. Меня зовут Акрам. Но у меня есть брат – Али.

– Али, владелец лавки. Кальяны, чеканка и все такое...

Акрам, брат Али, на секунду задумывается.

– Али, владелец лавки. С татуировкой на руках. Вот здесь, – я невольно касаюсь пальцами пальцев араба.

Акрам, брат Али, смеется и протягивает мне ладони, покрытые татуировкой. Раскаленный воздух по-прежнему дрожит, от рук Акрама поднимаются вверх струйки песка, закрученные в маленькие тугие торнадо. Смуглые колонны пальцев испещрены перетекающими друг в друга буквами и символами, возможно – это изречения из Корана, возможно – что-то иное...

– Что это, Акрам? Что это означает?

– Это было всегда, сахиб.

– Они изменяются...

- Это было всегда, сахиб.
- Что здесь написано?
- Не знаю.
- А Али знает?
- Нет. Мы братья. Если бы знал он – знал и я.
- А кто знает?
- Кто написал.

Исчерпывающий ответ. Вряд ли я добьюсь от брата Али большего. Рисунок на ладонях Акрама, на его пальцах постоянно меняется, ничего подобного не происходило с ладонями Али, я только принимал на веру его рассказы о меняющемся рисунке. Но теперь я вижу и сам: рисунок меняется, место символов и букв занимают не совсем ясные, не совсем четкие контуры каких-то фигур, я с трудом успеваю различить птицу и – кажется – морскую раковину, но, может, это вовсе и не раковина... Может, это не раковина, а часть растительного орнамента, которая снова переходит в буквы и символы, и не всегда арабские. Разглядеть буквы детальнее не удастся из-за толстого слоя песка, торнадо сменили барханы, они покрывают теперь распахнутые ладони брата Али.

- Вы искали кафе «У желоба», сахиб. Так?
- Да.
- Это здесь.

Теперь и я вижу вывеску, очень европейскую, очень парижскую; два красных тента «Coca-Cola» по ее краям, вылизанные камни мостовой, несколько

пластмассовых столиков и стульев. И несколько деревьев с аккуратно постриженными ветками.

— Спасибо, Акрам. Передавайте привет брату. Я как-нибудь зайду к нему...

— Вы тоже передавайте ему привет. Если как-нибудь зайдете.

В спину мне все еще дышит сухой горячий ветер (хамсин? хабуб? харматан?..), но песок на зубах уже не скрипит. Красно-оранжевая стена из прилепленных друг к другу глинобитных построек тоже исчезла, растворилась в припаркованных «Рено», «Пежо» и «Ситроенах». А стеклянные двери кафе «Pres de la gainure» и вовсе примиряют меня с действительностью.

Несколько секунд я стою на пороге, оглядывая внутренности кафе: трое посетителей у стойки, еще человек пять-шесть — за столиками; хозяин кафе — колоритный толстяк с обвисшими бретонскими усами — разговаривает по телефону и отчаянно жестикулирует.

Анук нигде не видно, но шрам на затылке не может обмануть меня, он ворочается и поскуливает как пес, лишившийся хозяина. Анук нет, и мне остается только ждать. Стараясь не обращать внимания на жжение в затылке, я заказываю у бретонца чашку кофе и стакан воды и устраиваюсь за ближайшим пустым столиком.

Трое из посетителей — явно туристы, явно

скандинавы, то ли шведы, то ли датчане, два юноши и девушка в униформе, напоминающей бойскаутскую: зеленые шорты по колено и рубашки цвета хаки. И шорты, и рубашки легко спутать, особенно по утрам, вылезая из общей для всех троих постели, девушка всегда просыпается последней, в то самое время, когда оба парня синхронно бреются в ванной, заглядывая в одно и то же зеркало. Сходство с бойскаутами увеличивает налипшая на ботинки земля, и где они только нашли ее в застегнутом на каменные пуговицы Париже? Наверняка шлялись по газонам в Ля Вилетт, если что-то и погубит скандинавов, так это страсть к ничем не замутненной бесхитростной экологичности, на ботинки налипла не только земля, но стебли травы. Все трое, путаясь в руках друг друга, заказывают то же, что и я: кофе и стакан минеральной воды. Девушка отходит от стойки первой и на мгновение останавливается возле моего столика. Выцветшие брови, веснушчатое лицо, бесстыдно вздернутый подбородок, легкая снисходительность во взгляде — именно такая снисходительность проклевывается после оголтелого секса втроем да еще с навороченным электрическим дилдо на подхвате.

— Красавчик, — бросает мне девушка. Отсоси у дохлого козла, крошка.

— У вас свободно, красавчик?

— Я жду человека.

– Человека или девушку?

– Девушку.

– Подружку, да?

– Да, – вдаваться в подробности мне не хочется.

– Так я и поняла. – Неизвестно, кого девушка провоцирует больше – меня или своих великовозрастных бойскаутов. – Давайте ждать вместе.

– Не думаю, что это хорошая идея.

Мой невесть откуда выплывший, вялый, через пень-колоду, английский выглядит не очень убедительно, во всяком случае, для юной и напористой секси. Она садится напротив, широко расставив ноги и положив локти на стол.

– Я здесь с друзьями, – язык девушки без видимых на то оснований облизывает мгновенно вспухшие губы; со словом «друзья» это никак не сочетается.

– Рад за вас.

– Тот, что повыше – Олаф. Тот, что поплотнее – Харальд.

Никакой особой разницы между обоими спутниками девушки я не вижу.

– Они орнитологи. Приехали на семинар.

– Вы тоже орнитолог?

– Нет, – девушка окунает палец (тоже слегка испачканный землей) в кофе и задумчиво болтает в нем. – Я не орнитолог. Я продавщица. Продаю моющие средства.

Двух орнитологов и продавщицу моющих средств может связать только секс, ничего больше. Орнитологи не покупают стиральные порошки, продавщицы не окольцовывают птиц. Интересно, где они познакомились? У продавщицы захандрила любимая пеночка, и она набрала номер первой попавшейся ветеринарной клиники? Или к ней в магазин случайно залетел мигрирующий в Нигерию дрозд-рябинник, и она набрала номер первой попавшейся ветеринарной клиники?.. В любом случае в их общей для всех троих постели всегда найдется место и для выпавших птичьих перьев, и для отклеившихся ценников.

– Что вы читаете? – спрашивает у меня девушка.

– Читаю?

– Это ведь ваша книга?

Только теперь я замечаю книгу, лежащую на краешке стола, почему я не обратил на нее внимания раньше? Блеклая, в разводах обложка, обтрепавшиеся уголки; для того чтобы прочесть название, книгу необходимо перевернуть. Кому-нибудь другому – продавщице моющих средств, двум ее орнитологам, бретонцу-хозяину, дрозду-рябиннику, мигрирующему в Нигерию, – кому-нибудь другому, но не мне.

Не мне.

Я знаю эту книгу, я помню это название наизусть.

Книга из рюкзака Анук, с заставленной цветочными горшками веранды, еще в детстве я

вызубрил — «Ключ к герметической философии». Если открыть книгу ровно посередине — сразу же наткнешься на цветок гибискуса...

— Это ведь ваша книга?

— Да. Моя.

— Как она называется?

— «Ключ... Ключ к герметической философии», — я почти не слышу собственного голоса.

— И как? Интересно?..

Ровно посередине. Я открываю книгу ровно посередине. Но вместо цветка гибискуса нахожу между страниц визитку. Это не визитка Ронни Бэрда, которую я выудил из рюкзака Анук. Надпись на плотном куске картона гласит:

MONSTER MELODIES

9, ru de Dechargeurs

01 40 28 09 39

«Monster Melodies». Я знаю этот магазин в самом центре Парижа, только там еще можно откопать раритетные записи Чарли Паркера и афиши с Фредом Астером и Джинджер Роджерс. «Беззаботный», «Цилиндр», «Время свинга» — Фред всегда добивается Джинджер в последней трети фильма, «запомни, бэби, ты стараешься так на свою беду», сестра Фреда Адель как в воду глядела. Фред всегда добивается Джинджер, что еще ему остается, если Адель ушла от него?.. В шести картинах он был танцовщиком, в двух — музыкантом и лишь однажды — фокусником, и

всегда добивался Джинджер. С Анук этот номер бы не прошел.

— ...Я спрашиваю, интересная книга?..

На обратной стороне визитки тоже что-то написано. «Les pins, ma fille, sont couverts d'aiguilles».

«Сосны, моя девочка, покрыты иголками».

Моя девочка.

Моя. Девочка.

К черту сосны, к черту иголки, Анук — моя девочка. Только моя. Представить рядом с ней кого-нибудь еще, кого-нибудь, кто мог бы сказать ей «моя девочка» — невозможно. Но это «невозможно» относится и ко мне, мне никогда не добиться Анук, это только Фред всегда добивается Джинджер. А Анук не нужна ничья верность, а предательства она и вовсе счастливо не заметит.

— ...Эй, красавчик...

Продавщица моющих средств никак не отстанет, должно быть, я действую на нее, как шест на стриптизерку, на ком же еще без ущерба для здоровья можно продемонстрировать свою бьющую через край сексуальность. Таковую ни одним стиральным порошком, ни одним гелем для душа не смоешь.

— ...Вы что-то погрустнели, красавчик. Подружка опаздывает?

— Она никогда не опаздывает.

Это сущая правда. Анук никогда не опаздывает, потому что никуда не торопится. Это я должен

поторопиться. Два орнитолога, нахохлившись, сидят за соседним столом; два щелкающих клювом орнитолога, окольцованные простой продавщицей. И куда только смотрят руководители их семинара?

— Мы тебя ждем, — наконец не выдерживает один из них. Тот, что повыше и поплотнее. Или Олаф, или Харальд.

— Сейчас, — продавщица в зеленых бойскаутских шортах даже не смотрит в их сторону.

— Сколько можно!.. Мы тебя ждем, Линн!..

...Линн была бы оскорблена.

Одним фактом существования другой Линн, продавщицы моющих средств. Вместо Фриша и Дюрренматта — десятипроцентные скидки на все товары к Рождеству и участие в розыгрыше стиральной машины. Линн была бы оскорблена. Вместо испанца, алжирца и парня, приручившего бумажных гепардов Джой Адамсон, — два чахлых орнитолога.

Линн была бы оскорблена.

Афиш с Фредом Астером и Джинджер Роджерс временно нет в продаже.

Из новых поступлений:

COLDPLAY – PARACHUTES

STEELY DAN – EVERYTHING MUST GO

DE-PHAZZ – GODSDOG

JONI MITCHELL – BOTH SIDE NOW
BUDDY GUY – A MAN AND THE BLUES

Линн предпочла бы «Steely Dan», не факт, что ей так уж нравится Дональд Фейган, но она бы предпочла «Steely Dan». Если бы Линн и Дональд Фейган не разминулись во времени, как Анук и Диллинджер; если бы они не разминулись в пространстве, как Анук и я. Дональд Фейган вовсе не герой романа Линн, но он наверняка пришелся бы по вкусу Эрве или Энрике, если бы они не умерли. А Линн всегда будет следовать вкусам своих возлюбленных, даже мертвых. Только так их можно удержать – даже мертвых.

Неважно, что сама Линн без ума от Джонни Митчелл, такой же стареющей блондинки, как и она сама. У Джонни есть все то, что так близко Линн, – сигарета в пальцах, одинокие вечера в баре, «ответь мне, моя любовь» в сопровождении симфонического оркестра. Никаких особых экспериментов со звуком, любая песня Джонни – саундтрек к майской поездке Линн в Сан-Тропе, яхты и набережные – самые консервативные вещи на свете.

Та, другая, Линн плевать хотела на вкусы своих любовников, она заставляет их слушать совсем другую музыку, что-то очень облегченное, такое же облегченное, как и отношение «другой Линн» к последней модели вибратора. Музыкальные предпочтения «другой Линн» тоже фигурируют в

новых поступлениях:

PATRICIA KAAS – PIANO BAR

KENNY G – INSTRUMENTAL COLLECTION

SHAKATAK – SMOOTH SOLOS

PINK – CAN'T TAKE ME HOME

MORCHEEBA – FRAGMENTS OF FREEDOM

Избавилась ли Линн от цветочных трупов? Для того чтобы собрать их, понадобится не один мешок для мусора. Скорее всего – избавилась, вновь обретенной свободой хочется воспользоваться немедленно. Я засовываю диск в музыкальный центр, пусть будет Джонни Митчелл – «Both Side Now», я немного скучаю по Линн, кто бы мог подумать. По Линн-чудачке, по Линн-избавительнице, по Линн – рубиновому сердечку; конечно, ее возлюбленные называли Линн совсем по-другому, но Линн – рубиновое сердечко – тоже неплохо.

Если бы я был Эрве или Энрике – я бы звал ее именно так.

Время звучания диска – 51 мин. 29 сек. Теперь я знаю о Линн почти все, для этого понадобилась пятьдесят одна минута и двадцать девять секунд. История жизни Линн – с мужчинами и с самой собой в отсутствие мужчин – разбита на главы, их совсем нетрудно подсчитать:

«Comes Love» – 4:28;

«Sometimes I'm Happy» – 3:58;

«Don't Worry About Me» – 3:48;

«I Wish I Were In Love Again» – 3:55;

«Don't Go To Strangers» – 4:09;

«At Last» – 4:26.

Остальные шесть композиций не в счет, кому интересно, как Линн чистит зубы, платит по счетам, ругается с торговцем овощами из-за пары артишоков, ругается с полицейским из-за штрафа за парковку в неположенном месте; шикает на мальчишку-сенегальца, сунувшего ей «фак» – так просто, от дури, от черной, с фиолетовым отливом кожи, от розовых пяток, от привычки натягивать презерватив на обрезок трубы – чтобы та лучше держалась в руке во время уличных драк.

Остальные шесть композиций не в счет, а «At Last» – это я, Кристобаль, начинающий писатель, одинокий молодой испанец в Париже. Я – все, что ей удалось урвать напоследок, я всегда останусь для нее Кристобалем, начинающим писателем. Я – Гай Кутарба или Ги Кутарба, как я сам привык о себе думать. По-французски.

«Comes Love» – самая длинная композиция в жизни Линн, самая печальная. Одинокий вечер в баре, два стакана виски сверх положенной нормы, спички (подарок от заведения, дома уже валяется пара десятков точно таких же подарков), надо бы подтянуть чулки и подкрасить губы, но отлучаться в дамскую комнату чревато – так можно пропустить случайно зашедшую в бар любовь. Конечно, о ее

приходе возвестит привязанная к стойке секция духовых (саксофон солирует), но и подстраховаться не мешает. На всякий случай. Подстраховаться не мешает, уже целый месяц нет дождя, и автобусную остановку перенесли на двести метров вперед – а ведь известно, что дожди и автобусные остановки соединяют влюбленных чаще всего.

Бедная Линн.

Дождь начинается внезапно, прямо у нее за спиной, настоящий ливень; лишь на мгновение его прерывает повизгивание тормозов и шум открываемых дверей – автобус не доехал до остановки ровно двести метров.

Бедная Линн, бедное рубиновое сердечко.

Рубиновое сердечко колотится в груди, зачем она выпила столько виски, и эти следы от помады на стакане, такие же рубиновые, как сердечко...

Сердце колотится, колотится, колотится.

– ...Вечно ты слушаешь всякое дерьмо, Гай..,

Анук.

Анук, моя девочка.

Анук сидит в метре от меня, прямо на полу, как обычно.

– Музыка для баб и таксистов. Какой же ты сентиментальный.

Волосы Анук мокры, мокры рукава свитера, подол шерстяной юбки тоже мокрый, с ботинок натекали две лужицы воды. Анук лениво перебирает в руках диски,

которые я отложил: «De-Phazz», «Coldplay», «Steely Dan».

– Анук... Анук... Ты вся вымокла, Анук, – лепечу я,

Я всегда жду Анук и всегда оказываюсь не готов к встрече с ней.

– Дождь, вот и вымокла.

– Разве на улице дождь?

– Дождь. Слепой дождь. Ты просто не заметил.

Не заметил, да. Анук может убедить меня в чем угодно. Даже в том, что моя сигарета останется сухой под дождевыми струями – так же, как оставалась сухой сигарета курящего друга Линн. Похожая на самурая сигарета. Анук может убедить меня в чем угодно – даже в том, что все рассказанное Линн о самокрутках, самураях, мечях и душевой кабинке – правда.

– А где твоя девушка? – спрашивает Анук.

– Какая девушка?

– Та, которую я видела в киношке.

– Анук... Ты вся вымокла, Анук...

– А у тебя все волосы в песке.

Я избавляюсь от наушников, в которых все еще звучит Джонни Митчелл, песок в волосах, очевидно, остался от встречи с Акрамом, братом Али, и как только Анук его разглядела?.. Я избавляюсь от наушников и сажусь на колени перед Анук. Падаю на колени перед Анук, перед ее безмятежными

фиалковыми глазами.

– Тебе нужно переодеться. Возьми мою футболку. И куртку тоже, они по крайней мере сухие. Тебе нужно переодеться, иначе ты простудишься.

– Я никогда ни у кого не беру вещей, Гай. Мои вещи – это мои вещи. А чужие – это чужие.

– Но ведь я... твой брат, – с надеждой в голосе шепчу я. – Я твой брат. Близкий человек.

Я знаю, что она ответит. Я знал это всегда. И я знаю, что она сделает.

– То, что мы перекантовались девять месяцев в чьем-то животе, еще не повод для близких отношений, Гай, – Анук как обычно сует себе в рот большой палец. – Уволь меня от этих сантиментов.

– Да, я понимаю...

– Твоя девушка очень даже ничего. Та, которую я видела в киношке. Все-таки она гораздо симпатичнее, чем старая гримза. Николь-Бернадетт, да? – Анук откровенно издевается надо мной, бедным сиамским братцем.

– Мари-Кристин.

– Неважно.

– Фильм назывался «Лифт на эшафот», с Жанной Моро. Во всяком случае, Линн пригласила меня именно на него.

– Значит, твою девушку зовут Линн.

– Нет. Мою девушку зовут не Линн.

– Но в киношку ты ходишь с Линн, – уличает меня

Анук.

Ее фиалковые глаза лишают меня не только воли, но и последних остатков разума. Я не должен был говорить «мою девушку зовут не Линн». «Линн – не моя девушка» тоже не вариант. Оба этих словосочетания предполагают наличие у меня какой-то девушки, пусть это даже и не Линн. «У меня нет девушки, Анук» – так было бы вернее.

– Она пригласила меня. «Лифт на эшафот» – ее любимый фильм. – И с чего только я взял, что черно-белая история с молоденькой и такой же черно-белой Жанной Моро – любимый фильм Линн? Непонятно.

– Да. Ничего себе фильмец, в финале я смеялась, – Анук и сейчас улыбается. – Очень поучительный финал.

Вот черт. Если финал и вправду был поучителен, я все равно не могу судить о нем. Вместо черно-белой Жанны Моро я видел цветного Мишеля Пикколи. «Dillinger E'Morto», будь он проклят.

– Но ты же не видела финала, – теперь уже я уличаю Анук. – Ты не видела финала. Ты ушла.

– Я видела его раньше, потому и ушла. Не люблю два раза смеяться над одной и той же шуткой.

Я вспоминаю ворох билетов в рюкзаке Анук. Анук не врет. В отличие от меня Анук никогда не врет – но и верить ей нельзя. Я знаю это – и каждый раз попадаюсь на одну и ту же удочку. И даже если Анук скажет, что видела все финалы всех фильмов – я все

равно в очередной раз поверю ей. Еще в детстве Анук умела видеть финалы, это ведь только я, бедный сиамский братец, трус из трусов, позорно бежал с чердака при одном только появлении в толще воды распустившегося цветка «Arsmoriendi». А Анук оставалась с ним дольше.

И видела финал.

Это ведь только я, бедный сиамский братец, трус из трусов, вынужден довольствоваться теперь Диллинджером. Вечно мертвым Диллинджером из документальной врезки. А Анук всегда может выбрать – какой финал ей увидеть.

– Ты забыла у меня кассету, Анук, – решаюсь я подойти к проблеме Диллинджера с другой стороны.

– Разве?

– «Диллинджер мертв».

– Да. Можешь оставить его у себя.

– Спасибо. – Анук деморализует меня, все как обычно. – Я видел тебя на мосту. Тебя и Ронни Бэрда. Вечером, после кино.

– Кто это – Ронни Бэрд? – удивляется Анук.

– Художник.

– А-а... Мазила Ронни. А он-то что делал на мосту?

– Он не делал. Он собирался сделать, – млея от сладкого ужаса, я пытаюсь придвинуться к Анук. – Ты знаешь.

– Что?

Я смотрю на лужицы, накапавшие с ботинок Анук. И когда только они успели увеличиться в размерах? Я точно помню, лужицы были не больше ладони, теперь же они соединились, теперь мы с Анук сидим у небольшого озерца, по разным его краям. Вода в озерце черная, точно такая же, как в одном из моих кошмаров; поверхность воды местами затянута ряской и еще какими-то более крупными цветами (в моем кошмаре это был гибискус, но сейчас я не уверен, что это именно гибискус). Прямо в середину озерца, в мелкую ряску, воткнут нож, над поверхностью покачивается его рукоять: сверчки и раковины, когда-то разделившие нас с Анук, наши сросшиеся затылки. Сверчки и раковины, которые отняли у меня Анук. Навсегда.

Анук вынимает нож — самым естественным движением; она вынимает нож и осторожно срезает свисающую с рукава свитера нитку.

— Ты знаешь, что он собирался сделать, Анук. — Рукоять ножа гипнотизирует меня, отвести от нее глаза невозможно.

— Это ты — знаешь. Ты ведь знаешь, Гай. Ты сильно расстроился, да? — никогда еще в голосе Анук не было такого участия.

Пусть мое сердце и не рубиновое, но оно колотится, колотится, колотится.

— Слава богу, что все закончилось хорошо.

— Я не уверена.

Действительно, я не знаю, что произошло с Ронни после того, как он спрыгнул с парапета Понт-Нефа. Я не знаю, куда он пошел потом, может быть — на другой мост. Возомнил себя романтиком и выбрал Бир-Хаким. Возомнил себя философом и выбрал Мирабо. Мало ли кем мог возомнить себя Ронни Бэрд, в Париже много мостов, чтобы удовлетворить любое его желание, пусть и самое запредельное.

Анук, все так же рассеянно глядя на меня, бросает нож в рюкзак.

— Я не уверена, Гай.

— Не уверена?

— Я не уверена, что ты и вправду так думаешь. Ты ведь хотел, Гай. Ты ведь хотел, чтобы он сделал это. Потому что ты что-то почувствовал. Ты почувствовал. Я права?

А вот и нет, Анук. Вот и нет. Я почувствовал это раньше. За сутки до того, как мазиле Ронни, этому недорезанному павлину, пришла в голову мысль свести счеты с жизнью. Ровно за сутки до его так и не состоявшегося прыжка в Сену я стоял у тела другого идиота. У тела вонючки Бадди, самого последнего отброса Бадди. Бадди, поднятого на вилы автопогрузчика. Бадди — драгоценного сосуда, в котором томились жженный мед и лакрица, магнолия и лотос, жимолость и ветивер, гиацинт и цветок абрикоса... Я просто протянул руку и взял этот сосуд. Просто протянул руку и взял.

Я зачерпываю ладонью воду из озерца, ряска даже не шелохнется. Вода в ладони оказывается еще чернее, чем я думал. Плевать, лицо мое горит, и я должен остудить его. В нос бьет запах куриного помета, слежавшейся шерсти, гниющей на солнце требухи — я и забыл, какой бывает мертвая вода, скрытая под ряской моих ночных кошмаров.

— Ну как? — спрашивает Анук.

— Что — «как»?

— Ничего не чувствуешь? А теперь зажмурься и дыши. Только как следует дыши.

Преодолевая тошноту, я подчиняюсь Анук. Как подчинялся в детстве, когда ходил по ее следам в маленьком, отрезанном от всего мира селеньице.

— Ну?! — Анук нетерпелива. — Ну?!..

Я вырос, Анук. Может быть, ты не заметила, но я вырос. Я долго спал с одной женщиной и долго разговаривал с другой, я успел выучить правила игры в петанк и прикинуться испанцем; я переносил все фасоны — от спортивной куртки до смокинга, я перевидал все столицы — от Праги до Lisboa, я много думал о жизни, еще больше — о смерти, я вырос, Анук. Я уже не тот сопливый мальчишка, который сумел разглядеть в крошечной темноте зажмуренных глаз одну-единственную ноту. Теперь нот больше, гораздо больше. Они взрываются у меня в голове огромным, невиданной красоты фейерверком, и я свободно, без всякого напряжения могу проследить полет каждой из

них. Ноты недолго пребывают в одиночестве, они снова собираются в стаи, кружащие над своим — и только над своим — полем. Да, именно так: у разных стай разные поля, но все стаи одинаково прекрасны. Я смотрю вверх, мне не хочется смотреть вниз — и я смотрю вверх. Там, вверху, меня ждут не только жженный мед и лакрица, не только жимолость и ветивер — еще множество запахов, гораздо более прекрасных. Лучше меня знающих, как спать с одной женщиной и разговаривать с другой, как играть в петанк и прикинуться испанцем, как носить смокинги и спортивные куртки, и куртки для верховой езды, и нашейные платки в стиле Джона Уэйна, последнего ковбоя, последнего пьяницы, великого мачо. Лучше меня знающих о жизни. А о смерти...

О смерти я думать не хочу.

Смерть там, внизу. В полях, над которыми кружат стаи запахов. Я не хочу. Я не хочу думать о ней, видеть ее я тоже не хочу. Я не хочу видеть, как переплетаются друг с другом полусгнившие корни, как рвутся их бледные, тонкие, как нитки, отростки; как шевелится от обилия жирных и блестящих насекомых земля — такая же жирная и блестящая. Смерть там, внизу. Под полусгнившими корнями, в земле, облепленная насекомыми. Смерть там, внизу, где когда-то давно Анук зарыла альбом с семейными фотографиями. Если постараться, можно найти и его. Если постараться — можно найти и много чего еще.

Чьи-то полуистлевшие губы, чьи-то ввалившиеся глаза: они едва прикрыты тонким слоем чернозема, но пробиваются сквозь него — вверх, к беспечно кружащим, торжествующим стаям...

О смерти я думать не хочу.

— ...Анук! — бессвязно бормочу я. — Анук!..

Анук улыбается мне с другого края озера. Своей рассеянной улыбкой. Может быть, даже более рассеянной, чем обычно.

— Ты ведь все понял. Правда, Гай?

Совершенно обессиленный, я киваю головой. Я не понимаю, о чем говорит Анук, но все равно киваю.

— Это просто старое открытие. Старое, которое ты принял за новое.

— Почему...

— Ты просто боишься, Гай. Все, кто боятся, так и поступают. Принимают старые открытия за новые. Ты просто боишься.

— Ничего я не боюсь.

— Боишься.

Если бы нам с Анук сейчас было бы по шесть, если бы мы сидели на винограднике, если бы по листьям скользил солнечный луч, а за щекой Анук была бы спрятана монета (ярко-желтая, с корабликом и дыркой посередине) — если бы сейчас все было именно так, я бы вцепился ей в волосы и подмял бы под себя. Сделать это легко, у Анук всегда были птичьи кости. И фиалковые капканы глаз, об этом я

тоже не забыл.

Если бы нам было по шесть...

Но нам не по шесть, и потому я и рукой не могу пошевелить, бедный сиамский братец, трус из трусов со свалывшимся подшерстком.

— Не нужно бояться смотреть вниз, Гай, — насмешливо произносит Анук, моя девочка. — Если будешь бояться смотреть вниз — никогда не увидишь верха. Верха без низа не существует. Давай, Гай. Посмотри вниз. Давай.

Пересилив себя, я все-таки наклоняю голову. Озерца между мной и Анук больше не существует, нет ни ряски, ни крупных, похожих на гибискус цветов. Нет и черной воды. Нет даже двух лужиц, которые натекали с ботинок Анук. Да и сами ботинки выглядят восхитительно сухими. Такими же сухими, как и пол, на котором мы сидим.

— Вот видишь. Никогда не нужно бояться.

— Да... Я так и не успел спросить тебя о лягушке, Анук. Анук хмурит брови и на секунду прикрывает глаза.

— О какой лягушке?

— Там, в кино. Когда шел «Диллинджер».

— «Диллинджер»? А я думала, вы смотрели «Лифт на эшафот».

— Неважно. Ты говорила о лягушке. Ты сказала тогда..,

Ненавижу, когда она разочаровывается во мне —

Анук, моя девочка. Ненавижу и всегда ненавидел. Одна лишь мысль об этом причиняет мне боль. Гораздо более сильную, чем боль, которую причинил нож ублюдка Тома, черномазая плебейская заточка без роду-племени.

Нож, который разделил наши с Анук затылки – дело другое. Если бы лезвие с прилепившимися к нему сверчками и раковинами еще хоть когда-нибудь коснулось моей кожи, взрезало бы бок или грудную клетку – на дне раны наверняка можно было бы увидеть имбирные тени Дамаска и Константинополя, рыбью чешую, глаза неверных.

И Анук.

Анук, сказавшую мне: «Лягушки жрут слизняков. Ненавижу слизняков», конечно же, она имела в виду меня, она ненавидит слизняков, а я ненавижу, когда она разочаровывается во мне. Но Анук не была бы Анук, если бы не надломила ветку, не своротила с дороги камешек, не сбила верхушку болиголова – только для того, чтобы я, ее братец, все-таки выбрал правильный путь. Это только в детстве мне казалось, что я сам нахожу Анук, по дарованному нам свыше праву сросшихся затылков. Это только в детстве мне казалось, что наши шрамы – зеркальное отражение друг друга. Но теперь я знаю – я находил Анук только тогда, когда она сама хотела этого. Находил тогда и нахожу сейчас. Это только мой шрам всегда распахнут, ее же – закрыт наглухо. Это только мой

шрам распахнут, как дверь, – и на пороге должна сидеть чертова лягушка. Не та, которая жрет слизней, лягушки не жрут слизней, тут Анук неправа.

Другая.

«Стоит только найти лягушку, и все сразу встанет на свои места», ничего оскорбительного для меня в этой фразе нет. Эту фразу я и выберу.

– ...Ты сказала тогда: «Стоит только найти лягушку, и все сразу встанет на свои места».

– А-а... Лягушку больше искать не надо.

– Почему?

– Потому, что ты ее уже нашел.

– Нашел?..

Холод за пазухой может служить косвенным подтверждением слов Анук. И даже если у меня под футболкой и устроилась счастливо найденная лягушка, это ничего не объясняет. Разве что вытащить ее и посмотреть, как она выглядит при свете. Я не очень-то жалую земноводных и при других обстоятельствах и пальцем бы к ним не прикоснулся, но любопытство пересиливает брезгливость. Я запускаю руку под футболку, втайне надеясь, что лягушка окажется не совсем лягушкой; хотя бы полуящерицей-полусаламандрой, облагороженной воспоминаниями о ночи, проведенной с Линн. И о лиссабонском фуникулере.

– Давай сюда, – голос Анук слегка подрагивает от нетерпения.

Я и глазом не успеваю моргнуть, как содержимое моей ладони перекочевывает в ее руки. Меня можно поздравить, надежды оправдались. Правда, всего лишь наполовину: это не лягушка, не совсем лягушка.

Анук держит в руках пистолет.

Тот самый, который я поднял на бесконечно множась лестницах в букинистическом. Анук с пистолетом – что-то новенькое, но, нужно признать, оба они выглядят довольно убедительно.

– Полезная вещь, – замечает Анук. – Армейский пистолет MAS, калибр девять миллиметров. Дальность стрельбы до семисот метров. Но лучше стрелять с пятидесяти.

Я ничего не знаю об Анук нынешней. Несомненно только одно: если бы Анук и Диллинджер встретились, о Бонни и Клайде никто бы и не вспомнил.

— В обойме — девять патронов, — продолжает инструктировать меня Анук. — С конца пятидесятых состоит на вооружении армий в бывших французских колониях.

— И что?

— Ничего. Полезная вещь.

Еще бы не полезная. Я понятия не имею, какое количество времени пистолет пролежал на ступеньках в доме Линн, но выглядит он как новенький. Похоже, lieutenant ухаживал за ним гораздо основательней, чем за Линн. Вместе — и lieutenant, и пистолет — они вернулись из Алжира, бывшей французской колонии; кто кого подцепил — неизвестно, не удивлюсь, если инициатором знакомства был именно армейский MAS, он-то и играл первую скрипку в их отношениях, и брал на себя решение всех проблем. Не с Линн: вряд ли Линн могла создавать проблемы своим возлюбленным, скорее — наоборот. Не с Линн — с собственной матерью и ее любовником, никчемным человечешкой, протирающим штаны в департаменте общественного транспорта.

— Двух патронов не хватает, — сообщает Анук, осмотрев обойму. — Но семь — на месте.

Два патрона, две пули — матери и ее любовнику,

чтобы не повадно было петь в душе фальшивым голосом. Со времен Алжира, со времен песчаной бури, в которую он выпустил весь свой трясущийся от страха боезапас, lieutenant многому научился. Лаконичности в убийстве уж во всяком случае.

Анук поднимает пистолет обеими руками (выглядит она ничуть не хуже Джона Уэйна, последнего ковбоя и великого мачо) и прищуривает глаз в поисках цели.

Второй этаж «Monster Melodies», где мы сейчас сидим, почти пуст, если не считать парочки меломанов в наушниках в дальнем конце. Но до них всяко больше, чем заявленные Анук пятьдесят метров. Самая выгодная мишень – я. От этой мысли у меня начинает сосать под ложечкой, но даже если Анук наставит армейский MAS на меня, я не шелохнусь и не стану по-бабски дергать щекой: ненавижу, когда она во мне разочаровывается – Анук, моя девочка.

– Неприятные физиономии, – лишь на секунду задержавшись на мне, дуло MASa движется дальше. – О таких и кошка не заплачет.

Джин Келли и Дебби Рейнольде на старой афише, вот кого имела в виду Анук. Да еще Дональд О'Коннор. Все трое, взявшись под руки, синхронно повторяют одно и то же танцевальное движение. Все трое – в плащах и шляпах, Дебби Рейнольде посередине.

«Поющие под дождем», 1952 год.

– Bang! – смеясь говорит Анук, имитируя звук выстрела. – Bang! Bang!..

Кровавое пятно расплывается на прикрытой бумажным плащом груди Джина Келли. Кровавое пятно расплывается на груди Дональда О'Коннора. Меньше всех повезло Дебби: шляпа слетела с ее головы, по лицу струится кровь. Я вижу это так же отчетливо, как вижу саму Анук. Никто из троих не фальшивил, петь под дождем совсем не то, что петь в душе; красавец, красотка и душка-их-приятель совсем не то, что чинуша из департамента общественного транспорта, зачем Анук сделала это? Красавец, красотка и душка-их-приятель, физиономии у них не неприятные, совсем наоборот, Анук явно погорячилась.

– Bang! – Анук все еще не может остановиться. – Bang! Bang! Bang! Bang!..

Теперь шляпа слетела и с Джина Келли, теперь шляпа слетела и с Дональда О'Коннора, вместо лиц – кровавое месиво.

– Давай, – говорит Анук. – Теперь ты. Давай,

Хорошо, что афиш с Фредом Астером и Джинджер Роджерс временно нет в продаже. Но я бы не смог выстрелить и в чинушу из департамента общественного транспорта, и в лягушку тоже, я бы не смог выстрелить ни в кого.

– Давай! – Анук нетерпелива,

BangBangBangBangBangBangBang!.. Анук произнесла это ровно семь раз. Ровно столько патронов оставалось в обойме.

– Боюсь, ты извела все пули, – я предельно осторожен.

– Я уже говорила тебе – ничего не нужно бояться.

Ловким движением Анук выбивает обойму из рукояти пистолета, как будто всю жизнь только этим и занималась. Патронов по-прежнему семь, мне не отвертеться.

– Ну?!

– Я... Я не знаю, Анук...

– Даже попробовать не хочешь? Это же просто. Вот, смотри.

Только не она. Одри Хепберн из «Забавной мордашки», Одри Хепберн в роли продавщицы книг Джо, «Как быть восхитительной» назывался танцевальный номер, перенесенный на афишу, Анук целится именно в него. Только не Одри Хепберн, только не она.

– Не нужно... Пожалуйста, Анук.

– И давно ты сохнешь по продавщицам книг? – непонятно, кого имеет в виду Анук: Линн или Одри Джо.

– Нет.

Я не должен был говорить «нет». «Да» – тоже не вариант. Оба эти слова предполагают наличие у меня каких-либо отношений с продавщицами книг;

возможно, они и имеются, но уж никак не подпадают под определение «сохнуть». «Я не хочу, чтобы ты палила почему зря в несчастные афиши» – так было бы вернее.

– Линн, твоя девушка... Она ведь продает книги?

Одри – Джо больше не мишень, и слава богу. Анук оставила эксперименты со стрельбой и теперь сосредоточенно почесывает дулом переносицу.

– Линн работает в букинистическом. Мы там и познакомились.

– А ты что делал в букинистическом? Не ты ли сама привела меня туда, Анук?..

– Что делал? Искал одну книгу.

– Бедный мой братец. Все, что ты ищешь, обычно находят другие. Не расстраивайся, такое случается с большинством людей.

– Но ведь лягушку-то я нашел? – ненавижу, когда Анук разочаровывается во мне.

– Да. Лягушку ты нашел.

– И что делать теперь? – спрашиваю я, втайне надеясь, что Анук сообщит мне что-нибудь новенькое об «Ars Moriendi».

– Теперь? Ищи птицу, Гай. Стоит только найти птицу, и все сразу встанет на свои места.

Она издевается надо мной, определенно. Но ни ярости, ни злости я не испытываю. Я готов вечно сидеть с Анук на полу второго этажа «Monster Melodies», я готов слушать о чем угодно – о лягушках

и птицах и о том, что без низа не существует верха, и о том, какой я трус. Трус из трусов, никчемный братец, вяло вступившийся лишь за Одри – Джо Стоктон с афиши «Забавной мордашки». Она была продавщицей книг, как Линн; стала манекенщицей, как я, профессиональная солидарность налицо. Анук бросает пистолет мне в колени, уж она-то наверняка знает «Как быть восхитительной». Мои воспоминания о «Забавной мордашке», еще не вытесненные до конца отвратной физиономией «Dillinger E'Morto», включают в себя: «Он любит – и она любит», «Поцелуй меня и помиримся», Анук умерла бы со смеху, если бы я ляпнул что-нибудь в этом роде.

– Держи свой пистолет, Гай.

– Зачем он мне? Оставь его у себя.

– Я никогда ни у кого не беру вещей, Гай. Мои вещи – это мои вещи. А чужие – это чужие.

Билеты с оторванными корешками, уйма монет без гражданства, нож, «Ключ к герметической философии» – вот и все содержимое рюкзака Анук, армейский MAS (калибр 9 мм) отлично бы в него вписался.

– Пистолет не мой, Анук.

– Неважно, кому он принадлежал раньше. Важно, у кого он находится сейчас. И еще...

– Что?

– У меня есть еще кое-что для тебя, Гай.

– Кое-что для меня?

– Подарок.

«Это прекрасно», пропел бы Фред Астер, оставивший Джинджер Роджерс ради «Забавной мордашки». «Это прекрасно, поцелуй меня и помиримся», пропел бы Фред Астер под окнами Одри, на пустынной улице, танцуя с собственным зонтиком.

Петь я не умею. Танцевать, впрочем, тоже.

Подарок? Для меня, Анук? Нет, правда?..

Анук слегка приоткрывает губы: на кончик языка надето кольцо, только Анук умеет проделывать такие штуки с языком. Мне хочется так же высунуть язык – в конце концов, мы ведь близнецы, узколище, узкоглазое сиамское отражение друг друга. Если бы только Анук мне позволила – хоть на секунду, на долю секунды – коснуться языком ее языка... Напрасные мечтания, мне никогда не узнать, какие тайны хранит ее язык, Анук и сама тайна за семью печатями. Анук никогда не дарила мне не то что кольца – вшивой пуговицы от юбки, и вот, пожалуйста, кольцо. А дарить кольцо – это что-нибудь да значит. Если бы только Анук мне позволила – коснуться языком ее языка...

Но Анук вовсе не собирается впадать в дешевую родственную сентиментальность. Через мгновение кольцо оказывается у нее на ладони, и она аккуратно кладет его в мою раскрытую ладонь, прямо на армейский MAS.

– Смотри, не потеряй кольцо, – шепчет Анук. – Не потеряй.

Как я могу потерять его, Анук?

Странно, но кольцо кажется мне знакомым. Нуда, я уже видел его. Это кольцо Линн, я не могу ошибиться. То самое пропавшее кольцо, которое я целых полчаса безрезультатно искал под креслами во Французской Синематеке. Анук снова обвела меня вокруг пальца. Вокруг безымянного пальца Линн, с которого кольцо и исчезло. Интересно, как оно попало к Анук? Не стянула же она его, в самом деле!..

«Стянула, стянула, стянула», – смеется влажный кончик языка Анук.

Анук, моей девочки.

– Это кольцо... Это кольцо Линн, – говорю я. – Я видел это кольцо у нее.

– Ну и что? Неважно, кому оно принадлежало раньше. Важно, у кого оно находится сейчас.

– Это кольцо Линн.

– Не потеряй его. Это тоже важно.

«Carpe Daim» выбито на передней почти квадратной стенке кольца. Латинское словосочетание с налетом латинской же пыльной афористичности. «Carpe Daim» – не обратная ли это сторона «Agnus Dei»⁶¹, кто знает? Или это обратная сторона проникшего под кожу «Ars Moriendi»?.. Я помню легкий, немного небрежный наклон букв, и даже шрифт. «Carpe Daim», детские кубики с вишенкой и

пустыней – заглавные С и D – о чем же я подумал тогда?.. О том, что пустыня на крошечном квадратике изображена именно такой, какой представлял ее lieutenant, приятель Линн, до того, как отправился в Алжир: силуэт бархана, силуэт верблюда, «La vie en jaune». Жизнь в желтом, о чем же я подумал тогда?.. О том, что кубик со словом «mort» тоже превосходно впишется в пейзаж – с барханом, с верблюдом, с вишенкой, с чем угодно; смерть вписывается в любой пейзаж, она и сама – пейзаж. О чем же я подумал тогда?.. «Держись от этого „Carpe Daim“ подальше, Гай,» – вот о чем я подумал, когда увидел надпись впервые. В букинистическом Линн, на пыльной поверхности журнального столика – лучшего места для афоризмов не придумаешь.

Кольцо засижено целым выводком странных символов, ни один из них ничего не говорит мне, глухонемой мир Каббалы, гороскопов и карт Таро никогда не вызывал во мне энтузиазма. Так же, как и скопище цифр (внутри кольца выгравированы столбцы цифр – по обеим сторонам от передней стенки, они зеркально повторяют друг друга, подобно нашим с Анук шрамам):

• 11 • 10 • 9 • 8 • 7 • 6 • 5 • 4 • 3 • 2 • 1 •

• 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 •

Возможно, это – разновидность магического квадрата, возможно – что-то иное.

Мысль о том, что кольцо долгие годы

принадлежало Линн, больше не беспокоит меня, в конце концов, Линн сама хотела от него избавиться. Кольцо принадлежало Линн, а теперь будет принадлежать мне. Мне хочется стареть с ним. Мне хочется постареть с ним немедленно, не так уж много найдется на свете вещей, с которыми хочется стареть. Я выбрал бы в наперсники нож, несколько монет и бутылку с португальским вишневым ликером *ginja*, ничего особенного в бутылке нет, но на дне плавают вишни. Я ни за что бы не взял в наперсники книгу, в ладонь она не поместится — зачем хранить вещи, которые не помещаются в ладонь? Которые нельзя обхватить, обнять; единственная привилегия старости — обнять, единственная, кроме воспоминаний. Еще и поэтому я бы не взял в наперсники книгу, еще и поэтому: в старости ни в одной книге не сыщешь ни одного текста, отличного от твоих воспоминаний. А бутылка с жиньей легко уместится в ладони, к тому же в настоявшихся вишневых косточках бродит синильная кислота, твоя смерть всегда с тобой — прозрачная, рубиновая, как сердечко Линн, заключенное в магический квадрат.

Нож и несколько монет уже давно покоятся в рюкзаке Анук, представить ее стареющей — невозможно, тогда зачем они ей? Я — дело другое, но мне вполне хватит и кольца.

— Откуда у тебя...

Я поднимаю голову и не нахожу рядом с собой

никого, кроме сваленных в кучу дисков «Coldplay», «De-Phazz» и «Steely Dan». Кроме жалких трясущихся мыслей о предназначении кольца. Анук вовсе не хотела окольцевать меня. Но, возможно, она хочет, чтобы я окольцевал птицу. Окольцовывать лягушку глупо, а птицу – в самый раз. Я спрошу ее об этом потом, после – когда она оставит мне очередной знак. Она умеет оставлять знаки и умеет исчезать.

О, она умеет исчезать, как никто. Анук, моя девочка.

Я снова остаюсь в одиночестве. Я тону в нем, как в удлинённой парке графитчика, даже капюшон набрасывать не надо (коллекция таких парок далась консервативной Мари-Кристин с трудом; мода для пресыщенных ублюдков, время от времени впадающих в стилизованный street-экстремизм, вовсе не ее конек). На огромном пространстве второго этажа «Monster Melodies» никого нет, из двоих рассеянных по залу меломанов остался только один. Чтобы спуститься вниз, мне нужно пройти мимо него. Должно быть, то же самое несколько минут назад сделала Анук. Мысль об этом подбадривает меня, что если ничего не подозревающий парень в наушниках окажется очередным вывороченным с дороги камешком, очередной верхушкой болиголова? И, как стрелка компаса, укажет мне путь к Анук?..

Но парень не похож ни на стрелку компаса, ни на верхушку болиголова – я понимаю это, стоит мне

только поравняться с ним. Я вижу, как слегка подрагивает его загеленный затылок, как в такт затылку трясется задница в протертых джинсах, ничего приличного такая задница слушать не в состоянии. «Morcheeba» – ее потолок.

MORCHEEBA. «Fragments Of Freedom», тьфу ты черт.

Музыка для баб и таксистов, Анук права.

У ног парня стоит спортивная сумка. Такая же потертая, как и джинсы, я бы сильно удивился, если бы на ней было написано что-то, отличное от «Reebok».

Держи.

И как это только у меня получилось?.. Как это только у меня получилось сбросить армейский девятизарядный MAS ему в сумку? Но у меня получилось, и пяти секунд на это не ушло, Анук умерла бы со смеху, увидев мои отчаянные миротворческие попытки избавиться от пистолета. Пистолет мне ни к чему, окровавленные лица Джина Келли и Дебби Рейнольде все еще живы в моей памяти; как распорядится пушкой – этим fragments of freedom – парень с загеленным затылком, мне ровным счетом наплевать. Одно я знаю точно: палить в забавную мордашку Одри – Джо Стоктон он не будет.

PARIS LOUNGE: LO-FI NU JAZZ

№ 11⁶²

— ...Меня зовут Дидье Бланшар. Инспектор Бланшар из полицейского комиссариата...

— Меня предупредили.

— Значит, вы знаете, о чем пойдет речь. Сколько вы работаете в «Ламартин Опера»?

— Пять лет.

— Пять лет — и все ночным портье?

— Мне нравится моя работа. Новые люди и куна свободного времени. Мне нравятся люди, свободное время мне тоже нравится. А уж ночь... Я от нее просто без ума.

— И чем вы занимаетесь в свободное время?

— Самообразованием. Я много читаю.

— Что читаете?

— Разное... Что под руку попадет. Я всеядный.

— Ясно. В рабочее время, надо полагать, тоже к книжкам прикладываетесь?

— Бывает. Особенно когда постояльцев немного.

— И часто так... бывает?

— Частенько.

— Отель не пользуется спросом?

— Скажем... в любое время года вы всегда можете получить ключ от свободного номера.

- А сколько номеров обычно бывает занято?
- По-разному.
- Вот сейчас, к примеру.
- Четыре.
- Четыре из?..
- Четыре из восемнадцати. У нас небольшая гостиница. И цены щадящие. Для Парижа так вообще смехотворные.
- А народу все равно немного. Странно, правда?
- Никогда об этом не задумывался. Хотя... Ничего выдающегося в «Ламартин Опера» не происходило... За всю историю. И носового платка ни у кого не украли, и бритвой никто не порезался.
- Ну и что?
- Я хотел сказать, что жить здесь так же скучно, как в барокамере. А может, еще скучнее. Вот если бы у нас кого-нибудь пришилили... Или остановилась на ночь Памела Андерсон...
- И что было бы, если бы у вас остановилась Памела Андерсон?
- Я порекомендовал бы ей взять два номера: один для нее, а другой – для ее шикарных буферов...
- Любите женщин с крупными формами?
- Нет.
- А каких любите?
- Это важно? Хватит уже того, что женщин с крупными формами я не люблю.
- Мне показалось – вы жалеете, что у вас никого

не пришилили...

– Мне все равно. Но для «Ламартин Опера» это было бы несомненным благом. И постояльцев бы прибавилось.

– Вы полагаете?

Ну да. Это привлекает людей... Гарцевание на месте преступления, я имею в виду. Людям свойственно совать нос в чужую смерть. Это одна из немногих вещей, которая заставляет их почувствовать себя живыми...

– Вам тоже... ничто человеческое не чуждо?

– Мне все равно. К непристойностям я равнодушен.

– К непристойностям?

– Ну да. Смерть всегда выглядит непристойно, поэтому все так охотно о ней говорят.

– И только у вас в отеле – тишь да гладь...

– И никто не говорит о смерти.

– Кроме вас.

– Я тоже не большой любитель. Просто – о чем еще беседовать с инспектором полиции? Не о сезонных же скидках на автомобили, ведь так?

– Можно поговорить о Японии. Еще точнее – о японцах. Еще точнее – о японке. О мадемуазель О-Сими Томомори.

– Можно и об этом.

– Что означают ваши иероглифы?

– Вы о татуировке?

- Да.
- Ничего. Ничего они не означают...
- Вы как будто нервничаете?
- Нет. Не из-за иероглифов, во всяком случае. Жаль, что с мадемуазель О-Сими случилось...
- А что случилось с мадемуазель О-Сими?
- Не считайте меня идиотом, мсьеэ-э... Бланшар. Раз вы здесь и хотите поговорить о ней с совершенно посторонним человеком – наверняка ничего хорошего с ней не случилось. Я давно это подозревал.
- И как давно?
- Все это время. Все полтора года. С тех пор как ваши товарищи перевернули вверх дном ее номер. Они и со мной беседовали. Я тогда рассказал им все, что знал. А теперь являетесь вы...
- С теми же вопросами, молодой человек. С вопросами полуторагодовой давности.
- Не имеет значения. Я хорошо помню мадемуазель О-Сими.
- Профессиональная память?
- Нет. Я просто хорошо ее помню, вот и все.
- Остальным постояльцам везло меньше?
- Наверное. Мы с ней. ..мы с ней подружились, пока она жила в «Ламартин Опера».
- Что значит – «подружились»?
- Мы болтали. Она мне симпатизировала. Иногда она спускалась по ночам. Я ведь ночной портье. Ее мучила бессонница – и тогда мы болтали. Первый раз

она спросила, есть ли у меня снотворное. Я сказал, что могу сбегать за ним в аптеку. Это идея показалась ей менее привлекательной, чем просто поговорить со мной.

— Она знала французский?

— Очень плохо. Две или три дежурных фразы.

— Но мысль про снотворное она все-таки до вас донесла?

— Она спустилась с разговорником. У нее был карманный разговорник.

— С его помощью вы и вели беседы?

— Нет, мы говорили по-английски и немного по-японски. Я давно изучаю японский, так что разговорная практика была как нельзя кстати.

— Увлекаетесь Японией?

— Можно сказать и так.

— А японками?

— Мы просто болтали. К тому же она была влюблена.

— В вас?

— Ну что вы!.. Я ведь всего лишь портье. Ночной портье. Влюбиться в человека, который выдает ключи?..

— Она рассказывала вам о своем возлюбленном?

— Можно сказать и так.

— У вас есть девушка?

— Какое это имеет значение?

— Да вы не нервничайте.

– С чего вы взяли, что я нервничаю? А со своей девушкой я расстался. Точнее – она меня бросила.

– Почему?

– Это важно? Она была не в восторге от моей работы.

– Почему?

– Она отнимает слишком много времени. Не девушка – работа. И потом – это ночная работа. А моя девушка хотела, чтобы ночи я проводил с ней.

– Капризом это не назовешь. Значит, вы променяли свою девушку на работу?

– Мне нравится моя работа. Вообще-то я и родился в гостинице... Мои родители путешествовали по Швейцарии, так что свое первое путешествие я совершил в утробе матери.

– А второе?

– Разве я сказал, что было второе?.. Отель «Теплый воздух», в нем я и появился на свет. Вы ничего не слышали об отеле «Теплый воздух» в Швейцарских Альпах?

– Нет. А должен был?

– Там останавливалась Гарбо.

– Гарбо?

– Грета Гарбо, великая актриса. Отец был без ума от Джуди Гарланд, а маме всегда нравилась Гарбо.

– И поэтому она отправилась рожать в этот самый... «Теплый воздух»?

– Нет, не поэтому. Она и не собиралась рожать, я

сам настоял.

— Как это — настояли?

— Родился семимесячным. Отель, где останавливалась великая Грета, разве я мог такое пропустить?

— Действительно, не могли.

— Ладно, это просто шутка. Не насчет Греты, не насчет отеля — насчет меня... Вы могли бы поджечь спичкой богомола?

— Какого богомола?

— Живого. Богомола или кузнечика — неважно... Ухватить за лапки и поджечь.

— Не знаю. Вряд ли.

— А она могла.

— Кто?

— Грета Гарбо. Она могла годами одеваться в ближайшем к дому магазине готового платья: только потому, что он — ближайший.

— Это делало ее великой?

— Это делало ее не такой, как все. Быть не таким, как все, еще труднее, чем стать великим, разве нет?

— Никогда над этим не задумывался... Значит, вы поклонник таланта Греты Гарбо, как и ваша почтенная мамаша?

— Можно сказать и так, хотя я не видел ни одного фильма с ее участием.

— Здорово.

— Нет, на то, как она поджигает спичкой живого

кузнечика, я бы посмотрел.

– Я бы тоже... Значит, вы променяли девушку на работу.

– Мне нравится моя работа. И я дорожу этим местом. Если бы я оставил его, я потерял бы и жилье.

– Жилье?

– Ну да. Я живу при «Ламартин Опера», очень удобно. Никаких затрат на транспорт. И на многое другое тоже.

– На что, например?

– Ну, скажем, на путешествия. Сидишь себе за стойкой, а какие-нибудь Филиппины... или Гонконг сами плывут тебе в руки. Некоторые постояльцы останавливаются у нас не по одному разу. И тогда они специально привозят маленькие сувениры для меня.

– Вы просите их об этом?

– Нет, конечно же, нет. Это их личная инициатива. Да и сувениры недорогие. Пустячки, милые вещицы, таких полно в любой лавке при любом вокзале... Ничего не стоит купить их перед посадкой, разве что пару минут потеряешь. И пару монет. Да, вот еще что. Монеты.

– Монеты?

– У меня много монет. Все дарят мне монеты. Мелкие монеты с рыбами, утконосами, галерами, буйволами, с астролябиями и английской королевой... Иногда попадаются очень забавные экземпляры.

- И зачем вам монеты?
- Чтобы смотреть на них. Для чего же еще...
- Ясно. О-Сими Томомори тоже вам что-то презентовала?
- Хорошее отношение. Она была добра ко мне.
- В чем это выражалось?
- Мы болтали.
- Болтать – это по меньшей мере бегло разговаривать, если я правильно понимаю. Ваш английский... и тем более японский... так хороши?
- Хотите проверить?
- Нет. Значит, она рассказывала вам о своем возлюбленном. С чего бы это она так с вами откровенничала? С вами, ночным портье?
- Ее мучила бессонница. Ее мучило чувство, а это даже хуже бессонницы.
- Почему же оно ее мучило? Это было безответное чувство?
- Безответно влюбленной она не выглядела. Нет, чувство не было безответным, это-то и заставляло ее немного грустить.
- Странно.
- Ничего странного. Она была из тех, кто уже в самом начале думает о конце. Ну, знаете, о том, что будешь делать, когда тебя бросят.
- И что она собиралась делать?
- Вы не поверите. Она собиралась купить себе сапоги на шпильках. На высоченных шпильках, так

она и сказала: «Куплю себе сапоги на высоченных шпильках и все забуду».

— А что делаете вы, когда вас бросают?

— А вы?

— Напиваюсь. Но вообще-то я первый спросил.

— Я складываю монеты. Это довольно сложные построения, уложить больше сорока монет еще ни разу не удалось. Но однажды получилась пагода. Как раз в ту ночь, когда мадемуазель О-Сими впервые понадобилось снотворное.

— И она увидела вашу пагоду?

— Она сразу поняла, что это — пагода. Вы бы наверняка приняли сложенные монеты за что-нибудь другое.

— Почему? Я знаю, что такое пагода.

— Вы бы наверняка увидели бы что-нибудь другое — вот что я хотел сказать...

— Может быть. Так что мадемуазель О-Сими рассказала вам о своем возлюбленном?

— Немного. В основном она рассказывала о себе. И о том, что чувствует к этому испанцу. Да, само чувство занимало ее гораздо больше...

— Вы сказали — испанцу?

О-Сими... Мадемуазель О-Сими была влюблена в испанца. Она даже имя его называла. Сейчас... Кристобаль. Да. Кристобаль.

— Имя действительно испанское.

— Вот видите. Он и был испанцем.

- Он когда-нибудь приходил в отель?
- Да. Несколько раз.
- И оставался на ночь?
- М-м... Да. Меня ведь уже спрашивали об этом. Полтора года назад.
- Как часто он оставался?
- Все те несколько раз, которые приходил. За исключением первого. Первый раз он пришел... пятнадцатого... Да, пятнадцатого мая, днем. Он искал мадемуазель О-Сими.
- Днем? Вы же ночной портье.
- Я подменял напарника. В тот день он неважно себя чувствовал и позвонил сюда. Так что я остался еще на одну смену.
- Вы так хорошо запомнили дату?
- Вы бы тоже запомнили, если бы это был ваш собственный день рождения.
- Так это был ваш день рождения?
- Да. И как раз накануне меня бросила девушка. Так что почему бы мне не запомнить дату, а?..
- Та самая девушка, которую вы променяли на работу в «Ламартин Опера»?
- Другая. Но со сходными претензиями... Испанец заявился днем, сказал, что ищет мадемуазель О-Сими. Ее не было в номере, и он оставил ей записку. Вернее, сначала он решил подождать ее, но сообщил ему, что так скоро мадемуазель не появится. Что в лучшем случае ждать придется до вечера. И тогда он оставил

записку.

— Что было потом?

— Ничего. Я передал записку той, кому она предназначалась.

— Что было в записке?

— Откуда же мне знать? Думаю, он назначил ей встречу. Пригласил на свидание.

— Значит, пригласил на свидание.

— Во всяком случае, в тот вечер мадемуазель вернулась поздно. И выглядела вполне довольной жизнью.

— Довольной жизнью? Разве это подходящее определение для влюбленной женщины?

— Ну... Несчастной она не выглядела точно.

— Грусть от разделенного чувства проявилась потом?

— А-а... вы об этом... Скажем, я заметил ее только тогда, когда мы в очередной раз разговаривали.

— Очередной ночью?

— Да.

— Взгляните-ка на эти снимки... Вы кого-нибудь узнаете?

— Мне уже показывали их. Полтора года назад. И я уже тогда все сказал. Вот здесь, справа, сама мадемуазель. А это ее друг, который приходил в гостиницу.

— Кристобаль.

— Да.

- Очень хорошо.
- И вот еще что я вспомнил. У него было кольцо на мизинце, довольно примечательное.
- Кольцо? Почему вы об этом сказали?
- Вспомнил – вот и сказал.
- Почему вы сказали об этом сейчас? Ведь полтора года назад вы даже не упоминали о нем.
- Черт его знает. Должно быть, потому, что за полтора года я стал придавать некоторое значение кольцам.
- Вы были обручены?
- Можно сказать и так. Надел на палец своей девушке кружок от лука.
- А она?
- А она надела мне на палец кружок от сладкого перца. Мы вместе готовили салат.
- Символично. Вы бы смогли узнать кольцо приятеля мадемуазель О-Сими?
- Думаю, что да.
- Вы так хорошо его рассмотрели?
- Я даже держал его в руках. То есть сначала я увидел это кольцо на мизинце у парня, я уже говорил. А потом то же кольцо оказалось у мадемуазель. Только не на мизинце – у мадемуазель такие тонкие пальчики... Не на мизинце – на указательном. И то оно было ей велико, так и норовило соскользнуть.
- Посмотрите внимательно. Вот это?
- Да. «Carpe Daim», надпись я тоже запомнил.

«Сагре Daim», лови мгновение.

– Откуда вы знаете?

– Я много читаю, занимаюсь самообразованием. Я перевел это изречение.

– Это она просила вас перевести? Мадемуазель О-Сими?

– Нет. Просто надпись показалась мне любопытной. Не могу ручаться за точность перевода, но «лови мгновение» – самый подходящий вариант. Как раз в духе того парня.

– С чего вы взяли?

– Он был похож на ловца.

– Что вы имеете в виду? Он был похож на охотника за удовольствиями? Или... охотника за женщинами?

– Он был похож: на ловца. Есть же ловцы жемчуга, например.

– А в роли жемчужины, стало быть, выступала мадемуазель О-Сими Томомори?

– Нет, я другое имел в виду... Это сложно объяснить...

– А вы попытайтесь.

– У него было такое лицо, как будто он сидел где-то на глубине и даже не собирался всплывать. Как будто на него давила чертова толща воды и он сквозь эту толщу смотрел, понимаете?

– С трудом.

– Объяснить доходчивее я не смогу, но этот

парень чем-то меня напрягал.

— Чем?

— Он мне не нравился.

— От него исходила какая-то опасность? Какая-то угроза?

— Он мне не нравился, вот так-то. Он был не такой, как все.

— Грета Гарбо тоже была не такой как все, по вашему утверждению. И тем не менее...

— Это совсем другое, инспектор. Совсем другое.

— Как если бы вместо богомола или кузнечика сжечь... к примеру, кошку?

— Причем здесь кошка? Хотя... Можно сказать и так.

— Все зависит от размеров жертвы?

— Все зависит от размеров жертвоприношения. Он — в этой своей толще воды — был способен на максимум.

— Максимум?

— Кошка — не максимум.

— Кошка — не максимум?

— Кошка — не максимум, собака никогда не врет, но и не говорит правды...

— Самообразование вам об этом нашептало?

Витгенштейн. Был такой философ. Это он придумал про собаку. А про кошку сказали вы, господин инспектор. Но я ведь не кошку имел в виду, когда говорил о жертвоприношении.

- А кого?
- Мне жутко не нравился тип по имени Кристобаль. Этим и ограничимся.
- В день, когда пропала мадемуазель О-Сими...
- В ночь. Я ведь ночной портье. В ночь на двадцать третье мая я видел их вместе, они спускались по лестнице. О-Сими и этот... хинин.
- Кто?
- Хинин. Это японское слово, господин инспектор. Синоним недочеловека. Раньше в Японии так называли тех, кто работал на бойне. Не самая достойная работа, согласитесь.
- Обычная.
- Ну да, вы же полицейский... Бойней вас не удивишь.
- Почему вы вдруг заговорили о бойне?
- Просто вспомнил, о чем подумал тогда. Когда они спускались по лестнице. Когда я увидел его глубоководные глаза. Интересно, подумал я, как он воспринимает всех нас из своего аквариума? Как он воспринимает мадемуазель О-Сими...
- Он что, вел себя неадекватно?
- Да нет... Как можно неадекватно спускаться по лестнице? Ты спускаешься – и все тут.
- И все-таки, что-то вас насторожило?
- Это были лишь внутренние ощущения, не более.
- Я смотрю, у вас здесь целая стойка с дисками... Вы не только читать успеваете, но и музыку

слушаете?

— Она никому не мешает — я ведь слушаю ее. в наушниках.

— А если вы вдруг срочно понадобится кому-нибудь из постояльцев?

— Тогда загорится лампочка. Обычная система.

— Так какими были ваши внутренние ощущения?

— Какими? Э-э, Эрве, сказал я себе, от этого типа можно ждать чего угодно, включая неприятности... Как от отставного жеребца — солиста Королевского Андалузского лошадиного балета. Того и гляди — получишь копытом в темя.

— А вы видели отставного жеребца — солиста Королевского Андалузского лошадиного балета?

— Нет.

— А сам балет?

— Нет. Но у меня есть монета с шикарным жеребцом.

— Испанская?

— Исландская. Хотя...

— Что — хотя?

— Хотя теперь я думаю, что может это и не жеребец вовсе...

— А кто?

— Тот, кто может удержаться на воде. Козерог. Которого изображают в гороскопах. С рыбьим хвостом вместо задних ног...

— Кто-нибудь еще видел, как мадемуазель О-Сими

покидала гостиницу вместе со своим приятелем в ночь на двадцать третье мая?

— Не знаю. Не думаю. Во всяком случае, той ночью я был в холле «Ламартин Опера» один. Мадемуазель О-Сими сдала ключ и пожелала мне спокойной ночи.

— И все?

— Нет. Мадемуазель сдала ключ, пожелала мне спокойной ночи и улыбнулась.

— А ее приятель?

— Он не стал ждать, пока мадемуазель закончит дела у стойки, сразу прошел к выходу.

— Значит, некоторое время вы и мадемуазель О-Сими находились наедине?

— Секунд тридцать, не больше.

— Но их вполне хватило бы, чтобы поделиться с ней своими нехорошими предчувствиями, не так ли? Сказать ей что-то вроде: «Эй, милашка, будь осторожна, от этого типа можно ждать чего угодно, включая неприятности». Вы ведь симпатизировали ей.

— Симпатизировал. Но кто же станет слушать ночного портье захудалой гостиницы? Это все равно, что слушать шум сливного бачка, — занятие малопочтенное.

— Н-да... И больше вы не видели О-Сими Томомори? После того, как она сдала ключ?

— Нет, не видел. Поначалу я даже не придавал этому значения.

– И испанец больше не приходил в гостиницу?

– Нет. Но спустя несколько дней появилась ее подруга, тоже японка, только гораздо более эксцентричная. Она разыскивала мадемуазель. Об этом вам лучше поговорить с моим сменщиком, именно он с ней беседовал. Он-то мне все и рассказал, сам я подругу мадемуазель О-Сими не видел.

– А почему он решил с вами этим поделиться, ваш сменщик?

– Вы так до сих пор и не поняли, инспектор? В «Ламартин Опера» никогда ничего не случалось, и вот, пожалуйста, пропал человек... Целое событие, правда?

– Но ведь не в самой же гостинице он пропал. Не из запертого изнутри номера...

– Неважно. Хотя я знаю пару отелей, где люди пропадали из запертых изнутри номеров. Или выходили на черную лестницу, чтобы никогда больше не вернуться. Терялись в коридорах, как теряются в джунглях Амазонки.

– А вы были в джунглях Амазонки?

– Нет. Но у меня есть монета в пять бразильских крузейро – с двумя попугаями. И еще одна – перуанский сол с ламой.

– Ценное приобретение. Адреса отелей, где пропадают люди, спишете?

– Нет. На такие отели всегда натыкаешься случайно, особенно когда долго путешествуешь. С

моими родителями именно так и произошло. Оба они были заядлыми путешественниками, даже дом не посчитали нужным завести. Л наши встречи вообще можно было по пальцам пересчитать. Они исчезли пять лет назад, мне едва исполнилось семнадцать.

– Хотите сказать – они исчезли в одном из отелей? Надеюсь, это был не... как его... «Теплый воздух»?

– Нет. Европа здесь ни при чем. Во всяком случае, последняя открытка, которую я получил, имела токийский штемпель.

– Я мог бы догадаться...

– Мама как раз описывала один такой отель. С лисами-оборотнями на должности горничных. И номерами, захлопывающимися, как мышеловки.

– И вы не отправились на поиски родителей?

– Зачем? Они были путешественниками и знали, на что идут. А путешественники, в отличие от туристов, иногда не возвращаются, как сказано в одной умной книге.

– Мадемуазель О-Сими Томомори была туристкой, и тоже не вернулась. Но это так, к слову. В ту ночь... На двадцать третье мая... вы не покидали гостиницы?

– С какой стати мне нужно было покидать гостиницу?

– Вы опять нервничаете.

– И не думаю нервничать...

– А кто-нибудь из постояльцев вас вызывал?

– Нет. Ночь была спокойной. У нас ведь небольшой отель.

– Ясно.

– Что-нибудь еще вас интересует?

– Да. Где жил малыш Эрве, пока его родители так охолтелo путешествовали по всему свету?

– У дяди, маминого брата. У него был небольшой пансион в Лионе, пристанище для старых дев – любительниц английского детектива и игры в баккара. Впрочем, почему был? Он и сейчас есть.

– И когда же вы покинули это богоугодное заведение?

– Когда мне исполнилось семнадцать. Когда я узнал об исчезновении родителей. Когда мне наскучило играть в баккара.

– И напрямиком в Париж?

– Да.

– И напрямиком в «Ламартин Опера»?

– Да. Хозяин отеля – старинный дядин приятель. Так что можно сказать, что в «Ламартин Опера» я поступил по рекомендации.

– И вам никогда не хотелось узнать, что же на самом деле случилось с вашими родителями?

– Для этого нужно было как минимум отправиться в Японию.

– Понятно. А у вас на это не было средств.

– Даже если бы они были... Я все равно не смог бы уехать.

- Почему? Ведь вам так нравится Япония.
- Все дело в моей болезни. У меня очень редкая болезнь, господин инспектор. Она причиняет массу неудобств, но если правильно ей распорядиться...
- И что же это за болезнь?
- Яне выношу солнечный свет. Яркий дневной мне тоже противопоказан, но в малых дозах это еще можно было бы пережить. А вот прямые солнечные лучи для меня – верная смерть.
- Сочувствую.
- Ничего, я привык. В этом даже есть свои преимущества.
- Разве?
- Сумерки, господин инспектор. Вечные сумерки. Л в сумерках сердце этого жестокого мира смягчается. В сумерках он выглядит именно таким, каким ты хочешь его увидеть. В сумерках гораздо больше оттенков. В сумерках гораздо проще признаться в любви, убить или приготовить салат... Вы нашли мадемуазель О-Сими?
- Да.
- Я прав и ничего хорошего с ней не случилось?
- Да.
- А испанец? Вы нашли испанца? Поговорили с ним?..
- Странный плакат, вы не находите?
- Где?
- У вас за спиной.

— А-а, этот... Реклама ускоренных курсов разговорного французского. Он висит здесь бог весть сколько, я и забыл о нем.

— «Сосны, моя девочка, покрыты иголками», надо же. Глупее лозунга для рекламы и не придумаешь.

— Вы — сто девяносто третий человек, который сказал мне об этом. Я могу быть еще чем-нибудь полезен?

— Думаю, я услышал все, что хотел. Спасибо, мсье...

— Нанту. Эрве Нанту, господин инспектор. Если вы найдете испанца, я смогу его опознать.

— Ни секунды в этом не сомневаюсь, Эрве.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК

...Мне кажется, что крапивники все-таки прилетят.

И не крапивников ли имела в виду Анук, когда сказала мне: «Ищи птицу»?

Никто не убедит меня в обратном, мертвая пиния – это все-таки пиния, а не липа, не тополь, не каштан. Если бы пиния была каштаном – я бы точно знал, что она погибла от рака, разьевшего кору и пустившего метастазы в крону. Нет, это не рак, это недостаток света. Недостаток света, вот что ее погубило.

Впрочем, в сумерках пиния вовсе не выглядит мертвой. Ее красноватая кора мерцает изнутри, она кажется покрытой сукровицей; ладони деда тоже были покрыты сукровицей, во всяком случае, именно такими они и сохранились в моей памяти. Еще и поэтому я почти уверен, что крапивники прилетят, еще и поэтому. Пиния, пусть и лишенная хвои, воспоминания о деде – искушение для такой маленькой птички, как крапивник, слишком велико. Вопрос лишь в том, что именно помнят птицы.

Память-то у всех разная.

Изредка возвращаясь к себе, в съемную квартиру на рю де ла Гранж, я нахожу под дверью ворох неоплаченных счетов и забитый бесполезными сообщениями автоответчик. С тех пор как в моей

жизни появилась пиния, эти визиты можно пересчитать по пальцам. Непонятно только, почему я вообще возвращаюсь туда, я забрал с рю де ла Гранж все, что представляло для меня хоть какую-то ценность: с десяток футболок, пару джинсов, столько же курток, кашемировое пальто, вышедшее из моды три года назад; видеокассету с проклятым Диллинджером и дневник Тьери Франсуа. Тогда почему я возвращаюсь туда? Не в детской ли надежде застать там Анук или хотя бы монету Анук, просунутую под дверь вместе со счетами?..

Удача не улыбнулась мне ни разу.

Я ни разу не сменил футболку, ни разу не передел джинсы с тех пор, как в моей жизни появилась пиния: вещи свалены в подсобке букинистического, вернее будет назвать его чуланчиком с двумя дверями. Первая ведет в сам магазин, а вторая – во внутренний дворик, где умерла пиния и до сих пор живут папоротники.

И не только папоротники.

Улитки.

В жизни не видел такого количества улиток: даже на нашем с Анук винограднике, даже в самое дождливое лето их было неизмеримо меньше. Там, на внутренней стороне любого виноградного листа, можно было найти одну-две от силы. На узких же стрельчатых листьях папоротника их десятки. Может быть – сотни. Сосчитать все мне просто не хватило бы

духу. Иногда их количество просто зашкаливает, и тогда я слышу знакомый хруст.

Крэк.

Крэк, крэк, крэк.

Этот хруст – единственное, что заставляет меня покидать дворик букинистического и время от времени возвращаться на рю де ла Гранж. Еще и поэтому я возвращаюсь туда: из-за трущихся друг о друга улиточных панцирей – еще и поэтому. Из-за улиточных панцирей, не только из-за Анук.

На рю де ла Гранж я думаю о Линн.

И о ее смерти, такой же ясной, как и смерть пинии. Разница лишь в том, что со смертью пинии ничего нельзя было поделать, что же касается Линн... Я знал, что она умрет, но и пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить случившееся. Смерть Линн стоила ровно столько, сколько и ее длинная и не слишком удавшаяся жизнь: ничего. Я и пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить случившееся, хотя все это время, все два месяца знакомства, ошивался поблизости. Я был первым, кто увидел мертвое тело Линн – на диванчике, в холле второго этажа букинистического. Я не поднял тревоги, не бросился звонить в скорую, напротив, я тихонько покинул магазин, унося то, что отныне принадлежало только мне: последний штрих в целостной картине аромата, последний, недостающий его элемент.

Дубовый мох.

«Дубовый мох» – последняя запись на странице ежедневника Тьерри Франсуа, датированная 13 июля; последняя строка в записи, последние слова в строке. Перед «дубовым мхом» – еще с десятков слов, написанных моей рукой.

Грейпфрут, флорентийская роза, кайенский мирт.

Иланг-иланг, шафран, бамбук, яблоки Гренни Смит.

Пачули, сандал, дубовый мох.

Дата смерти Линн совпадает с датой смерти вонючки Бадди – разумеется, с поправкой на два месяца; я снова упираюсь лбом в проклятое тринадцатое число. Разница лишь в днях недели, 13 мая 1968 года (я все еще цепляюсь за даты в ежедневнике) было понедельником. Тринадцатое июля пришлось на субботу. О промежуточном – тринадцатом же – июня (четверг в пожухлой хронологии ежедневника) я предпочитаю не вспоминать. Даже страницу с тринадцатым июня я пролистываю, закрыв глаза.

Все дело в рисунке, появившемся ниоткуда и до смерти меня испугавшем.

Нет, в самом рисунке нет ничего страшного: растительный орнамент, вплетенный в некое подобие медальонов; медальоны мало интересовали неизвестного мне художника, они едва обозначены, куда важнее сам орнамент. Он так причудлив и так тщательно выполнен, что первое столкновение с ним

приводит меня в шок.

Линн назвала бы этот шок культурным.

Я сам назвал бы этот шок шоком воспоминаний. И все из-за неотвязной мысли, что когда-то я уже видел нечто похожее. Первой и самой здоровой мыслью была мысль об Али – хозяине лавчонки в Бельвиле (кальяны, специи, арабская чеканка); об Али и о брате Али – Акраме, с их вытатуированными ладонями. Но ее тотчас же пришлось отбросить: эскиз орнамента в ежедневнике был гораздо более прагматичным, чем ленивая и несколько рассеянная арабская вязь, чем странные символы табачного цвета, переживающие полуденную жару на кистях арабов.

Более прагматичным, точнее формулировки не придумаешь. Все в этом орнаменте было подчинено одной-единственной неведомой мне цели, и я не стал бороться с искушением, я позволил листьям и стеблям обвить себя: должно быть, такое же чувство испытывал и мой дед, когда его кости отсырели, покрылись тонкой корой и выпустили первые побеги.

Коготок увяз – всей птичке пропасть, тогда еще я не думал о крапивниках.

Я позволил листьям и стеблям обвить себя – и сразу же оказался в самом центре спирали; или круга – движение стеблей, переходящих в листья, и листьев, переходящих в стебли, было круговым. Движение по кругу – вот что оказалось знакомым. Рептилии под стеклом, обрамленные дубовыми планками; рептилии,

благополучно трансформировавшиеся в святого Мартина, – они тоже двигались по кругу. Движение прерывалось в одной точке, чтобы снова начаться. На картине этой точкой, началом и концом, служил безобидный альбом для рисования. С эскизом все обстояло иначе, проще и сложнее одновременно, лишь продравшись сквозь плотные заросли, я нашел-таки искомую точку, начало и конец. Началом и концом оказался человеческий череп, достаточно стилизованный, чтобы не отнести к нему, как к мысли о бренности бытия. Но и череп не был главным.

Лягушка.

Лягушка, сидящая на черепе, поразила меня в самое сердце.

«Лягушку ты уже нашел», – сказала мне Анук, сидя на полу в «Monster Melodies». Я мог бы поклясться, что тогда, в середине мая, рисунка в ежедневнике не было и в помине. В нем не было ничего, кроме имени владельца на первой странице в правом углу – Thierry Francois. И единственной записи, пристегнутой к тринадцатому мая – Salamanca?.. И никакого наброска с лягушкой и черепом, еще тогда, в мае, я пролистал ежедневник до конца, восхитительно пустой ежедневник, ежедневник упущенных возможностей, бедняга Тьерри!.. Никакого наброска с лягушкой, но Анук уже знала о нем. И что означает подпись под эскизом –

plateresco? И не сама ли Анук...

От этого довольно заманчивого предположения я отказываюсь с трудом. Анук никогда не училась в школе, плевать ей было на школу, я не знаю даже, умеет ли она писать. Я не знаю даже о такой малости. Да и что бы мне дало это знание? Образец почерка Анук, не более. От мысли о почерке веет умопомрачительным межзвездным холодом: слово «plateresco» написано не Анук. Его написал тот самый человек, который пристроил вопросительный знак к Саламанке и вывел на первой странице: Thierry Francois.

Его написал сам Тьерри Франсуа, все четыре слова абсолютно идентичны: решительное «s», невнятное «а», первые части слов выглядят бодрячками, тогда как последние явно подвержены меланхолии. Полный упадок сил.

Слово написал сам Тьерри Франсуа, никакой другой кандидатуры у меня нет.

Я сижу над чертовым ежедневником несколько часов, уговаривая себя успокоиться.

Мне нужно успокоиться. Или окончательно поверить в то, что я сошел с ума, а к этому я явно не готов. В пользу версии «я сошел с ума» говорит не только почерк. Почерк – еще полбеда, его можно и подделать, тридцать минут тренировки – и добьешься нужного наклона букв, еще час – и окончания слов будут выглядеть меланхоличными. Почерк – еще

полбеда, главная проблема заключена в чернилах. Тъери (или человек, подписавший первую страницу ежедневника, кем бы он ни был) оставил следы на бумаге обыкновенной перьевой ручкой. Определить, какими именно чернилами он пользовался — темно-синими, черными или фиолетовыми, — не представляется возможным. По одной простой причине: они выцвели.

Я сошел с ума — они выцвели от времени, так же, как и бумага. Я имею дело с выцветшим Тъери, выцветшей Саламанкой и выцветшим платереско. Тридцать лет — срок немалый, старятся все, так почему бы не постареть чернилам?..

Я сошел с ума — ведь не было никакого рисунка, не было никакого эскиза, никакого черепа, никакой лягушки, я не мог пропустить эту страницу, я столько раз листал ежедневник... Мне нужно успокоиться — в конце концов, появление растительного орнамента должно иметь разумное объяснение: что, если слиплись страницы и я просто не заметил такой выдающийся художественный опыт. Страницы слиплись, а потом (по причине, в которую мне не хочется углубляться) — снова расклеились.

Именно так, говорю я себе, именно так. Анук умерла бы со смеху, прослышав о моих шашнях с неожиданно обретенной земноводной тварью.

Выяснить, что же такое платереско, удастся при первой же встрече с Линн.

Мы больше не встречаемся в букинистическом, она сама заезжает за мной на рю де ла Гранж на своем желтом «Фольксвагене-жуке». Каждый раз я намереваюсь спросить у нее, выбросила ли она засохшие розы. И каждый раз забываю это сделать.

— ...Вы не знаете, что такое платереско, Линн?

Вот уже полчаса мы сидим в «Фольксвагене» — и все из-за дождя, самого настоящего ливня, наш побег из машины невозможен, хотя до ближайшего кафе рукой подать. Если бы Линн припарковалась на другой стороне улицы, мы бы уже пили кофе за столиком и разговаривали о книгах. Книжная тема неисчерпаема, к тому же в последнее время Линн почти не упоминает о своих бывших возлюбленных, она вообще предпочитает не говорить о прошлом, не знаю, с чем это связано. Прошрое (если оно еще имеет для Линн хоть какое-то значение) надежно спрятано в коробках с пленками в аппаратных Французской Синематеки, время от времени мы ее посещаем. Линн — для того, чтобы в темноте зала снова почувствовать себя двадцатилетней; я — для того, чтобы в темноте зала снова убедиться: от мертвого Диллинджера мне не избавиться во веки веков. Анук больше не шуршит попкорном у меня за спиной, возможно, мы посещаем разные сеансы. «Dillinger E'Morto» опротивел мне так же, как и сама Французская Синематека, — до судорог в пальцах, до скрежета зубовного, но это единственное место, где я могу встретить Анук.

Место, в котором встреча с Анук не светит мне ни при каких условиях, – желтый «Фольксваген» Линн, глупо надеяться, что Анук вот так, за здорово живешь, возникнет на заднем сиденье, если уж и выбирать между «Фольксвагеном» и Синематекой – я выбрал бы Синематеку. Но особого выбора у меня нет – ливень слишком силен.

Будь он чуть послабее, будь Линн моложе лет на тридцать, мы не стали бы торчать в «Фольксвагене», всего-то и надо, что перебежать улицу. Двадцатилетней Линн это, несомненно, бы пошло – перебегать улицу под дождем: мокрое, облепившее фигуру платье выгодно подчеркивает заносчивую грудь, стройные щиколотки смеясь распугивают лужи, никакой косметики, никакого риска, что подведенные тушью ресницы потекут... Это пошло бы и тридцатилетней Линн, но Линн за пятьдесят, и она наверняка знает, что такое платереско.

– ...Платереско? Странно, что вы спрашиваете меня об этом.

– Странно? Почему странно?

– Ведь вы же испанец, Кристобаль. Вы должны знать, что такое платереско. Разве вы никогда не были в Саламанке? Платереско – это архитектурный стиль. Саламанка – это рай для платереско.

– И вы видели этот рай?

– Энрике. Энрике учился в Саламанке.

Энрике, испанский друг Линн, как я мог забыть?

Энрике закончил университет в Саламанке, после чего ему и был подарен «Ars Moriendi».

– Расскажите мне о нем, Линн.

– Об Энрике? – Линн хмурится, я был прав, после ночи в букинистическом ей почему-то не очень хочется вспоминать о прошлом.

– О платереско.

Архитектура – не самая сильная моя сторона. И о платереско я мало что знаю. Кажется, платереско предшествовал барокко, во всяком случае – в Испании. Орнаменталистика, как основная деталь декора зданий. И вообще – обилие самых разнообразных, в основном растительных, орнаментов. Тончайшая работа, почти ювелирная.

Линн испытующе смотрит на меня.

– Нуда... Ювелирная.

– Ведь ювелир по-испански будет платеро?

– Да, – с Линн нужно держать ухо востро, я едва не попался. – Платеро. Точно.

– Странно, что вы не догадались, что такое платереско.

– Значит, растительный орнамент, – теперь уже я испытующе смотрю на Линн. – Но, надо полагать, и животные встречаются...

– Какие животные?

– Разные. К примеру – лягушка. Лягушка, сидящая на черепе. Тоже деталь декора.

– Лягушка? Откуда вы знаете о лягушке? – Линн

явно заинтригована.

– А вы тоже о ней знаете?

– Ну конечно. Это знаменитая лягушка.

– Чем же она так знаменита?

– Она украшает фасад университета в Саламанке, и есть старое студенческое поверье: стоит только найти ее – и экзамен будет успешно сдан. Энрике рассказывал мне об этом.

– А что, ее так трудно найти?

– Это платереско, Кристобаль. Слишком уж причудлив орнамент.

Линн многозначительно улыбается, и мне начинает казаться, что она вкладывает в простые, ничего не значащие слова несколько иной, недоступный мне смысл. Причудливостью орнамента он не ограничивается.

– Энрике нашел ее?

– Не сразу.

– Я тоже нашел ее не сразу, Линн.

– Но вы ведь не были в Саламанке.

– Я видел рисунок. В блокноте у одного моего приятеля. Очень качественный рисунок.

– Ваш приятель художник?

Невинный вопрос Линн застает меня врасплох. Я ничего, ровным счетом ничего не знаю о Тьери Франсуа. Я не знаю даже, жив ли он, единственное, что можно утверждать с некоторой долей уверенности, – в Саламанку он все-таки съездил.

– Тьери? Художник, да. Художник-любитель, – эта мысль осеняет меня в самый последний момент, будь Тьери художником-профессионалом, он не стал бы пристраивать лягушку в куцем разлинованном ежедневнике, он воспользовался бы как минимум альбомом для рисования.

– Его зовут Тьери?

– Тьери Франсуа.

Еще ни разу я не произносил этого имени вслух, даже наедине с самим собой, я и представить не мог, что, произнесенное вслух, оно вызовет такой эффект. То, что происходит с Линн, не поддается ни описанию, ни разумному объяснению. Я больше не вижу ее лица. То есть оно, безусловно, существует, все еще существует; его отголоски, его отражения все еще доходят до меня, маленький желтый «Фольксваген» слишком ненадежное убежище, ливень уже внутри салона.

Именно так, между мной и Линн – ливень, оголтелый, отчаянный дождь; ливень, лобовое стекло, работающие дворники. Отголоски, отражения лица Линн там, за дворниками, Линн пытается спрятаться, вот оно что. Не от дождя – от меня, вероломного мальчишки-испанца, приведшего за собой французский хвост по имени Тьери Франсуа.

Линн пытается спрятаться, она судорожно примеряет самые разные маски: я снова вижу двадцатилетнюю Линн и Линн, потерявшую кольцо

во Французской Синематеке; Линн, ревнующую меня к японскому анимэ на Бато Муш. Еще несколько Линн мне совершенно неизвестны, об этих Линн она мне не рассказывала, она и сама, должно быть, слабо их помнит.

— Вы сказали — Тьери Франсуа?

— Да.

— И он ваш приятель?

— Да.

— Такой же молодой человек, как и вы?

Дождь в салоне меня не устраивает — как и шумно работающие дворники, как и лобовое стекло между нами. К тому же мне жалко Линн. По-настоящему жалко.

— ...Такой же молодой человек, как и вы, Кристобаль?

— Да.

— Сколько ему лет?

Сколько лет может быть сейчас Тьери Франсуа? Пятьдесят пять? Шестьдесят?.. А сколько было любовникам Линн? Она упоминала лишь о возрасте испанца, он умер в тридцать три, вряд ли все остальные были намного старше. Моложе — да, но не старше.

— Сколько ему лет?

— Не знаю точно. Двадцать шесть.

— Боже мой...

— Вам нехорошо, Линн?

– Это сейчас пройдет.

«Это» и правда проходит. Вымокнуть до нитки нам больше не грозит, ливень, наконец-то, убрался из салона, дворники и лобовое стекло заняли свое привычное место, Линн справилась с собой, и со всеми другими Линн, живущими в ее черепной коробке.

– Вам нехорошо?

– Все в порядке. Вот только...

– Что?

– Желудок. Последнее время у меня болит желудок. Боже мой, какая глупость...

– Что?

– Жаловаться на старческие болезни молодому человеку. Простите меня, Кристобаль. Мне уже лучше.

Ничего не лучше. Бледность Линн не может меня обмануть; бледность, заострившийся нос, капли пота на висках. Линн не ожидала услышать от меня о Тьери Франсуа – отсюда и бледность. Она слышит это имя не впервые – отсюда и бледность. Это имя пугает ее, делает несчастной – отсюда и бледность. Что, если Тьери был знаком ей, и не просто знаком? Все любовные истории Линн обрываются в конце шестидесятых или в начале семидесятых, разница не слишком велика. Любовные истории, с завидным постоянством сменяющие друг друга. Алжирский ветеран, Эрве Нанту, так и не ставший писателем;

страховой агент по кличке Стриж, джазмен с сельскохозяйственным уклоном, последним был испанец. Последним, как утверждает Линн. А что, если не последним?.. Что, если в утешение ей был послан Тьерри Франсуа (вот только в утешение ли?) – был послан, скатился каштаном к ее ногам?.. Что, если и розы, и кольцо – это его подарок? И сухая сигарета под душем – это его сигарета? И что могло произойти, если Линн вовсе не хочется говорить о нем? Ведь даже об алжирце, за здорово живешь укокошившем свою мамашу и ее любовника, Линн нашла возможным рассказать... Десятки вопросов готовы сорваться с моего языка, но расспрашивать Линн я не имею права. Во всяком случае – сейчас.

Это было бы бесчеловечно.

– Как вы себя чувствуете, Линн? Может быть, мне сесть за руль? Я отвезу вас домой.

– Не сейчас... пусть хотя бы ливень закончится... А я тихонько посижу. Совсем недолго. И мы поедем.

– Конечно. Не волнуйтесь, Линн.

– Как продвигается ваш роман?

Несколько секунд я соображаю, что именно имеет в виду Линн. Очевидно, речь идет об эпистолярных опытах Кристобаля, такого же начинающего писателя, каким был когда-то Эрве Нанту.

– С трудом, – привычка лгать Линн уже давно растворилась в моей крови. – Похоже, я не в лучшей форме.

- Никогда не говорите так, Кристобаль.
- А как я должен говорить?
- Говорите: работаю над концепцией романа. Отсутствие должной формы всегда маскируется философствованием на тему произведения.
- Я учту.
- Надеюсь, в вашем романе найдется местечко для старой парижанки Линн? Хотя бы на галерке...
- Обещаю вам правительственную ложу.
- Ну что вы! – Линн все еще бледна, каждое слово дается ей с трудом. – Не стоит так стараться, поверьте мне. Маленького эпизода мне будет вполне достаточно. Кому интересно читать о старухе, ведь жизнь принадлежит молодым...
- Я так не думаю. – Я действительно так не думаю, но вряд ли Линн поверит мне.
- Это лучший комплимент за последние несколько лет, Кристобаль, – Линн протягивает руку и гладит меня по щеке.
- Никакой фамильярности, никакого заигрывания в этом жесте нет, от ладони Линн слабо тянет мускусом.
- «Ralph» от Ральфа Лорена.
- Я уже привык к тому, что Линн пользуется этими духами, созданными специально для двадцатилетних идиотов и неизменно потекающими их таким же идиотическим страстишкам: оральному сексу под Джей-Джей Йохансона, анальному сексу под «Guano

Арес» и взаимной мастурбации под acid-джаз.

Я уже привык, но слишком много мускуса. Еще никогда его не было так много. При всей моей нелюбви к «Ralph'u» мускус никогда не выходил в нем за рамки приличия, ирис, фрезия и липовый цвет держали его в узде. Если бы Линн любила Тьерри Франсуа, она никогда бы не продала мне его ежедневник. Если бы Линн ненавидела Тьерри Франсуа, она бы избавилась от ежедневника задолго до того, как я появился в букинистическом. В любом случае я никогда бы его не увидел, если бы... Если бы не было чего-то третьего, одинаково далекого и от ненависти, и от любви.

Забвение — единственное, что может влезть в узкую щель между ненавистью и любовью; кому, как не мне, знать об этом, бедному сиамскому братцу со шрамом на затылке — такой же узкой почтовой щелью, куда Анук время от времени сбрасывает письма без обратного адреса.

Линн просто хотела забыть Тьерри Франсуа. Хотела забыть — и забыла. Забыла, но мускуса все равно слишком много.

Это не «Ralph».

Я не могу ошибиться, это не «Ralph», все изменилось за какие-то считанные секунды, мускус перестал доминировать, к нему прибавилось еще несколько пока неясных запахов. Не ирис, не фрезия, не липовый цвет — что-то совсем другое.

Кажется, грейпфрут.

Ужас, объявивший меня лишь на мгновение, отступает, на заднем сиденье «Фольксвагена» лежит несколько грейпфрутов, Линн купила их час назад. Линн купила грейпфруты, но розы она не покупала. Тогда почему я так явственно чувствую их аромат?

Я знаю – почему, еще и шафран, и пачули, господи ты боже мой!.. Запахи тасуются, как карты в колоде, проплывают мимо меня на дьявольской карусели, карусельные лошадки и олени стреножены ими, и кто только научил их так лихо управляться с табуном из крашеного гипса и папье-маше?.. Мирт, кайенский мирт, я ничего не хочу знать об этом.

Ничего.

Почему закашлялась Линн? Почему голова ее лежит на руле? Это не просто роза, это флорентийская роза, ее аромат чуть тоньше, чем обычно бывает у роз. Грейпфрут, флорентийская роза и кайенский мирт, Линн все еще кашляет.

– Вам плохо, Линн? – Неужели это мой голос?

Это мой голос, он изменился до неузнаваемости, сдавленный сильно разросшимися корнями иланг-иланга.

– Сейчас пройдет.

Что бы ни говорила Линн – это не пройдет. Это не пройдет, Линн должна, просто обязана умереть, как умер Бадди. Линн должна умереть, второго Понт-Нефа я просто не переживу, мазила Ронни надул меня,

подонок, но Линн... Линн ни разу мне не солгала, Линн – рубиновое сердечко. Значит, и запахи, от нее исходящие, будут честны со мной.

Грейпфрут, флорентийская роза, кайенский мирт.

Иланг-иланг, шафран... и что-то еще.

– Вы только посмотрите, Кристобаль! Откуда она взялась?..

Голос Линн доносится до меня, как из подвала, – или это я сам заперт в подвале, стены которого обшиты сандаловым деревом, а пол усыпан зелеными яблоками?.. Яблоки, я даже знаю название сорта – Гренни Смит.

– Откуда она взялась?..

Улитка, самая обыкновенная садовая улитка – разве что чуть более крупная, чем обычно. Улитка ползет по побегам молодого бамбука, взрезая их, как ножом. След, остающийся после нее: глубокая влажная борозда в белесой мякоти.

Грейпфрут, флорентийская роза, кайенский мирт.

Иланг-иланг, шафран, бамбук, яблоки Гренни Смит.

Пачули, сандал... и что-то еще.

Проклятье. Линн должна умереть, но сейчас она не умрет. И если не сейчас – то когда?..

– Снимите ее, пожалуйста, Кристобаль. С детства не люблю этих тварей.

Конечно, Линн. Конечно. Я сделаю для тебя все, что угодно.

Убрать ползущую по рулю улитку не составляет особого труда, я опускаю стекло и выбрасываю, вышвыриваю ее прямо под дождь.

— Теперь все в порядке, Линн?

— Откуда она взялась?

— Я не знаю.

Вранье. Вранье, от которого давно загустела моя кровь. Улитка перекочевала сюда из Французской Синематеки, с ботинка Анук, я до сих пор это помню; света с экрана было вполне достаточно, чтобы запомнить.

— Не смотрите на меня так, Кристобаль.

Я не могу не смотреть на тебя, Линн. Грейпфрутовая Линн, шафранная Линн, Линн в лепестках флорентийской розы, Линн с яблоком в руках, Линн с гладкой сандаловой кожей...

— Не смотрите на меня так.

— Я готов умереть за вас, Линн.

— Не нужно, Кристобаль, прошу вас. Никто не должен умирать молодым, молодым умирает лишь божоле...

— Разве?

Божоле должно быть выпито, пока не состарилось, и никто не должен умирать молодым. Поверьте мне, я знаю.

Линн еще пытается шутить, но мне не до шуток.

— Я готов умереть за вас.

— Вы впечатлительный мальчик, Кристобаль. Как

все начинающие писатели.

– Я хочу остаться с вами.

Вот теперь я не вру. Я действительно хочу остаться с Линн, чего бы это мне ни стоило. Рухнуть вниз – в провал, в пропасть, в темноту, образовавшуюся за сандаловыми стволами; там, внизу, – в провале, в пропасти, в темноте, у тела Линн, – я обязательно найду единственный недостающий компонент...

– Нет, Кристобаль

– Я хочу остаться с вами.

– Об этом не может быть и речи.

– Но почему?!.. – я с трудом справляюсь с охватившей меня яростью, мне хочется ударить Линн, вышибить из ее руки яблоко сорта Грен ни Смит.

– Я слишком стара для вас, Кристобаль. Слишком стара.

– Какое это имеет значение?

– Для вас – никакого. Но я... Я слишком привязалась к вам, милый мой...

– Тогда почему – «нет»? Чего мне не хватает? Что такого было в Эрве и Энрике и чего не хватает мне? – я не могу остановиться, я готов говорить что угодно, лишь бы подольше оставаться с Линн.

– Чего не хватает? Моей собственной молодости, Кристобаль. Я слишком стара для вас.

– Я не хочу этого слышать.

– В нашем случае лучше уж расстаться вечером,

чем утром. А еще лучше – расстаться сейчас.

– Нет.

– Это не значит, что мы не будем видеться. Просто вам нужно остыть. А мне – взять себя в руки. Вы ведь не обидитесь, Кристобаль? Не обидитесь на свою старую Линн?

Линн и правда старая. Сейчас она выглядит даже старше, чем обычно. Морщины у глаз, сухие тонкие губы, склеротические прожилки на щеках – и все же от ее лица невозможно оторваться.

– Смотрите, еще одна...

Я не сразу понимаю, что она говорит об улитке. Улитка приютилась на рычаге переключения скоростей, весь он – в липкой слизи.

– Мы сейчас избавимся от нее, Линн.

Вторую улитку постигает участь первой, она летит в приоткрытое стекло, дождь кончился.

– По-моему, дождь кончился, – говорит Линн.

– Да.

– Я отвезу вас домой.

– А как же кофе? Мы ведь хотели выпить кофе...

– Не сегодня. Завтра, послезавтра – когда угодно. Но не сегодня.

Нет, Линн. Так просто тебе от меня не отделаться. Все, что ты хочешь, – забросать ветками провал, пропасть, темноту, притаившиеся за сандаловыми стволами. Забросать, чтобы я и думать о них забыл, ничего не выйдет, Линн.

- Я отвезу вас домой, Кристобаль.
- Нет, это я вас отвезу домой. Я беспокоюсь о вас, Линн.
- Мне приятно, но...
- Никаких «но». Разве вы откажете мне в такой малости?..
- Хорошо, – сдается Линн.

...Остаток вечера и первую половину ночи я провожу у букинистического. Я сторожу Линн, она не должна уйти, она никуда от меня не денется. Жалюзи на окнах безнадежно опущены, как и во времена Эрве Нанту, на двери висит табличка «FERME», Линн закрыла свое рубиновое сердечко и для меня. Мой мобильный звонит почти непрерывно, но номера, которые высвечиваются, вовсе меня не устраивают: Мари-Кристин, ее секретарша Николь, снова Мари-Кристин, Жак Дамьен по кличке Маджонг, еще и еще раз Жак.

Я и забыл, что Маджонг существует.

Маджонг, девятнадцатилетний гений с повадками закоренелого героинщика, с золотой фиксой в пасти, с проплешиной на затылке (проплешина украшена татуировкой женских половых губ), долговязый худющий Маджонг, дальний родственник Мари-Кристин. Мари-Кристин утверждает, что ее троюродная сестра прижила Маджонга с бродячей собакой – и я почти готов этому поверить. В нашу первую с ним встречу (Мари-Кристин пригласила его

в респектабельный «Ле Режанс», ничем иным, как временным помутнением сознания, объяснить это невозможно) — в нашу первую с ним встречу он весело отрыгивал и пускал газы, он так и норовил ущипнуть за задницу официанток и облапать саму Мари-Кристин, за что едва не схлопотал в табло. После этого Маджонг обозвал «тетю Мари» буржуазной пидораской, меня — буржуазным пропидором и наконец-то успокоился.

Мне нравится Маджонг.

Еще бы он мне не нравился. Маджонг — химик от бога (подозреваю, что шелудивый блохастый бог Маджонга — зрелище не для слабонервных), Маджонг — единственный, кто сразу же поверил в «Salamansa»; Мари-Кристин отнеслась к идее создания парфюмерной линии настороженно, но деньги все-таки дала.

Мобильный звонит, не переставая, от этого у меня лопается и без того некрепкая, одурманенная шафраном и иланг-илангом голова. Лучше ответить.

— Привет, рыло, — Маджонг не изменяет себе даже по телефону.

— Ну что еще случилось?

— Она готова.

— Кто? — Я все еще не могу взять толк, о чем говорит мне Маджонг.

— Проснись, пропидор буржуазный!.. «Salamansa», вот кто.

Кажется, Маджонг говорит о духах, над которыми мы корпели последние два месяца. Почти в кустарных условиях, в маленькой лаборатории на окраине Парижа.

– Ну?

– Ты разве не понял, рыло? Духи готовы, и я уже опробовал их на Лулу.

Лулу – подружка Маджонга, не то филиппинка, не то тайка, миниатюрное создание, такое же порочное, как и сам Маджонг. Если уж мать Маджонга согрешила с бродячей собакой, то в случае с Лулу без приبلудной змеи не обошлось.

– И что?

Мой вопрос провоцирует лавину отчаянно-веселой ненормативной лексики с вкраплениями китайского, русского, португальского, хинди, пушту и фарси, Маджонг умеет ругаться на тридцати семи языках, это его фишка.

– Она дала мне три раза и еще один – в задницу. И обещала привести подружку с сиськами шестого размера. Она в восторге.

– От чего?

– От духов, рыло. А еще приезжала моя тетка и твоя сучка Мари. Она в восторге тоже. Мы будем богатыми, старичок, мы огребем кучу башлей. Вот и сбудется моя вонючая мечта, а то она меня уже совсем задрала...

Вонючая мечта Маджонга – красный спортивный

«Ягуар» с откидным верхом. И бейсбольная бита. Вонючая мечта Маджонга – ездить на «Ягуаре» и крошить битой черепа зазевавшихся прохожих, «буржуазного стада», как выражается Маджонг. Времяпровождение такое же экстремальное, как и секс с прокаженной, как выражается Маджонг.

Мне он нравится, сукин сын.

– Давай, подтягивайся, рыло. И прихвати пару бутылок водки, а лучше три. Обмоем это дело!..

– Я не смогу приехать, парень.

Несколько секунд я слышу только мрачное сопение.

– Ты что, парень? – на этот раз Маджонг обходится без «рыла», так велико его удивление. – ... Ты что? Ты разве не понял? Духи готовы. Твоя гребаная «Salamansa» наконец-то доведена до ума...

– Я понял.

– Ну?

– Я не приеду.

«Salamansa» больше не интересуется меня. Цветок лотоса увял, жженный мед потерял всю свою привлекательность, жимолость может украсить собой разве что гербарий первоклассника.

– Да что с тобой случилось? – Маджонг все еще не может успокоиться.

– Кое-что, – и кто только тянет меня за язык? – У меня появилась идея новой композиции.

– Вот и обсудим...

– Нет. Она еще не сформирована до конца.

– Да брось ты...

– Я не приеду.

– Что-то ты темнишь, рыло. Я всегда говорил, что с тобой нужно держать ухо востро. Прямо как в сортире пидор-клуба. А то зайдешь просто поссать, а тебе тотчас сунут елду в жопу.

– Ты бывал в сортире пидор-клуба?

– Да ты что?! – возмущается Маджонг. – Ненавижу пидоров!..

– Вот и спи спокойно.

На другом конце снова слышно сопение.

– Я не понимаю, хоть убей... Ты же бредил этими херовыми духами...

– Забудь о них, Маджонг. Увидимся завтра, – говорю я и отключаю телефон.

Сейчас я не в состоянии объяснить Маджонгу, чем жимолость хуже флорентийской розы, а лотос – кайенского мирта, жимолость и лотос давно мертвы, похоронены в братской могиле вместе с вонючкой Бадди. Жимолость и лотос давно мертвы, а тугие бутоны флорентийской розы еще даже не распустились. Не распустились.

Но совсем скоро они распустятся. Совсем скоро.

Сейчас.

Я чувствую, нет – я вижу это. Как видел всегда, это Анук научила меня. Это она когда-то привела меня на бойню, к желобу, полному крови. Это она

научила меня различать смерть по запаху и предчувствовать ее по запаху – тоже. Это она.

Анук, моя девочка.

Сердце мое бешено колотится, оно готово выскочить из груди и заляпать густой кровью табличку «FERME», черт, я и забыл о ней. Я – дурак, кретин, полный идиот – напрочь о ней забыл. Линн не просто завалила ветками провал, пропасть, темноту – она заперла их на замок. Но и это меня не остановит, и не надейся, Линн. Я высажу витрину, сил у меня хватит.

Но высаживать витрину не приходится.

Мне хватает ума (он еще не померк окончательно, надо же!) подергать ручку двери. Она легко поддается, вот видишь, Линн, сегодня вечером ты была куда менее податливой. А может быть, я неправ, и ты оставила дверь открытой специально для меня? Добрая, добрая Линн, Линн-чудачка, Линн-избавительница, Линн – рубиновое сердечко. Хаос, царящий в голове, больше не пугает меня, ему на смену готовы прийти ясность и покой – всего лишь один поворот ключа от потерянной двери, всего лишь один поворот, одна маленькая деталь, которая упорядочит всю картину. Не подведи меня, Линн. Пожалуйста, не подведи!..

Первый этаж букинистического тонет в сумраке, ярко освещена лишь лестничная площадка с картиной в простенке, значит – Линн наверху.

– Линн! – зову я. – Линн!.. Никакого ответа.

– Линн! Это я, Кристобаль! Никакого ответа.

– Отзовитесь, Линн! Никакого ответа.

– Я поднимаюсь!..

Я поднимаюсь, грейпфрут, флорентийская роза, кайенский мирт, я поднимаюсь, иланг-иланг, шафран, бамбук, яблоки Гренни Смит, ничто не удержит меня, пачули, сандал... И что-то еще.

Что-то еще.

Я останавливаюсь лишь на мгновение – на лестничной площадке, перед картиной, свет со второго этажа падает прямо на стекло, оно бликует, разглядеть, что же там, под стеклом, невозможно. Приглядевшись, я вижу рептилий и святого Мартина одновременно: Мартин, оседлавший ящерицу, ящерица с головой Мартина, четко выведенное на средневековой стене «JOB», бродяга, заключенный в бутылку... Приглядевшись, я вижу нитку на деревянной раме картины. Нитку со свитера Анук, я ни с чем ее не спутаю, эту нитку Анук срезала ножом в «Monster Melodies». Она была здесь, Анук, моя девочка. Она была здесь, может быть, она и сейчас здесь. Только не нужно бояться. Никогда не нужно бояться, Гай.

Я не боюсь.

Ступеней по-прежнему четырнадцать, мне знакома каждая из них. Перспектива вновь оказаться в плену бесконечно множащихся лестниц больше не

волнует меня; если прошла Анук, – пройду и я. Не для того же она сунула мне в руки нитку от свитера, чтобы я заблудился в самый последний момент, бедный сиамский братец.

Второй этаж букинистического ярко освещен: Линн включила все лампы, которые только можно было включить.

Линн включила все лампы, чтобы смерть нашла к ней дорогу. Да и дверь она оставила открытой вовсе не для меня. Линн поступила со смертью так же, как Анук всегда поступала со мной, Линн оставила ей знак.

Дубовый мох.

Вот он, последний фрагмент в мозаике. Маленькая деталь, которая упорядочила всю картину. Не об этом ли ты мечтал, Гай?.. Дубовый мох, теперь я знаю точно: Линн больше нет.

Линн лежит ничком на диванчике, в маленьком холле посередине второго этажа, в окружении высохших роз: она так и не успела выбросить их. Или не захотела? Ответа на этот вопрос я не получу никогда, я никогда не узнаю, кем был Тьерри Франсуа и что он значил для Линн. Линн умерла, и мне больше нечего делать во Французской Синематеке, мне больше нечего делать на любом из Бато Муш, курсирующих по Сене. Линн умерла, и вместе с ней умерла молоденькая черно-белая Жанна Моро, и «Лифт на эшафот» застрял между этажами. Министр

сельского хозяйства может спокойно заснуть в своей постели, рядом с женщиной, мало похожей на Линн: никто больше и не вспомнит, что когда-то он был подающим надежды джазменом: Линн была последней, кто помнил это.

Грейпфрут, флорентийская роза, кайенский мирт.

Иланг-иланг, шафран, бамбук, яблоки Гренни Смит.

Пачули, сандал, дубовый мох.

Линн умерла, kothbiro.

Вот черт, я сказал kothbiro?.. Я хотел сказать «аминь», но получилось «Kothbiro». Это слово я слышал лишь однажды, от типа в футболке и кургузом пиджачке, от него за версту несло «jazz afro-latino» и страстью к женщинам с универсальным именем Мария. Кажется, я отдал ему ноги во время сеанса во Французской Синематеке — и не извинился.

«Kothbiro».

«Kothbiro» звучит ничуть не хуже, чем «Salamanca», оно бы понравилось Линн. Подружка Маджонга Лулу обязательно споткнется на нем и подожмет заласканные сотнями минетов губы. Но Линн бы оно понравилось наверняка. А мне нравится Линн.

Даже мертвая.

Даже мертвая она прекрасна, и улитки — живые улитки, выползающие у Линн изо рта, — ее не портят.

...Мне нужен манок для птиц.

Если крапивники не хотят прилетать сами — остается лишь приманить их. Выдуть из недр манка что-нибудь подобающее случаю, что-то вроде старой песенки «Возвращайся к нам опять, Джимми Дин, Джимми Дин». Да, эта песенка подойдет. Еще месяц назад я и не подозревал о ее существовании, я не знал бы о ней и сейчас, если бы агент по недвижимости Перссон, временами смахивающий на ненавистного мне Мишеля Пикколи, не напел бы ее. Единственная трудность заключается в том, что я понятия не имею, как выглядит манок для птиц.

Но и эту проблему можно разрешить. Теперь, когда я купил букинистический Линн, когда «Salamansa» взорвала парфюмерный рынок и резко поправила дела ветшающего модного дома «Сават и Мустаки», для меня нет ничего невозможного. Или почти ничего.

Я купил букинистический, чтобы не думать о Линн. Не то чтобы воспоминания о ней сжирали меня изнутри, не то чтобы меня терзали угрызения совести — Линн умерла, потому что должна была умереть. Простой расчет заключается в следующем: если что-то валяется у тебя под ногами постоянно, ты просто перестаешь это «что-то» замечать.

Под ногами у меня валяется жизнь Линн, уже

порядком потускневшая, я начинаю забывать истории, которыми она меня подкармливала. Вряд ли я забуду их совсем, я просто залатаю их прохудившееся днище своими собственными историями, вот и все.

Интересно, рассказывала ли мне Линн о Руфусе?

Имя Руфус она никогда не упоминала, это точно. Но я нисколько не удивился, когда увидел его в морге (я зашел туда, чтобы проститься с Линн): прихрамывающего, с одинокой седой прядью в волосах. Как будто все патологоанатомы должны выглядеть именно так. Руфусу не больше двадцати пяти, и он по определению не может быть тем самым парнем, который тридцать лет назад привел в порядок искромсанное солнечными лучами лицо Эрве Нанту. Тогда почему мне кажется, что Линн говорила мне именно о нем?.. Может быть, в этом и нет никакого особенного противоречия, и не стоит так волноваться: у человека, каждый день имеющего дело с чужими смертями, и своя собственная жизнь останавливается, кто знает?..

Прощание с Линн получается смазанным из-за Гаэтано Браги. Кого я ожидал встретить меньше всего, так это Гаэтано. По странному стечению обстоятельств он оказывается приятелем Руфуса, наше знакомство («Руфус Кассовиц – Ги Кутарба, Ги Кутарба – Руфус Кассовиц») происходит тут же, в морге. Под присмотром Линн, лежащей на столе под

белой простыней.

Линн прекрасна, даже мертвая.

Только я знаю, от чего умерла Линн, только я. Хотя лучше бы мне принять точку зрения Руфуса, которая отражена в официальном заключении о ее смерти: Линн задохнулась от проникновения посторонних предметов в дыхательные пути.

«Посторонние предметы» – не что иное, как улитки. Прямо на глазах у нас с Гаэтано Руфус извлекает изо рта Линн двенадцать отборных садовых улиток, все они живы. Двенадцать улиток, как двенадцать апостолов, оставшиеся со своим учителем, не покинувшие его.

Только я знаю, что улиток было больше, неизмеримо больше. И что они не проникли, как утверждает Руфус, «в дыхательные пути извне», совсем напротив, они были там, внутри, вот почему в нашу последнюю встречу Линн жаловалась мне на желудок. Они были там, внутри, возможно – достаточно продолжительное время, и все это продолжительное время колония разрасталась. В конце концов им стало тесно, и они выбрались наружу, только и всего. Все, кроме последних двенадцати, оставшихся с Линн на тайной вечере в букинистическом.

Мне не хочется впутывать в это дело Анук, и потому я принимаю точку зрения хромого Руфуса, Анук может не волноваться, я никогда не предам ее.

Никогда.

И никогда не научусь относиться к садовым улиткам без содрогания. После смерти Линн ее убийцы никуда не исчезли, они просто перебрались во внутренний дворик с двумя клумбами папоротников и высохшей пинией. Если бы не агент по недвижимости, временами смахивающий на ненавистного мне Мишеля Пикколи, я бы даже не узнал о существовании дворика: слишком уж не приметна дверь подсобки, ведущая в него.

Странно, но улитки живут только в одной клумбе, хотя другая ничем от нее не отличается, папоротники на обеих выглядят близнецами, кому, как не мне, судить об этом, бедному сиамскому братцу. Так же странен мой почти мистический страх перед этими склизкими тварями, и они, и я знали Линн, и они, и я были достаточно близки с ней. Вопрос лишь в том, что именно помнят улитки.

Память-то у всех разная.

Я провожу во внутреннем дворике букинистического все свободное время, я все еще надеюсь, что крапивники прилетят. Свободного времени не так уж много, хотя работа над «Kothbiro» давно завершена «Kothbiro» – аромат, воскрешающий в памяти чувственность африканских саванн. Тягучий и страстный, как любовь, внезапно вспыхнувшая к незнакомцу, с которым вы совершаете перелет через континент. Романтичный и соблазнительный, как

усыпанная крупными звездами южная ночь. Аромат-приключение, который невозможно забыть. «Kothbiro» — секретное оружие современной женщины, независимой, многогранной и свободной от предрассудков», рекламный текст принадлежит Мари-Кристин, не особо церемонящийся со словами Маджонг назвал его «зовом бритого лобка».

Вряд ли Линн когда-нибудь посещала африканскую саванну.

Это и не обязательно, ведь у нее было нечто большее, чем саванна: букинистический, который теперь принадлежит мне. Я не стал ничего менять, все в нем остается так, как было при жизни Линн, даже высохшие розы я не выбросил. Если этого не сделала она, то мне и подавно не нужно делать это. Я не стал ничего менять, я сохранил букинистический в неприкосновенности — еще и потому, что почти уверен: когда-нибудь кто-нибудь принесет сюда «Ars Moriendi».

«Ars Moriendi» больше не принадлежит Ронни Бэрду, мазиле-мистификатору, носатому павлину Ронни.

Вот уже месяц, как Ронни нет в живых.

Базовые ноты смерти Ронни — ладан и серая амбра. В нотах сердца доминируют фиалки и лаванда, в головных — бергамот. Я был единственным свидетелем его самоубийства, я получил на него пригласительный билет, он и сейчас лежит в заднем

кармане моих джинсов, вместе с ниткой от свитера Анук.

Пригласительный билет — не что иное, как смятая визитка Ронни Берда, которую я когда-то нашел у Анук в рюкзаке. Как она оказалась в заднем кармане джинсов, которые я практически не снимаю, — загадка, но, когда имеешь дело с Анук, перестаешь удивляться чему бы то ни было.

Ронни Бэрд прыгает с моста Аустерлиц, заключительный аккорд его падения — серая амбра; я — единственный свидетель того, как темные воды Сены смыкаются над распухшим от амбиций и собственной дутой славы мешком дерьма. Мысль о мешке дерьма приходит мне в голову сразу же — стоит только Ронни исчезнуть под водой. Трудно поверить, что целые сутки, вплоть до самоубийства, Ронни Бэрд был единственным, кто занимал мое воображение полностью, а последние несколько часов я и вовсе держался поблизости, оправдывая незатейливую формулировку Маджонга «буржуазный пропидор». Трудно поверить, но ладан и серая амбра того стоят.

Ронни всплывает ровно через три дня, еще более распухший, чем был при жизни.

Еще неделю газеты обсасывают подробности трагической гибели «короля поп-арта», до тех пор, пока ее не затмевает очередная любовная эпопея монахской принцессы Стефании и коррупционный скандал в правительстве. Бедняга Ронни оказывается

всеми забыт, так же, как и два его анилиновых енота в бейсболках, не исключено, что спустя некоторое время поднимется вторая волна интереса к мазиле, и его непроданные работы выставят на аукцион.

Но пока в бухте наблюдается отлив.

Ронни забыт всеми, кроме меня. Да и я давно бы выбросил этого павлина из головы, если бы не «Ars Moriendi». Я виделся с Ронни несколько раз (по просьбе Мари-Кристин он делал эскиз флакона для «Salamansa»), но случай поговорить о книге так и не представился. Или я был недостаточно настойчив. Или Ронни, забронзовевший в своем величии, не снизошел до парфюмерного выскочки и даже не повел в его сторону забитой кокаином ноздрей.

Надежды на то, что мертвый Ронни скажет мне больше, чем сказал бы Ронни живой, тоже не оправдываются. В перечне сколько бы то ни было ценного имущества Ронни (мне пришлось дать взятку его душеприказчику, чтобы пробежаться по перечню глазами) «Ars Moriendi» не значится.

Секретарю Ронни тоже ничего не известно о книге.

Но, может быть, кто-нибудь когда-нибудь принесет «Ars Moriendi» в букинистический? Два раза книга возвращалась в магазин, так почему бы не быть третьему?.. Я верю в это так же, как и в то, что крапивники прилетят.

Но для этого мне нужен манок, пусть я и не знаю,

как он выглядит.

Маджонг утверждает, что манок — это маленькая дудка, похожая на член. Или, во всяком случае, под член стилизованная.

— Почему именно под член, Маджонг? — Я вижусь с Маджонгом чаще, чем с кем бы то ни было. Вместе мы бьемся над «Minoritaire», моим первым (после двух женских) парфюмом для мужчин. Его основа — серая амбра.

— Ну как же ты не понимаешь, рыло. Член — единственная штука, которая может привлечь что угодно.

— Привлекать членом — это эксгибиционизм.

– А я думал – естественное состояние человека... Нет, ну до чего ты скучный тип, рыло! Прямо какой-то Порки Пиг⁶³ честное слово. У тебя и приятелей-то нет, а? А если и есть – то это наверняка какой-нибудь лилипут из цирка. Или антиглобалист...

– Нет у меня никакого приятеля-лилипута... И приятеля-антиглобалиста тоже.

– Да ладно тебе обижаться! Вечно ты не по теме жопу морщишь. И физиономия у тебя даже хуже, чем у Мэрилин Монро на прозекторском столе. И о чем ты все время думаешь, Ги?..

На птичьих рынках манки не продают.

Я нахожу его совершенно случайно – в лавке Али в Бельвиле. Я не был в ней больше полугода, но Али без труда вспоминает меня.

– Новые товары, сахиб. У нас много новых товаров... Есть, что выбрать.

Ассортимент лавки не выглядит кардинально изменившимся, все те же кальяны, чеканка и специи в больших мешках, Али продает их на вес. Добавилось лишь несколько ковров и черный, инкрустированный перламутром шахматный столик.

– Говорят, вы стали большим человеком, сахиб, – в голосе Али звучит подчеркнутое и немного приторное уважение.

– Кто говорит, Али?

– Все говорят. Я сам читал о вас в журнале, забыл только, как он называется. Но я сразу вас узнал по

фотографии.

Никогда бы не подумал, что Али читает французские журналы. Впрочем, и стопроцентным арабом Али больше не выглядит, в нем проглядывает что-то неуловимо европейское. Да и вся его лавчонка больше не выглядит сакрально, такую коллекцию арабских и берберских раритетов мог легко собрать какой-нибудь любитель last minute shopping в любом североафриканском аэропорту.

– У меня есть кое-что для вас. Редкие специи, прямиком из Марокко, и индийские тоже есть.

– В другой раз, Али. В другой раз.

– Хорошо, – легко соглашается Али. – Тогда, может быть, возьмете кальян? Очень старинный кальян, очень ценный, принадлежал самому Ахмеду Аль-Мансуру...

Имя Ахмед Аль Мансур ни о чем мне не говорит. Впрочем, я остался бы равнодушным к кальяну, даже если бы он принадлежал самому пророку Магомету.

– В другой раз, Али. В другой раз. Единственное, что я купил бы в этой бросовой лавчонке, – татуированные руки самого Али.

– Вам привет от Акрама, Али, – хорошо, что прежде, чем уйти, я вспомнил о песке, слетающем с таких же татуированных ладоней его брата .

– От Акрама? – Али выглядит растерянным.

– Вашего брата.

– Но откуда вы знаете?..

– Мы встретились совершенно случайно. И он очень похож на вас.

– Случайно?

– Да. Он передавал вам привет.

– Разве вы были в Марракеше? – удивлению Али нет предела. Странно, причем здесь какой-то Марракеш?

– Почему в Марракеше? Мы виделись здесь, в Париже.

– Этого не может быть, сахиб.

– Но ведь у вас есть брат Акрам, правда?

– У меня есть брат Акрам. Он делает татуировки.

– Такие, как у вас? Это он их сделал?

– Что вы, сахиб. Он делает татуировки хной, специально для туристов... Но вы не могли встретиться с ним.

– Тогда как бы я узнал о его существовании, если бы не встретился? – странное упрямство Али мне совершенно непонятно.

– Не знаю, сахиб.

– И потом... У него такой же рисунок на ладонях, как и у вас. На ладонях и на пальцах. Разве я не прав?

– Вы не могли видаться с ним здесь, в Париже. Он никогда не был в Париже. Он вообще никогда не покидал Марокко. Никогда.

Али смотрит на меня с плохо скрываемым ужасом. В мои планы вовсе не входило пугать лукавого торговца, нужно как-то выходить из положения. Оно

не нравится и мне самому, но не до такой степени, чтобы признать, что наша с Акрамом встреча – бред воспаленного сознания.

– Ну хорошо. Я пошутил, Али. Я был в Марракеше и случайно встретил Акрама. Он и правда похож на вас, и он сделал мне татуировку хной. Правда, она уже сошла.

Лгать доверчивому Али еще легче, чем Линн.

– А вы большой шутник, сахиб, – смех араба слишком уж подобострастен. – Большой, большой шутник!

– А мне нравятся ваши татуировки, Али. Они самые настоящие.

– Вы можете заходить в любое время, чтобы посмотреть на них. А если еще и что-нибудь купите – Али будет просто счастлив.

Не переставая смеяться, Али протягивает мне раскрытые ладони. Незвестные мне буквы и символы на месте, части растительного орнамента – тоже. У Акрама я видел еще и птицу, и – кажется – морскую раковину, да и сам рисунок менялся прямо у меня на глазах, Али же гораздо более консервативен. Не успеваю я подумать об этом, как арабская (или финикийская? или хеттская?) вязь закручивается спиралями и устремляется прямо к центру – синхронно на обеих руках; ее как будто всасывают в себя две воронки. На долю секунды ладони Али кажутся мне абсолютно чистыми, абсолютно

девственными, — но только на долю секунды. Две маленькие сверхновые взрываются снова, узор сменился.

JOB

Восхитительная латиница, точно такую же я видел на картине в букинистическом. Все три буквы, собранные в одно библейское слово «JOB».

— Что здесь написано, Али? — я не слышу собственного голоса. — Что это может означать?

— Откуда же мне знать, сахиб.

— А кто знает?

— Кто написал, — Али снова хохочет, запрокинув голову, я вижу, как трясется его кадык. — Вот видите, я тоже умею шутить, сахиб.

— Да. Это точно.

От библейского «JOB» не осталось и следа, передо мной снова буквы, похожие на символы, и символы, похожие на буквы, безмятежная арабская вязь и такой же безмятежный орнамент, возможно, это изречения из Корана, возможно — что-то иное. Нет, Али, обмануть меня тебе не удастся. Возможно, ты и совершаешь утренний намаз, но твои руки поклоняются совсем другим святым.

— Думаю, я бы что-нибудь и купил у тебя, Али. Вот только вряд ли у тебя найдется то, что мне нужно.

— Не стоит обижать меня, сахиб. У Али самый широкий выбор в Бельвиле. И самые умеренные цены. Так что же вам нужно?

– Манок, – стоящий за моей спиной Иов подбадривает меня.

– Какой манок?

– Манок для птиц.

– Вы решили приманивать птиц?

– Что-то вроде того.

– В Париже приличных птиц не сыщешь. Как и приличных людей, – замечает Али. – Конечно, я не имею в виду вас, сахиб.

– Конечно.

– У меня есть для вас манок. Очень старинный манок, очень ценный, побывал и в Дамаске, и в Константинополе, перевидал тысячи птиц... Кого вы собираетесь приманивать?

– Крапивников, – после довольно продолжительной паузы говорю я. – Маленькая такая птичка – крапивник.

– Как же, как же, – видно, что Али впервые слышит название птицы. – Считайте, что все крапивники Франции у вас в кармане.

– Мне достаточно и одного, Али.

– Тогда, может, заказать для вас клетку? Прямо из Марокко, чудную клетку. Я знаю мастеров в Рабате, они делают клетки на заказ. Что это за клетки, это же Альгамбра во плоти, сам Ахмед Аль-Мансур не отказался бы от таких. Правда, и стоят они недешево...

«Ищи птицу, Гай», сказала мне Анук. Но о клетке

она не говорила ничего.

– Я думаю, с клеткой можно повременить, Али.

– Как знаете, сахиб, как знаете.

Манок, о котором говорил Али, самым чудесным образом возникает в его руках; Али никуда не отходил от прилавка, он все время был на виду, странно, что я не заметил появления манка.

– Вы только посмотрите, сахиб...

Потрясение, которое ждет меня, не идет ни в какое сравнение с Иовом, готовым принести жертву всевышнему прямо на ладонях Али.

Сверчки и раковины.

Манок – маленькая дудочка с одним отверстием – усеяна сверчками и раковинами, мне кажется, что торговец держит в руках нож, лезвие которого спрятано в рукаве его рубахи. Нож, когда-то разделивший нас с Анук; нож, столько лет бывший ее спутником, нож, остающийся с ней и сейчас.

Сверчки и раковины.

– Откуда у вас эта вещь?

– Не знаю. Она была всегда.

– Как татуировка? – продолжаю задавать бессмысленные вопросы я.

– Да. Очень старинная вещь. Очень ценная.

– Дайте-ка мне взглянуть на нее.

Это и правда манок. Маленькая дудочка с одним отверстием. Никакого лезвия нет и в помине. Вот только сверчки и раковины... Узор абсолютно

идентичен. Что там говорил Али о Дамаске и Константинополе?.. Манок отбрасывает на мою ладонь имбирную тень, когда-то они были вместе – нож и манок для птиц, я почти уверен в этом, они были вместе, и неизвестно, что разлучило их – Дамаск или Константинополь. И в этом они очень похожи на нас с Анук. Очень похожи. Нож – конечно же, сама Анук, потому она и взяла его, он принадлежит ей по праву. Легкомысленный и недалекий манок, самая обыкновенная дудка – конечно же я.

И потому я возьму его, он принадлежит мне по праву.

– Сколько он стоит, Али?

– Так вы его берете?

Глаза Али закатываются, должно быть, он судорожно соображает, какую сумму с меня содрать. И мучаться не стоит, я готов заплатить любую, ведь манок принадлежит мне по праву.

– Да. За сколько вы его продаете?

– Вообще-то эта вещь не имеет цены...

– Любая вещь имеет цену.

– Эта – нет.

– Я готов заплатить, Али. Мне нужен этот манок.

– Я же сказал, сахиб. Цены у нее нет. Берите так.

– То есть как это – «берите»?

– Берите и все. И эти ваши... крапивники... обязательно прилетят.

...Вестей от крапивников нет.

Их нет, хотя я с упорством конченого идиота дую в дудку почти каждый вечер. Для удобства я перетащил во внутренний дворик одно из кресел со второго этажа (наверняка, в жилых комнатах Линн нашлось бы что-нибудь менее громоздкое, но в них я не захожу). «Возвращайся к нам опять, Джимми Дин, Джимми Дин», переложенная на птичий язык, не имеет никакого успеха. К клумбе с улитками я стараюсь не подходить, то же происходит и с пинией. Но если улитки теперь вызывают во мне лишь безразличность, дела с пинией обстоят сложнее.

Я боюсь ее.

Страх спрятан глубоко внутри, но я почти ежесекундно чувствую его незримое присутствие, он отложил личинки в самых потаенных уголках моего тела; мне остается только надеяться, что то, что из них вылупится, – не улитки.

Я слишком часто прикасался к мозаичному красноватому стволу руками, не нужно было этого делать. Не нужно. Теперь и мои руки время от времени покрываются сукровицей, иногда – в самый неподходящий момент. Последний раз это произошло неделю назад, на презентации «Kothbнго», богемном мероприятии, от которого у меня с самого начала сводило скулы. Все выдержано в африканском стиле,

Анук умерла бы со смеху, глядя на это действо. В обслуге – ни одного белого, ни одного одетого, сплошь ленивые сенегальские отбросы из двадцатого округа, которые Мари-Кристин успешно выдает за самых настоящих нубийцев. Но справедливости ради нужно заметить: в набедренных повязках и со снопом амулетов на груди они выглядят почти эпически.

Маджонг прибывает на презентацию в красном спортивном «Ягуаре».

Я бы хотел быть Маджонгом, или «Ягуаром» Маджонга, или – на крайний случай – его подружкой Лулу, лишь бы избавиться от ощущения липкой крови на руках.

Я никогда не буду Маджонгом, и крапивники никогда не прилетят.

Когда мне надоедает смотреть на безжизненные ветки пинии, я меняю объект наблюдения: теперь это единственное окно на восточной стене, примерно на уровне третьего этажа. Есть еще одно окно и на северной, почти под крышей, прямо против входа во внутренний двор. Но оно заложено кирпичами. В единственном окне на восточной стене никогда не бывает света.

Я, во всяком случае, ни разу его не видел.

Да и само окно кажется потускневшим, давно не мытым. Никаких штор, никаких жалюзи, никакого движения за мутными стеклами. Это тем более странно, ведь восточная стена принадлежит вполне

респектабельному жилому дому, стоит только выйти из букинистического, пройти до конца квартала и свернуть направо — и ты сразу же наткнешься на его фасад.

Консьерж дома, с которым я знакомлюсь (просто так, из праздного любопытства), оказывается русским, лет тридцать прожившим во Франции, но так до конца и не забывшим родной язык. Это существенно облегчает дело: несколько русских фраз — и я становлюсь обладателем почти эксклюзивной информации: на третьем этаже живут преуспевающий адвокат и не менее преуспевающий врач-проктолог, окна их квартир выходят на улицу, никаких других жильцов (и окон с противоположным улице видом) на третьем этаже нет. Я могу верить консьержу или не верить ему, но представить, что заброшенное окно находится в квартире адвоката или врача-проктолога, тоже как-то не получается.

Все меняется в день, когда я нахожу Иова.

Сам факт находки не удивляет меня, после посещения лавки Али я был готов к чему-то подобному. Но я нахожу Иова вовсе не там, где он время от времени появлялся — в компании полуящериц-полусамандр и средневековой стены.

Иов ждет меня на клумбе, не той, которая заселена улитками, — второй. Иов — этот библейский символ веры — на поверку оказывается небольшой и почти неиспользованной пачкой сигаретной бумаги для

самокруток.

«JOB».

Жаль, что в последнее время я курю очень редко и в основном траву. Это происходит под неусыпным оком Маджонга, большого специалиста по сворачиванию самокруток, цивильных сигарет он не признает. Бумага, которой обычно пользуется Маджонг: «Rizla» и «Club S.D.Mondiano», его подружка Лулу предпочитает веселенькую разноцветную «Music boogie-woogie».

«JOB» никак не назовешь веселеньким: кельтский орнамент на обратной стороне черного жесткого картона, готическая «О», больше похожая на ромб. Само название заключено в золотистый прямоугольник, «JOB» выглядит так же, как на картине с рептилиями. Даже нитка, скрепляющая бумагу, – такая же.

Найденный мной «JOB» заметно – раза в полтора – шире маджонговской «Ризлы» (две улитки в длину и одна – в ширину); по сравнению с ней он несколько старомоден, но и ровесником библейского Иова вряд ли является. Скорее всего, я имею дело с vintage-вариантом марки.

Стоит мне найти бумагу для сигарет (вопрос, каким образом она попала на клумбу и почему я заметил ее только сейчас, остается открытым); стоит мне найти бумагу, как тут же возникает непреодолимое желание закурить.

Табака у меня нет.

Наверняка он водится в жилых комнатах Линн, также, как и бумажные гепарды Эрве, как и кубинские омары Энрике; наверняка он там водится, но в комнаты Линн я не захожу.

Курить хочется нестерпимо, интересно, как бы я смотрелся под душем, с самурайской сигаретой в руках?.. Таинственный друг Линн (я все больше и больше склоняюсь к мысли, что это – Тьерри Франсуа), заблудший ронин с европейским разрезом глаз, тоже предпочитал самокрутки. Но что Линн говорила о табаке? Ничего конкретного, ни один из сортов не упоминался, она всего лишь разделила их на хорошие и плохие, на те, что «нравились» и на те, что «нравились не особенно». Те, что «нравились не особенно», друг Линн засовывал в самые непредсказуемые места, например в холодильник. Что же касается сортов, которые он курил...

Корешки книг.

Он складировал их в книжные корешки.

Сколько книг было у Тьерри Франсуа (я все больше и больше склоняюсь к мысли, что это – Тьерри Франсуа)? Или для этих целей он использовал книги в букинистическом? Я никогда об этом не узнаю, но одна книга у меня все-таки есть. И принадлежит она Тьерри.

Курить хочется нестерпимо.

Но это не значит, что я прямо сейчас должен

расправиться с несчастным ежедневником, я успел к нему привязаться, я успел приручить его, сделать своим... В другое время я бы и пальцем к нему не прикоснулся, но искушение слишком велико. И дело тут не только в паре-тройке затяжек, невозможно представить себе вкусовые качества табака, пролежавшего под обложкой больше тридцати лет, дело не только в этом. Имел ли Тьерри Франсуа отношение к Линн и если имел, то какое? Мне просто необходимо это знать, в жизни Линн не должно оставаться загадок; может быть, когда я коснусь пальцами дна ее души, я перестану думать о ней?

Если бы у меня был нож...

Но ножа у меня нет, он надежно спрятан в рюкзаке Анука, Анука надежно спрятана в недрах Парижа, мне до нее не добраться.

Даже если так – останавливаться я не намерен.

Я усаживаюсь в кресло и расстилаю на коленях одну из своих футболок («Lacoste», эксклюзивная модель), все остальное оказывается делом техники. Осторожно отделив от обложки часть форзаца, я слегка похлопываю по корешку.

Есть!

На футболку сыплется посеревший, истончившийся от времени мелко резаный табак. Чтобы унять нервную дрожь в пальцах и избавиться от звона в голове, мне требуется некоторое количество времени. Будь на моем месте мазила

Ронни, он бы уже успел как минимум трижды сигануть с моста. Будь на моем месте Мари-Кристин – она бы уже успела сочинить как минимум два рекламных слогана. Будь на моем месте секретарша Мари-Кристин Николь – она бы уже успела скачать из Интернета как минимум пять картинок с гостеприимными задницами главных интернет-педиков Джо и Джошуа. Будь на моем месте Анук...

Анук бы не стала ничего делать, это точно.

Тьери Франсуа.

Тьери Франсуа и был главным парнем Линн, никаких сомнений. Тем самым парнем, который подарил ей кольцо; тем самым парнем, который подарил ей розы. Тем самым парнем, который умудрялся курить, стоя под душем. Тем самым парнем, от воспоминаний о котором она пыталась избавиться всю жизнь. И так и не смогла.

Крутить самокрутки я не мастак.

Мне приходится извести с десятков бумажек из пачки прежде, чем получается что-то более-менее приличное. Я зажимаю самокрутку слегка подрагивающими губами и чиркаю зажигалкой.

В первые десять секунд ничего не происходит, две затяжки оставляют во рту странно-свинцовый вкус какого-то металла, потом металл сменяет полынь. Табак и правда испортился от времени, увидеть чудесные сюжеты, которые выдувал вместе с дымом Тьери Франсуа, мне не светит.

В какой момент привкус полыни сменяется привкусом крови – на третьей или на пятой затяжке?

В какой момент высохшая пиния вдруг начинает выпускать мягкие длинные иглы – на пятой или на восьмой?..

Теперь рот мой заполнен кровью, как желоб на бойне, а посреди дворика отсвечивает мозаичным стволом роскошная вечнозеленая пиния.

Я выплевываю кровь прямо на футболку с остатками табака, надо же, как ее много!.. Черт с ней, с кровью, ищи птицу, Гай. Ищи птицу!

Как в тумане, я нащупываю манок, сверчки и раковины особенно рельефны, они жмутся к ладоням, и я всей кожей чувствую почти неслышное потрескивание створок, почти неслышное пение цикад.

«Возвращайся к нам опять, Джимми Дин, Джимми Дин».

Неожиданно на крону пинии падает прямоугольник света. Свет идет из вечно мертвого окна, которое я сам был готов признать несуществующим. А спустя секунду в нем появляется мужской силуэт. Источник света находится за спиной мужчины, и я не должен бы видеть его лицо. Не должен.

Ноя вижу.

И снова безотчетный липкий страх охватывает меня. Я не только вижу лицо мужчины, я уже видел

его когда-то. Я видел его дневную и ночную стороны на дне бокала с мадерой; дневную и ночную стороны, располосованные опасной бритвой.

Этот парень – убийца.

Этот парень убийца, и он улыбается мне.

Не помню, как я оказываюсь в подсобке, а затем и в главном зальчике букинистического. Там меня ждет новое потрясение: на втором этаже горит приглушенный свет, хотя я точно помню, что погасил все лампы, все – до единой. К тому же по этажу кто-то ходит. Никуда не ушедший страх заставляет меня соображать быстрее, и я тут же вспоминаю, что видел в подсобке лопату. Лопату с налипшими на нее комьями давно высохшей земли. Оружие не такое внушительное, как, к примеру, бейсбольная бита, предмет вожделений Маджонга, но все же, все же...

С лопатой в руках я сразу же начинаю чувствовать себя увереннее. Я даже в состоянии открыть рот и выкрикнуть в мягкий свет на втором этаже:

– Эй, кто там ходит? Спускайтесь! Спускайтесь, или я вызову полицию!

Ответ следует почти незамедлительно.

– Не нужно никакой полиции. Я спускаюсь.

Голос явно принадлежит мужчине, и в нем нет никакой агрессии. Облегчение, которое я испытываю, не поддается никакому описанию, этот голос можно рассматривать как союзника. Запоздалая мысль, которая приходит мне в голову: хорошо, что это не

Анук. Анук умерла бы со смеху, увидев меня с лопатой – бледного, трясущегося от страха, с окровавленным ртом.

– Я уже иду, – подбадривает меня голос. – Уже!

Спустя несколько секунд хозяин голоса появляется на лестнице.

Портье из «Ламартин Опера», анемичный тип с зализанными волосами и опереточными иероглифами на плече.

ТЬфу ты, черт.

– Это вы? – Странно, но парень не кажется удивленным. – Вы меня не узнаете? Мы ведь уже как-то виделись, правда? Вы приходили к нам в гостиницу в мае.

– Что вы здесь делаете?

– Было открыто – и я зашел.

– Что значит – «открыто»?

– Дверь была не заперта. И, по-моему, там вообще висела табличка...

Если сосунок имеет в виду белый прямоугольник с надписью «OUVERT», то он уже месяц валяется в подсобке, к тому же у меня нет привычки не запирасть дверь.

– Нет там никакой таблички. Магазин закрыт. И уже давно.

– Я не знал, – надо признать, что парень держится молодцом, почти как его любимые летчики-камикадзе. – Просто было открыто, и я вошел.

– Магазин закрыт. Его больше нет.

– Я не знал. Я давно здесь не был.

– В любом случае – время для визитов неподходящее, – я постепенно начинаю успокаиваться.

– Старые хозяева иногда разрешали мне задержаться здесь ненадолго... Вы, очевидно, новый?

– Очевидно,

Рано я успокоился.

Слова портье почему-то задевают меня, я даже начинаю испытывать чувство, отдаленно напоминающее ревность. Линн не все мне рассказала, выходит, она знала этого мелкотравчатого деятеля гостиничного бизнеса, этот жалкий придаток к регистрационной стойке. Линн не все мне рассказала, далеко не все; ну что ж, когда манипулируешь людьми ты сам, нет смысла надеяться, что тебе не ответят тем же другие.

– Не волнуйтесь, я сейчас уйду, – на нейтральной территории парень гораздо более корректен, чем у себя в «Ламартин Опера».

– Я не волнуюсь. Так вы хорошо знали прежних хозяев?

– Я просто иногда покупал здесь книги.

– И все?

– Почти.

«Почти» – словечко такое же скользкое, как тела улиток, копошащихся на клумбе. За этим «почти»

может скрываться все, что угодно, но думать об этом так же бессмысленно, как и ревновать юнца к умершей Линн,

— А привилегия оставаться здесь после закрытия — с чего это вдруг?

— Видите ли... Мой дед... До войны он владел этим магазином. То есть... тогда это был не магазин. Не букинистический магазин. «Лавка колониальных товаров», так это называлось. Знаете, из тех лавок, которые любят дети и их юные няни, мечтающие об индийском радже.

— Ну и что?

— А потом здесь появились другие люди. После войны. Я сам узнал о магазине несколько лет назад.

— Ясно. — Я прячу лопату за спину. — И вы рассказали эту душещипательную историю бывшим хозяевам?

— Да. Можно сказать и так. И они иногда разрешали мне...

Слушать о том, что именно разрешала Линн этому сосунку, я не намерен. Иначе я рискую получить жизнеописание подвигов сосункового деда, соратника де Голля и личного друга генерала Монтгомери, не иначе.

— Хозяин теперь я.

— Значит, букинистического здесь больше не будет?

— Скорее всего.

– А книги? Куда вы их денете?

– Еще не знаю.

Самураишка из «Ламартин Опера» криво улыбается: уж он-то наверняка бы знал, что делать с книгами. Неизвестно, чем он занимался там, на втором этаже, быть может, так же касался корешков, как и сейчас, и здесь – на первом. Линн, вот кто бы оценил этот (почти бессознательный) жест по достоинству. Я – не Линн, оценить красоту жеста или его бесстыдство я не в состоянии; по мне так от него за версту прет бестолковой возней на заднем ряду в кинотеатре, расстегнутыми пуговицами на джинсах и блузке, волосами, забившимися в рот. Самураишка не просто касается корешков книг, он их лапает, так, по крайней мере, это выглядит со стороны.

Я несправедлив.

Я несправедлив хотя бы потому, что самим книгам это нравится, они так и льнут к пальцам сосунка, я отчетливо это вижу.

– Вы не любите книги, правда?

– Почему?

– Откуда же мне знать – почему? – Гостиничный наглец с трудом отлипает от полок. – Не любить книги – большая ошибка.

– Неужели?

– Человеческая судьба – не что иное, как последовательность прочитанных книг...

– Букинистического здесь больше не будет. В

любом случае. — Не хватало еще мне философствований с заднего ряда кинотеатра.

Жаль.

Ничего похожего на жалость, в голосе гостиничного портье звучит скрытая угроза, ее природа совершенно не ясна мне. Он засовывает руку в задний карман джинсов; lieutenant, приятель Линн, вытащил бы пистолет; испанец, приятель Линн, вытащил бы горсть каштанов; что вытащил бы Эрве Нанту — неизвестно, парень же вытаскивает мятую сигарету. И щелкает зажигалкой.

— Что будет с книгами? — спрашивает он через минуту.

— Хотите их забрать?

— А можно? Не все, всего лишь несколько...

— Не терпится заглянуть в конец? — немудреная мысль о последовательности прочитанных книг крепко засела у меня в голове, вот черт.

— Да нет. Я уже знаю, каким будет конец.

И снова мне чудится скрытая угроза в его голосе, облепленном табачными крошками. Сигарета, которую курит портье, — без фильтра, я только теперь понял: он все время отплевывается, совершенно машинально. Я и сам точно так же отплевывался каких-нибудь двадцать минут назад. Мысль об этом тотчас же возвращает меня во внутренний дворик, к пинии, квадрату света на мягкой хвое и силуэту в окне.

- Вам лучше уйти, молодой человек.
- Я понимаю. Я могу взять книги?
- Не сегодня. Приходите в другой раз.
- Хорошо.

Вряд ли «другой раз» наступит, вряд ли доморощенный самурай когда-нибудь еще придет сюда: и он, и я это понимаем. Скорее всего, портье из «Ламартин Опера» будет лапать своих подружек в твердых переплетах в другом месте. Атабак, который он курит, понравился бы Тьерри Франсуа.

Наверняка.

Разговаривать больше не о чем. Волоча за собой лопату, я – вслед за ушедшим парнем – отправляюсь к двери и закрываю ее на ключ. Лопата – вот что поможет мне избавиться от улиток.

Если, конечно, я захочу от них избавиться.

PARIS LOUNGE: ROUND ABOUT MIDNIGHT⁶⁴

– ... Препаскуднейшее это было дело, малыш, вот что я тебе скажу. Препаскуднейший это был тип – Тьерри Франсуа.

– Да, мсье Дютронк. Дело было отвратительное. Я поднимал архивы.

– Семь жертв, убитых самым гнусным, самым извращенным способом. И это только то, что нам удалось доказать. Уж на что я, тертый калач, всю жизнь в полиции проработал, а подобного дела и не упомяну. И теперь вспоминать не хочу. Не так уж много мне осталось на этом свете. Лучше уж думать о чем-нибудь хорошем. Прав я, Дидье, а?

– Да, мсье Дютронк. Я поднимал архивы. Здорово вы распутали это дело.

– И стал комиссаром. Лучше уж никогда не становиться комиссаром, лишь бы поменьше было таких дел. На жертвы лучше было и не смотреть, так он их кромсал. Что твой сатана души грешников в аду. Франсис Тренэ, парень, который работал со мной на этом деле, – тот так вообще уволился из полиции – еще до того, как повесили этого стервеца Тьерри. Нервы не выдержали. А Франсис был головастый парень. Интеллектуал, как принято было тогда

называть таких головастых.

– И сейчас так называют.

– Вот видишь – времена, как и люди, не меняются. Если бы не Франсис – увидели бы мы не Тьерри Франсуа, а от мертвого осла уши. Я всегда ему говорил – наша работа для тех, кто, разгребая дерьмо, не надевает на нос прищепку. А к запаху дерьма еще надо привыкнуть, нормальный человек и связываться с этим не станет. Прав я, Дидье, а?

– Еще как правы, мсье Дютронк... И что же он совершил такого выдающегося? Этот ваш Франсис Тренэ?

– Прочел чуть больше книжек, чем мы с тобой, малыш. Представь себе книжного червя с вечно расстегнутой кобурой на брюхе – это и будет Франсис.

– Он всегда готов был пустить пушку в дело?

– Э-э, не скажи. В том-то весь и фокус, что кобура у него была пустой. Оружия Франсис не любил. И в дело чаще пускал мозги. И это совсем неплохо у него получалось. Хоть он и казался мне странным типом, еще каким странным, но убийцу-то он вычислил. Тут уж не прибавить, не убавить.

– Так это ему первому пришла в голову мысль о тетраграмме?

– Ну уж не мне – точно. Я до сих пор это слово выговорить не могу. И то, что оно означает. Непроизносимое имя Бога – так говорил Франсис. И

мне так будет сподручнее.

– Речь ведь шла о четырех буквах – YHVH. Йод-Хе-Вау-Хе.

– Лучше бы ты не произносил их вслух, малыш. Как и положено. У меня до сих пор от этих букв мороз по коже.

– Я понимаю, мсье Дютронк. Просто бы хотелось кое-что прояснить для себя.

– Тут я тебе не помощник, Дидье. Не силен я во всей этой кабалистике. Тебе бы с Франсисом об этом поговорить.

– Этого хотелось бы тоже...

– Вот только боюсь, что ничего не получится.

– Почему? Вы-то наверняка знаете, как с ним связаться.

– Раньше – знал. Когда мы загоняли в угол эту пададь, Тьери Франсуа.

– Значит, вы не виделись с ним после того, как он ушел из полиции?

– Виделись один раз. Вдень, когда Тьери повесили. Пропустили по пивку по этому поводу. Хотя вернее будет сказать, что пиво пил я, а он ограничился кофе без сахара. Тогда-то он мне и сообщил, что хочет уехать из страны.

– Куда?

– Вроде как куда-то на Восток, ловить змей.

– Змей? Почему змей?

– Уж лучше ловить змей, чем маньяков, сказал мне

Франсис, нервишки у него были ни к черту, это точно. И ведь уехал, Дидье. Вот так-то.

— На Восток? А куда именно на Восток?

— Меня он в это не посвящал. Только думаю, что он и сам не знал тогда, куда отправится.

— И вы больше ничего о нем не слыхали?

— Ничего.

— И он ни разу не давал о себе знать?

— Боюсь, что нет, малыш. Правда, однажды я видел его по ящику, хе-хе... Хотя вернее будет сказать, что и не его вовсе, а какого-то актера в американском фильме. Но уж больно на Франсиса похожего. Потом всю ночь не мог заснуть — не очень-то я люблю вспоминать о Франсисе. Хотя парень он был замечательный.

— И странный?

— Одно другому не мешает.

— Почему тогда не любите вспоминать?

— Вспомнишь о Франсисе — вспомнишь и о Тьери, и о семи невинных, которых он разделал, как мясник. Три мужчины и четыре женщины, не знавшие ни Тьери, ни друг друга. И у двоих из них фамилии начинались на «а», у одного — на «о», а у четверых — сам знаешь на что.

— YNVN. Йод-Хе-Вау-Хе.

— Лучше бы тебе не трепать эти буквы. Вдруг произнесешь их правильно.

— И что тогда?

– Вселенная рассыплется в пыль. Ты же читал материалы дела.

– Этого там не было.

– Разве?

– Было довольно развернутое заключение специалистов-религиоведов, где объяснялась вся эта казуистика с буквами. Йод – отец, первое Хе – мать, Вау – сын, второе Хе – дочь. А само имя – не что иное, как формула сотворения мира. А в европейских языках звучит это как Яхве. Или Иегова, если добавить гласные из слова Адонай, что значит господин. Как добавляли средневековые толкователи Торы.

– Хочешь прочесть мне лекцию?

– Нет.

– Оно и верно, малыш Дидье. Я и тогда ничего в этом не понимал, что уж говорить про сейчас. Яне понимал, а Франсис понял. Эти семеро были виноваты только в том, что фамилии их начинались на эти проклятые буквы. И в том, что они попались на глаза Тьери. Первым был американец Стивен Йорк, отец двух детей, он тоже как-то заглянул в магазин Тьери. Чтобы купить детишкам книжку-раскраску. Все они были там, хотя бы раз – но были: и чьи-то матери, и чьи-то дочери, и отцы, и сыновья. А он убил их всех. Франсис говорил, что Тьери создал какой-то там культ. А может, и не создал, а просто подглядел где-то уже готовый. Ну это как проклятую букву «а»

написать впервые. И не напишешь ведь, пока кто-нибудь не покажет тебе, как именно ее писать. Пока кто-нибудь не ткнет тебя в нее носом. А Тьери... Уж очень ему хотелось правильно произнести непроизносимое имя. Пусть и разными голосами, пусть и из перерезанных глоток.

– Разными голосами?

– Ты же читал дело, Дидье. И ты должен бы знать, что он делал с телами. Что он делал с костями, которые вытаскивал из тел, что твой хирург.

– Что-то вроде музыкальных инструментов. Маленьких дудочек.

– Или манков для птиц. Семь невинно убиенных – семь дудок, самых разных. А может, и иерихонских труб, кто знает. Из них он хотел выдуть имя Бога. И знаешь, что бы из этого получилось, малыш? Если бы ему все-таки удалось...

– Что?

– Он мог бы попросить у Бога все, что пожелает. Так говорил Франсис. И ему я верю больше, чем всем твоим специалистам... религию, мать их, ведам. Он мог бы получить от Бога все, что хотел, этот сукин сын Тьери Франсуа. А получил веревку. Так-то, Дидье.

– В деле были показания некоей мадемуазель Линн Нугаро...

– погоди, малыш, дай-ка вспомнить... Была такая Линн Нугаро, была. Торговала стиральным порошком

в магазинчике через два дома.

— Ну и память у вас, мсье Дютронк!

— Память... Память, Дидье, это точно... Только я бы давно снес ее в ломбард, если бы мог. Память моя засрана вконец такими ублюдками, как Тьери Франсуа. И никакой ассенизатор тут не поможет, у этой выгребной ямы дна нет. Ты и сам это знаешь, малыш. Можно, конечно, сделать эту... как ее... лобо... лобо...

— Лоботомию?

— Вот-вот, лоботомию. И стану я счастливым идиотом, что твой лимон. Я ведь лимоны стал выращивать с тех пор, как на пенсию вышел...

— Я так понял, что эта самая Линн Нугаро была хорошей приятельницей Тьери.

— Бери выше, малыш. Она была его девушкой, без пяти минут невестой. Я вот думал тогда, что общего может быть между простой продавщицей и таким умным, таким начитанным засранцем, как этот Тьери Франсуа? Специалистом по оккультизму и любителем сдирать кожу... Или то, что он был владельцем книжного магазина...

— Букинистического...

— Букинистического, книжного — один черт. То, что он был при книжках, — это ее увлекло? Что общего между ними было?

— Не знаю. Может быть, секс...

— Ну да, Дидье. Ты молодой, тебе виднее. Только

секс в наше время назывался любовью, вот так.

– А она его любила?

– Похоже, что любила. Да и он... Канючил на допросах, чтобы мы не втягивали в это дело его обожаемую девочку. Как это он ее называл... Чудно так. Линн – рубиновое сердечко. Что, мол-де, узнает она о его подвигах – и разобьется ее рубиновое сердечко. Такой это был тип, Тьери Франсуа.

– Сволочь.

– Хуже. Только, похоже, его любовь и не знала, какой сволочью он был. Каким ублюдком.

– Его любовь? Линн Нугаро?..

– Да нет. Просто – его любовь. Сидела где-то там внутри него и ведать не ведала, чем промышляет ее хозяин. Любовь ведь всегда узнает обо всем последней, вот так.

– А сама Линн?

– Ну и Линн, понятное дело, ничего не знала тоже. Кто бы стал рассказывать рубиновому сердечку о том, как пахнет только что освежеванное человеческое мясо? Никто.

Жалко мне было эту Линн, да и скрыть ничего было нельзя. Все газеты писали тогда о Тьери Франсуа, парижском потрошителе... Она так до конца в это и не поверила, Линн Нугаро. В то, что ее парень – убийца. А может, и поверила, да только нам не сказала. Не знаю уж, что потом с ней случилось.

– Она умерла в прошлом году. А до этого так и

работала в том магазинчике. Через два дома от букинистического Тьеры Франсуа. Продавщицей моющих средств. Она так и не вышла замуж. Ни за кого.

— Умерла, говоришь? Ну что ж, она все же молодец, верная Линн. Такой верности нынче не встретишь, а, Дидье?

— Может, и не встретишь...

— И такого мужества — тоже. Больше тридцати лет прожить с памятью о парне, которого любила и который оказался мясником — и только потом умереть. Она молодец. Линн — рубиновое сердечко, надо же. А она называла его Стрижом. Этого подонка Тьеры Франсуа.

— Как?

— Стрижом. Есть такая птица, малыш.

— Я знаю.

— Невинная птица, легковерная. Совсем не то, что Тьеры.

— А что это вообще был за тип — Тьеры Франсуа?

— Самый обычный тип, каких девять на десяток. В меру интеллигентный, чистенький, такому можно и бумажник доверить. Ничего маньяческого в нем не было, если ты это имеешь в виду, малыш. Безоблачное детство в Нанси, лучший ученик в школе, гордость родителей. Только учиться дальше он почему-то не стал, перебрался в Париж, к крестному. Крестный-то как раз и заправлял в букинистическом

до Тъери. А потом погиб где-то в Швейцарских Альпах, в автокатастрофе.

— И Тъери стал законным владельцем магазина?

— Завещание было оформлено на него, вот так. Нет, ничего маньяческого в нем не было, непонятно только, где этого ублюдка перемкнуло.

— Да. Как-то не вяжется безоблачное детство в Нанси с разделанными трупами.

— У Франсиса была на этот счет своя теория.

— Какая?

— Какая теория может быть у книжного червя? Книжная, конечно. Я уж и подзабыл, в чем она заключалась. Но что-то вроде того, что без подлючей книжки не обошлось. Книга, вот что сбило его с толку. Книги, как и женщины, слишком много обещают, говорил Франсис. И почти всегда обманывают, а некоторые, особо впечатлительные натуры, не могут этого пережить.

— Да ладно, мсье Дютронк. Книги-то здесь причем?

— Вот и я всегда так думал, Дидье. Потому и считал Франсиса странным типом. Когда Тъери Франсуа прижали к стенке и отправили в каталажку, дожидаться виселицы, Франсис не вылезал из этого чертова книжного, все что-то искал там.

— Нашел?

— Не знаю. Даже если Франсис что-то там и нашел, со мной он не посчитал нужным поделиться. Только

думаю, что ничего он там не обнаружил. Иначе не к змеям бы отправился.

— А к кому?

— Почему же мне знать? А и знал бы — не сказал...

— Он допрашивал Тъери?

— Допрашивал его я, Франсису Тъери был не по зубам. Но парой слов они все оке перекинулись. Правда, смысла их я так и не понял. Говорили они не на французском.

— А на каком?

— Не знаю, малыш. И нельзя сказать, что Тъери стал после этого колоться, как гнилой орех. Раскололся он позже, много позже... Да-а... Каких только недоносков не встретишь при нашей-то работе.

— Да, мсье Дютронк. Каких только не встретишь... Кстати, смерть Линн Нугаро тоже была не совсем обычной...

— Я теперь в отставке, Дидье. И не хочу ничего знать о смертях. Не так уж много мне осталось на этом свете. Я теперь лимоны выращиваю.

— Хорошее дело, мсье Дютронк.

— Еще бы не хорошее.

— А от этого Тъери ничего не осталось? Никаких дневников?

— Нет. Никаких дневников не было. А может, и были, да только мы их не нашли.

— Все-таки — владелец букинистического,

начитанный человек. Неужели никаких дневников? Они ведь любят вести дневники, серийные убийцы. Все, через одного. У них и философия имеется, какое же убийство без философии?

— Ты мне про философию волынку не заводи, малыш. Убийство есть убийство. И неважно, из каких соображений ты спускаешь шкуру с человека. Ты ее спускаешь — и все.

— И все-таки...

— Ну это вы теперь все умные стали. Все знаете про серийных убийц, в психологии их роетесь, как крысы в помойке. А для меня он просто душегуб. И ничего я про его психологию знать не хочу. Вот так-то, Дидье. Пойдем-ка лучше, пропустим по кружечке пивка, и я тебе о своих лимонах расскажу. А про это дело больше не спрашивай. Вот так.

СТРАСТОЦВЕТ

...Надо же, я даже помню ее имя.

Софья Горская. «Сонья», как говорит этот чертов коротышка Дидье. Интересно, зачем она здесь, ведь нам с коротышкой не нужен переводчик. К тому же я соскучился по французскому языку, его ничего не может испортить, даже растущие вкривь и вкось зубы Дидье, аккуратно, с двух концов надкусывающие каждое слово.

Зачем она здесь?

И почему ее лицо кажется мне смутно знакомым? Неужели все дело в азиатском разрезе глаз?.. В нашу первую встречу я не обратил на это внимания, я был слишком занят липкой бланшаровской паутиной, набившейся мне в рот. Но сейчас я точно могу сказать – она определенно на кого-то похожа.

На Лилу, манекенщицу из моей юности, севшую в чей-то «Порше», чтобы умереть? На Лулу, подружку Маджонга? Или на кого-то еще? На кого-то еще, так будет вернее. Через секунду из темной, покрытой бликами воды прошлого, ко мне приходит еще одно имя.

О-Сими.

О-Сими, карманная японка, фотографировавшаяся со мной на речном кораблике. О-Сими, подруга Омацу, О-Сими, почти забытая мной. Вот откуда

блики – вся Сена была в разноцветных бликах, и О-Сими очень не нравилась Линн. Линн давно уже нет, но мне не хочется об этом вспоминать, как и обо всем остальном. Прежде всего – об улитках, я так и не нашел в себе силы, чтобы с ними расправиться. В моем доме в Музайя, набитом вещами доме, нет никаких улиток. Вот только иногда, глубокой ночью, мне слышится их призывное «Крэк, крэк, крэк», и я знаю, что обычно следует за этим. Мои ладони покрываются сукровицей, она неоднородна, так что временами странные линии на моих руках можно принять за вполне осмысленный узор. Примерно такой же, какой украшает ладони Али, хозяина лавки в Бельвиле. Мне хочется думать – что такой же, возможно – это изречения из Корана, возможно – что-то иное... Мне хочется так думать, но в том, что узор чаще похож на зарисованный Тьерри Франсуа орнамент в стиле платереско, – в этом я боюсь признаться даже себе.

Я знаю, что обычно следует за этим.

Я отправляюсь в душ и пытаюсь закурить самокрутку под плотными, весело бьющими струями. Я извел тысячи самокруток, но ни одна из них не осталась сухой.

Это только я всегда выхожу сухим из воды.

Я – бедный сиамский братец, король запахов, прописавшийся на страницах гламурных журналов, владелец раскрученного до тошноты брэнда и без

пяти минут владелец собственной парфюмерной империи.

Вот только птицу я так и не нашел. И это единственное, что отравляет мне жизнь. Кроме жалкого коротышки Дидье Бланшара, сидящего напротив.

– Если вы опять собираетесь расспрашивать меня о смерти Мари-Кристин – мне больше нечего вам сказать.

Нет, мсье Кутарба. Я не собираюсь расспрашивать вас о смерти мадам Сават. Похоже, вы были правы. И ее смерть не имеет к вам никакого отношения. Есть, конечно, косвенные улики, я имею в виду показания нескольких свидетелей, но для возбуждения уголовного дела этого маловато. – Бланшар смотрит на меня с плохо скрытой ненавистью.

– Значит, я больше не подозреваемый?

– Мне хотелось бы поговорить с вами совсем о других смертях. Так, в порядке частной беседы.

– Я могу отказаться от нее?

– Можете. Но лучше бы вам этого не делать, – проклятая бланшаровская паутина снова лезет мне в рот.

– Я готов, мсье Бланшар. Я готов ответить на все ваши вопросы.

– Очень хорошо. Расскажите-ка мне о Линн Нугаро,

Линн. При чем здесь Линн? Линн давно умерла, но

не стану же я рассказывать этому полицейскому псу об улитках, погубивших ее. И откуда Бланшар узнал о Линн?

– О Линн Нугаро? – Я пытаюсь выиграть время.

– Вам ведь знакомо это имя?

– Да.

– И сама Линн.

– Да.

– Как вы с ней познакомились?

– Случайно. Я зашел в ее магазин. Букинистический магазин. Я искал одну редкую книгу, и мы разговорились.

– Значит, вы познакомились в букинистическом магазине, владелицей которого она была?.. Интересно, – Бланшар явно удивлен, но причин его удивления я понять не могу. – Вы часто с ней виделись?

– Нечасто. Только тогда, когда приходил к ней в букинистический.

– Вы встречались только в... букинистическом?

– В общем, да.

– И никаких кафе?

– Может быть... Один или два раза. Не помню точно.

– Вас неоднократно видели вместе во Французской Синематеке.

Прямо на моих глазах кривые зубы Бланшара вытягиваются, превращаясь во вполне осмысленные

клыки. И как только он пронюхал про Французскую Синематеку? Очевидно, бегал где-то поблизости, задирая заднюю ногу у коробок с пленками.

– Может быть... Один или два раза.

– Один или два... Что вы обычно смотрели?

– Не помню. Кажется, какие-то детективы. Линн...
Мадам Нугаро нравились детективы.

– Кафе, кино... Многовато для случайного знакомства в букинистическом. Может, были еще какие-нибудь специфические развлечения?

– Какие?

– Ну, не знаю... Поездки по ночной Сене, например. Есть даже фотографии этого вашего времяпрепровождения.

– Фотографии? Может, это был случайный снимок? – Откуда коротышка может знать о нашей поездке на Бато Муш?.. Я плаваю в собственной голове, самый настоящий обломок кораблекрушения, я пытаюсь уцепиться хоть за что-то. Безрезультатно.

– Случайный? Да как сказать... В мае теперь уже позапрошлого года... вы совершали экскурсию по Сене на прогулочном пароходике и познакомились там с двумя японками.

– Мне трудно вспомнить, что происходило в мае позапрошлого года...

– Ну конечно. Память-то у всех разная.

На лицо Бланшара падает тень от птичьего крыла, щеки и подбородок покрываются узкими полосками

слизи, память у всех разная. Разная. Разная.

— Вы познакомились с двумя японками и представили мадам Линн Нугаро как свою подругу.

— Может быть. Я помню двух японок, да.

— Они попросили вас сфотографироваться.

— Теперь я припоминаю. Одна из них попросила меня попозировать на фоне ночной Сены. И сняться вместе с ней.

— Зачем?

— Не знаю.

— А зачем нужно было представлять мадам Нугаро? Это было обязательным условием съемки?

— Нет, конечно. Они представились, и я представил свою спутницу.

— Вы тоже представились?

— Не помню...

Кристобаль, одинокий молодой испанец в Париже, начинающий писатель, так и не написавший ни строчки. Кристобалем я был только для Линн, она так и не узнала, что самое обычное испанское слово «платеро» я впервые услышал от нее.

— Тогда, может быть, я напому вам, мсье Кутарба. Вы назвались Кристобалем. Кристобаль — испанское имя. Но вы ведь не испанец?

— Нет.

— Тогда почему вы назвались Кристобалем?

— Это было случайное, ни к чему не обязывающее знакомство. Я мог назваться кем угодно. Разве это

противозаконно?

– Линн Нугаро тоже знала вас как Кристобаля? Подумайте, мсье Кутарба. Подумайте, прежде чем ответить.

Ведь она не удивилась, когда вы произнесли это имя вслух, не так ли?

– Я не буду отвечать на этот вопрос.

– Как звали японок, с которыми вы познакомились на корабле?

– Не помню... У японцев вообще трудные имена.

– Не такие уж трудные, как кажется на первый взгляд. Мадемуазель О-Сими и мадемуазель Омацу. Я прав?

– Да, кажется, их звали именно так.

– Больше вы с ними не встречались?

– Нет.

– И не оставляли записку мадемуазель О-Сими в гостинице «Ламартин Опера»?

«Ламартин Опера», жалкая дыра эконом-класса с таким же жалким портье. «Ламартин Опера», до которой можно добраться лишь на лиссабонском фуникулере с хлопающими дверями, придерживая рукой шляпу, подаренную Мари-Кристин; до которой можно добраться, лишь передавив все вишневые косточки в жинье, влажные от любви.

– В гостинице «Ламартин Опера»?

– Вы были там и оставили портье записку для мадемуазель О-Сими Томомори, проживающей в

двенадцатом номере. Зачем вы оставили ей записку?

— Не помню... Возможно, я действительно оставлял записку. Она сообщила мне адрес своей гостиницы еще там, на корабле. Возможно, я хотел встретиться.

Глупо объяснять полицейскому инспектору, что я оставил записку лишь в пику не понравившемуся мне анемичному типу с иероглифами на плече.

— Вы назначили ей свидание на площади Республики. Записка сохранилась, и она написана вашей рукой.

— Я же не отрицаю, что писал эту записку...

— Свидание на площади Республики состоялось?

— Нет.

— Почему?

— Не помню. Кажется, вечером у меня была важная встреча.

— С кем?

— Не помню. Я видел мадемуазель О-Сими только один раз — на корабле.

— А портье гостиницы, мсье Эрве Нанту, утверждает обратное. Он несколько раз видел вас в гостинице. Вы оставались в номере мадемуазель О-Сими на ночь. И не один раз.

— Как вы сказали? Мсье Нанту? Эрве Нанту?

— Вижу, вам знакомо это имя.

Кем бы он ни был, этот парень из гостиницы, но Эрве Нанту он быть не может. Бумажных гепардов

Джой Адамсон ему ни за что не приручить.

– Он не Эрве Нанту.

– Ну да. А я – не Дидье Бланшар. А вы – не Ги Кутарба... Вы были в номере мадемуазель О-Сими?

– Нет.

– А портье утверждает, что были. Какой ему смысл врать?

– Не знаю.

– Мадемуазель О-Сими Томомори была зверски убита в мае позапрошлого года.

Зверски. Убита. Голос Бланшара едва доносится до меня. Миниатюрная О-Сими, оставившая гравюры Утамаро ради плоских японских анимэ, наверняка это Омацу ее подбила, наверняка. Интересно, в чем была О-Сими, когда ее зверски убивали? В коротенькой школьной юбке и галстучке?.. Интересно, какой она была, когда ее зверски убивали? С глазами в поллица, крошечным носиком и булавочным ртом, на который и бабочку не наколешь?..

– Она была застрелена из пистолета в затылок, Bang. Bang. BangBangBang.

Представляю, сколько cartoon-крови вылилось из затылка О-Сими: бурно фонтанирующий столб, не иначе.

– Соболезную. Но я-то тут причем?

– У вас был с ней роман?

– Нет. Я видел ее один раз. Во время экскурсии по Сене. Я уже говорил.

– Вы подарили ей кольцо.

– Какое кольцо?

– Серебряное. С надписью «Carpe Daim»,

«Береги кольцо, Гай. Это важно», – говорила мне Анук. Разве я не берег его? Я берег кольцо даже от собственных глаз, от собственной кожи, упорно не желающей стареть, за последний год ни одной новой морщины не появилось. Конечно, мне далеко до Анука, она выглядит на восемнадцать. Или – на семнадцать, которым хочется поскорее вырасти. А мне хочется стареть вместе с кольцом, подаренным Ануком; кольцом, скатившимся с кончика ее языка.

Разве я не берег кольцо? Я даже спрятал его в маленьком тайнике на втором этаже. На одной из полок, за книгой Макса Фриша.

«Монток».

Я так и не удостоился прочесть ее, боязнь снова наткнуться на Линн – русалку и немножко бонну – слишком велика. Тайник куда меньше, я нашел его случайно, небольшой ящичек, шесть улиток в длину и четыре в ширину, интересно, какие тайны прятала в нем Линн?..

– Вы подарили ей кольцо.

– Нет, я не дарил ей кольца.

– Это ведь ваше кольцо. Портье видел его у вас на мизинце.

– Я не дарил ей кольца.

– Вот, взгляните на фотографию. Это ваше

кольцо?

«Carpe Daim». Символы на внешней стороне и два магических квадрата на внутренней; два квадрата, зеркально повторяющие друг друга, как наши с Анук шрамы.

– Вы узнаете кольцо?

– Я не дарил ей кольца.

– Вы убили мадемуазель О-Сими Томомори?

– Я не дарил ей кольца.

– Ее тело обнаружено во внутреннем дворе букинистического, под одной из клумб. Того самого букинистического, владельцем которого вы на данный момент являетесь. А на втором этаже обнаружен тайник с пистолетом. Армейский MAS калибра девять миллиметров. Тайник находится за книгой Макса Фриша...

– «Монток». Я знаю, – совершенно машинально говорю я.

MAS. Армейский MAS калибра девять миллиметров, который я скинул в сумку меломана в «Monster Melodies». Как он мог оказаться в тайнике и каким образом оттуда исчезло кольцо?..

– Вы убили мадемуазель О-Сими Томомори?

– Я не дарил ей кольца.

– Вы убили мадемуазель О-Сими Томомори, а тело зарыли в одной из клумб внутреннего дворика. Вас несколько раз видели с лопатой у этой клумбы.

– Я просто хотел избавиться от улиток. На

папоротниках полно улиток.

– Избавились?

– Нет. И никто не мог видеть меня во внутреннем дворике.

– Ошибаетесь, мсье Кутарба. Жилец из окна напротив видел вас. Во внутренний дворик, как вы знаете, выходит окно. На северной стене.

– Окно на северной стене заложено кирпичами.

– Да нет, оно живо и здорово, а вот окно на восточной стене действительно заложено кирпичами.

– Вы что-то путаете, мсье Бланшар.

Бланшар придвигается ко мне так близко, что кажется: еще секунда, и его клыки вопьются мне в шею.

– Это ты запутался, парень. И, боюсь, тебе не выпутаться.

– Никто не мог видеть меня во внутреннем дворике. – Об улыбке убийцы я предпочитаю не вспоминать.

– Ошибаетесь, мсье Кутарба. Квартира, окно которой выходит во дворик букинистического, принадлежит мсье Огюсту Ферлану. Пожилой человек, ветеран алжирской войны. Он-то и видел, как вы орудовали лопатой. И сообщил об этом нам.

– Я просто хотел избавиться от улиток.

Я просто хотел избавиться от улиток – так же, как lieutenant пытался избавиться от памяти об Алжире. Я просто хотел избавиться от улиток и так и не смог

избавиться от них – так же, как lieutenant не смог избавиться от фотографии двух казненных феллахов с членами, заткнутыми в рот. Теперь я знаю, как его зовут, – Огюст Ферлан, не такое уж трудное имя.

– Кстати, у вас в особняке на улице Музайя мы тоже нашли кое-что интересное.

Напольные вазы, переносные ширмы, воздушные змеи, морские раковины, африканские и венецианские маски, кресла-качалки, курительницы для благовоний, неработающие игровые автоматы, светильники в виде бивней слонов и бивни слонов в чистом виде, ничего другого там нет. Интересно, что могло приглянуться Бланшару и его своре?

– Что же именно вы нашли?

– Дневник. Дневник некоего Тьерри Франсуа. Правда, записей там немного, его и дневником назвать трудно.

– Это ежедневник.

– Ежедневник, да. А записи в основном ваши, перечень каких-то растений.

– Это букеты ароматов. Я составляю композиции для духов. Я парфюмер.

– Не стоит лишний раз напоминать мне об этом. – Сегодня от Бланшара уже не тащит «Minoritaire», я только сейчас это заметил, странно. – Я в курсе дела. Как дневник оказался у вас?

– Я купил его у Линн... У мадам Нугаро. В нашу первую встречу в букинистическом.

– Вы знаете, кто такой Тьери Франсуа?
– Нет. Кажется, это давний друг Линн.
– Мадам Линн Нугаро, прежней, как вы утверждаете, владелицы букинистического?

– Да.

– Не морочьте мне голову, Ги! – Бланшар впервые называет меня по имени. – Я понимаю, ваше положение не из легких. Но морочить мне голову не следует. Линн Нугаро никогда не была владелицей букинистического. Она работала продавщицей в магазине, торговала стиральными порошками.

– О чем вы говорите, Бланшар?

– Линн Нугаро никогда не была владелицей букинистического. Когда-то он принадлежал Тьери Франсуа по кличке Стриж. Серийному убийце Тьери Франсуа, повешенному в декабре семидесятого года. Вы знали об этом?..

Тьери Франсуа. Тьери Франсуа по кличке Стриж. Как я мог знать, что Тьери Франсуа и страховой агент Стриж – одно и то же лицо? Скорее всего, то самое лицо, которое когда-то я увидел в бокале с мадерой, а затем – в окне на восточной стене.

Стриж.

«Ищи птицу, Гай», – сказала мне Анук. Все так просто, жаль, что я не понял этого раньше.

Стриж, единственный, кто раскрывал книгу «Ars Moriendi». Единственный из тех, кого я знаю. Стриж по-французски будет le martinet, отсюда и

«Милосердие святого Мартина». Я столько раз видел эту картину, я и представить себе не мог, что это подсказка, великодушно подаренная мне Анук. Но так мной и не замеченная.

Мне не нужно было ждать крапивников, они бы все равно не прилетели. Не в этом ли заключалось милосердие святого Мартина? Милосердие дневной его стороны. Или ночной?..

— Вам нехорошо, мсье Кутарба? — в голосе Бланшара слышится неожиданное сострадание.

— Все в порядке, Бланшар. Все в порядке.

— Почему вы купили этот магазин?

— Мне понравилось место.

— Место, где можно легко спрятать тело убитого вами человека? Вы убили мадемуазель О-Сими Томомори?

— Я не дарил ей кольца, — кольцо волнует меня неизмеримо больше, чем японская анимация.

— Вы ведь родились в России?

— Да. Но я много лет живу во Франции. Я — гражданин Франции.

— Но родились в России.

— Да.

— Вы ведь знакомы с мадемуазель Сонья?

Софья Горская, сидящая так тихо, что я и думать о ней забыл, смотрит на меня широко раскрытыми азиатскими глазами.

— Да. В прошлый раз мы были представлены друг

другу.

– Признаться, поначалу я слукавил, мсье Кутарба. Сонья не только переводчик. Она так же, как и я, работает в полиции. В русской полиции. Она кое-что узнала о вашей жизни в России. До того, как вы стали гражданином Франции. Задолго до того. Расскажите мне о вашей семье.

– У меня нет семьи.

Ты можешь не волноваться, Анук, я никогда не предам тебя. Никогда.

– У вас была сестра, правда?

– Я не хочу это обсуждать.

– Я понимаю. Вы тяжело пережили ее смерть.

– Смерть Анук? – не выдерживаю я. – Кто вам сказал, что Анук умерла?

– Есть документальное свидетельство о ее смерти. Она умерла от аневризма в возрасте шестнадцати лет.

– Кто вам сказал, что Анук умерла?

– Значит, она не умерла?

– Я не буду отвечать. Я не буду отвечать. Я не буду отвечать...

...Отражения в несуществующих зеркалах множатся и накладываются друг на друга. Кем была Линн? Продавщицей стиральных порошков? Я знаю Линн, продавщицу стиральных порошков: юную шведку, случайно встреченную в кафе, приятельницу

Олафа и Харальда, орнитологов. Но это – другая Линн. Имя агента по недвижимости Перрсона, научившего меня песенке «Возвращайся к нам опять, Джимми Дин, Джимми Дин», – Олаф-Харальд, но никакого отношения к орнитологии он не имеет. Кем был Эрве Нанту? Человеком, боявшимся солнечного света? Я знаю Эрве Нанту, как оказалось, солнечный свет он тоже не выносит, жалкий портье в «Ла-мартин Опера», на показаниях которого строятся мои обвинения в убийстве О-Сими Томомори. Но это – другой Эрве. Кем был Энрике? Испанцем, бежавшим от Франко из Испании и умершим от рака в Париже. Я знаю Энрике, Рики-морячка, проститутку, паразитирующую на теле Ули Хубахера, такой же проститутки, только рангом повыше. Рики-морячка я видел всего один раз, как и шведку, – и тоже в кафе, правда, совсем в другом – в обществе Ули; я видел его случайно, хотя и это можно приравнять к знанию. Я знаю Энрике, Рики-морячка. Но это – другой Энрике.

Кем был французский лейтенант Линн? Парнем, выпустившим в песчаную бурю весь свой боезапас, а потом пристрелившим свою мать и ее любовника? Я знаю французского лейтенанта Огюста Ферлана, он тоже свидетельствует против меня. Но это – другой lieutenant.

Кем был Тьерри Франсуа? Возлюбленным Линн, подарившим ей кольцо? Или серийным убийцей, лицо которого увидел в окне я сам?..

Мысли об этом сводят меня с ума.

Я не убивал О-Сими Томомори. Может быть, это сделал портье, ведь когда-то букинистический принадлежал его деду, и он мог знать о тайнике. Он легко мог вынуть кольцо и так же легко подложить пистолет, иначе что он делал на втором этаже букинистического? Я действительно оставлял записку О-Сими, одно это похоже на начало истории, конец которой знал только он, жалкий доморощенный самураишка. Что же он сказал мне тогда? «Я знаю, каким будет конец», что ж, портье не соврал. Когда сплевываешь табачные крошки – времени на вранье не остается. Табачные крошки, сигареты без фильтра, запах табака, который понравился бы Тьерри Франсуа, влюбленному или убийце – неважно. Сигареты без фильтра вполне могли бы оказаться самокрутками. А если портье курит самокрутки, то почему бы ему не заворачивать табак в папиросную бумагу «JOB»? Ту самую, которую я нашел на клумбе с улитками, так долго хранившими под панцирями полуистлевшую память об О-Сими Томомори... Вот только откуда этот новоявленный Эрве Нанту взял пистолет? Или он был тем самым меломаном в «Monster Melodies»?..

Судьба – не что иное, как последовательность прочитанных книг. Где и когда прервалась последовательность моей собственной судьбы? Или она и вовсе не начиналась? Я не прочел ни строчки из «Монтока», все мое знание о «Ключе к герметической

философии» заключено в цветке гибискуса, заложенном прямо посередине.

А об «Ars Moriendi» я до сих пор не знаю ничего.

Отражения в несуществующих зеркалах множатся и накладываются друг на друга.

Я не убивал О-Сими Томомори. Я видел ее только один раз, на прогулочном кораблике. Я не убивал О-Сими еще и по той простой причине, что не выжал из ее смерти и капли духов. Я ничего не знал о том, что она должна умереть. И Анук никогда не приводила меня к ней.

Анук, моя девочка.

Анук никогда не приводила меня к О-Сими. Ко всем остальным – да. Но к ней – нет. Следовательно, Анук невиновна. Или я – невиновен.

В смерти О-Сими Томомори – во всяком случае.

Я ничего не имею против других смертей, даже Линн стоит здесь в общем ряду. Я всегда оказывался рядом, это Анук научила меня различать смерть по запаху. Это Анук научила меня не бояться смотреть вниз. И все это время я смотрел вниз, подчищая следы. Следы, которые она могла бы оставить, – и не о сбитых верхушках болиголова здесь речь. Вряд ли Анук убивала сама – она просто приводила меня к самым разным смертям, как когда-то в детстве привела на бойню, пахнущую гибискусом.

Вряд ли Анук убивала, да и плевать мне, кто убивал. Семь ароматов – семь смертей, естественных,

насильственных — какая разница. Семь ароматов — семь смертей, они отражаются друг в друге, и это куда реальнее, чем несуществующие зеркала.

А самое реальное, что у меня есть, — это Анук.

Анук, моя девочка.

ЭПИЛОГ

...Гай Кутарба, признанный виновным в убийстве О-Сими Томомори, был этапирован во Францию, где отбывает заключение. Обвинение в убийствах Мари-Кристин Сават и Азиза Мустаки ему не предъявлялось в связи с недостаточностью улик. В тюремной библиотеке, постоянным читателем которой он является, Гаем Кутарбой был сделан заказ на книги:

«Монток» Макса Фриша,

«Ключ к герметической философии» Хуго ван дер Гуса,

«Ars Moriendi», или «Искусство умирания», автор неизвестен.

Заказ на «Искусство умирания» аннулирован, так как ни в одном из книжных каталогов книга «ARS MORIENDI» не значится.

Примечания

1

Латинская девушка (исп.). (Здесь и далее примеч. автора.)

2

Холм «Известковая гора».

3

Перепелиный холм.

4

Итальянский модельер.

5

Одна из самых популярных моделей в 60-е гг.

6

Французский актер, исполняющий главную роль в фильме.

7

Шотландская юбка.

8

Высокая мода.

9

Стельки (фр.).

10

Французский модельер.

11

Paris Lounge – серия музыкальных альбомов, выпущенных студией Wagram (Франция).

12

Анисовая водка.

13

Привет.

14

Левый берег (фр.).

15

Кинотеатры в Париже.

16

См. Прим. 11

17

«Портреты красавиц» — жанровое направление в японской живописи.

18

«Любование снегом» — одна из трех основных эстетических категорий классической и современной Японии (наряду с любованием Цветами и луной).

19

Сосны, моя девочка, покрыты иголками (фр.).

20

Это великолепно (исп.).

21

Спасибо (яп.).

22

Сумки через плечо (фр.).

23

Ручные сумочки (фр.).

24

Рыночная сумка (фр.).

25

Прощай, красотка! (ит.).

26

Новый мост (фр.).

27

Мост, недалеко от которого произошла автокатастрофа.

28

Прекрасно! Замечательно! (исп.)

29

Остров на Сене, на котором расположен Нотр-Дам.

30

Господин.

31

«Сука любовь».

32

Китагава Утамаро (1753-1806) – знаменитый японский художник школы «укиё-э».

33

В отеле (фр.).

34

Горничная (фр.).

35

«Буржуа, вы ничего не поняли» (фр.).

36

Мoon – луна (англ.).

37

Лейтенант (фр.).

38

Вождь племени.

39

Скука жуткая (фр.).

40

Культовая французская певица 60-х.

41

Согласен (фр.).

42

См. Прим. 11

43

Убийца Марата.

44

Мастер постановочной фотографии.

45

Модные фотографы.

46

«Жизнь в желтом цвете» (фр.).

47

«Открыто» (фр.).

48

Американская писательница-натуралист.

49

Роман Грэма Грина.

50

Французский певец.

51

«Мои маленькие замшевые ботинки» —
композиция Чарли Паркера.

52

См. Прим. 11

53

Cassis – черная смородина (фр.).

54

Закрыто (фр.).

55

Морские млекопитающие.

56

Японский модельер.

57

«Как мальчики» (фр.).

58

«Администрация предупреждает, что все ценные вещи должны быть сданы на хранение в регистратуру» (фр.).

59

Без ресторана (фр.).

60

Питание не предусмотрено (фр.).

61

«Агнец божий».

62

См. Прим. 11

63

Поросенок,
мультфильмов.

персонаж

американских

64

См. Прим. 11